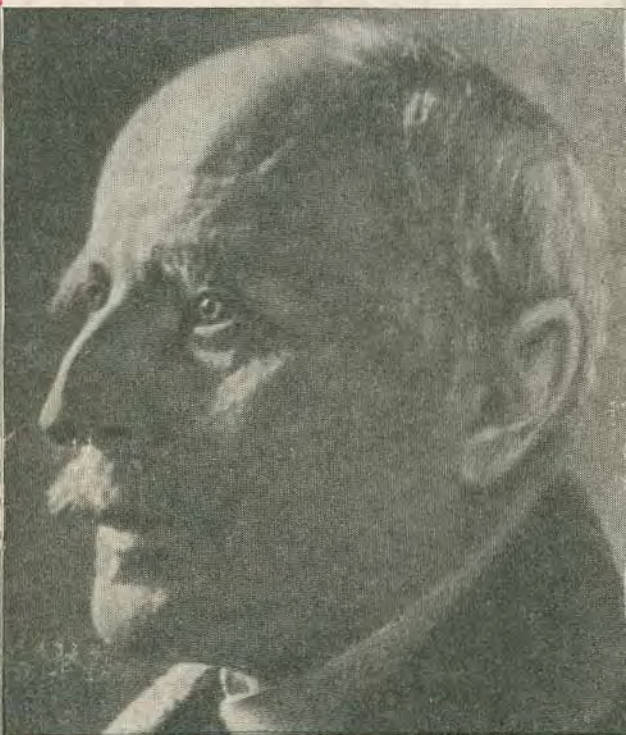


РОМЕН РОЛЛАН



П. Мотылева



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ

П. Мотылева

РОМЕН РОЛАН



ВЫПУСК 8
(468)

МОСКВА
1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



Domain Lollan

Предисловие

Раскрывая любую книгу из серии «Жизнь замечательных людей», читатель узнает, что эта серия была основана М. Горьким в 1933 году. Но задумана она была значительно раньше.

Еще в дни первой мировой войны, в 1916 году, Горький обратился к нескольким крупным писателям с предложением написать для юношества биографии великих людей разных эпох. Ромена Роллана он попросил написать книгу о Бетховене.

«Я уверен, что Вы, автор «Жана Кристофа» и «Бетховена», великий гуманист, Вы, так прекрасно понимающий значение высоких социальных идей — не откажете в Вашем содействии делу, которое мне представляется хорошим и важным...» В следующем письме Горький пояснял свой замысел: «Наша цель — внушить молодежи любовь и доверие к жизни; в людях мы хотим видеть героизм. Нужно, чтобы человек понял, что он — творец и хозяин мира, что на нем ответственность за все несчастья земли и что ему же принадлежит слава за все хорошее, что есть в жизни».

Роллан ответил согласием: дело, затеянное Горьким, пришлось ему по душе. Ведь он и сам, еще в начале века, задался целью создать ряд героических жизнеописаний и успел до войны выпустить четыре такие книги: о Бетховене, о художнике Франсуа Милле, о Микеланджело и о Толстом.

«...В людях мы хотим видеть героизм...» Требовательная вера в человека, мысль об ответственности человека за то, что происходит на земле, — все это было очень близко духу творчества Ромена Роллана. Первоначальный горьковский замысел серии биографий не осуществился, вернее, был надолго отложен. Но именно с этого обмена письмами началась дружба, продолжавшаяся без малого двадцать лет — до смерти Горького.

В годы после Октябрьской революции оба писателя-гуманиста, каждый на свой лад, прошли очень непростой

путь развития. Между ними не раз вставали разногласия, вспыхивали споры. Но родство их идейных и творческих стремлений было очевидным для наиболее прощипательных современников. Даже и для тех, кто ничего не знал об их личном контакте.

Стоит привести пример, как один из лучших революционных мыслителей Западной Европы вскоре после Октябрьской революции оценивал общественную роль Романа Роллана в сопоставлении с Лениным и Горьким. Антонио Грамши писал в газете «Ордине Нуово» от 30 августа 1919 года: «Роллан *предчувствует* то, что Ленин *доказывает*: историческую необходимость Интернационала. Ленин изучает объективную реальность международной капиталистической экономики и приходит к неумолимому выводу, что пролетариат должен организовать свою диктатуру, воплотив ее в государстве нового типа, государстве Советов. Роллан лирически предугадывает требования дня, он воздействует на чувства читателей... В тех реальных условиях, в которых протекает ныне развитие международного рабочего движения, Роллан разворачивает необычайно ценную деятельность, поскольку он преобразует умственный мир полупролетарских слоев и групп, лишь косвенно и отраженно ощущающих контрудары классовой борьбы — в духе сочувствия революции. В этом смысле Роллан работает для коммунизма, для рабочего класса, и мы испытываем к нему чувство благодарности и восхищения: он — Максим Горький латинской Европы».

Эту характеристику нельзя считать вполне точной. Реальный облик Роллана как художника и мыслителя был сложнее, и отношение его к коммунистам в разные периоды жизни тоже было сложным, всегда включало не только согласие, но в чем-то важном и несогласие.

Однако приведенные строки Грамши интересны как свидетельство — насколько высоко ценили Роллана при его жизни передовые умы Запада. Высокую оценку Роллана, как друга трудящегося человечества, можно найти в статьях и речах прогрессивных французских писателей и общественных деятелей по поводу столетия со дня рождения Роллана в 1966 году.

В Советском Союзе автора «Жан-Кристофа» давно знают и любят, его сочинения распространены в миллионах экземпляров. О художественном творчестве Романа Роллана, о путях его идейного развития у нас написано

несколько книг и много статей. Но пока еще нет работ о Роллане-человеке, о его жизни, долгой, нелегкой и прекрасной. И многие советские люди, сроднившиеся с Жан-Кристофом, Кола Брюньоном, Аннетой Ривьер, как с давними близкими друзьями, не очень ясно представляют себе, что за личность был Ромед Роллан.

Иные читатели, которым известны большие заслуги Роллана в борьбе против империалистической войны и фашизма, его выступления в поддержку Советского Союза, рисуют его себе в первую очередь как писателя-трибуна, публициста с кипучим общественным темпераментом.

Те же, кому известны работы Роллана по истории музыки, его статьи о великих писателях прошлого, его исторические труды специального характера — например, книги об индийских мыслителях Рамакришне и Вивекананде, — склонны видеть в нем скорей кабинетного ученого, человека замкнутого и созерцательного склада.

А в своих художественных произведениях — иногда даже и на различных страницах одних и тех же произведений — Роллан и вовсе раскрывается с разных сторон, и читателю не так легко разобратся, кто же такой автор: пламенный борец, исследователь-эрудит или же — хрупкий и уединенный мечтатель.

Казалось бы, самое простое — поделить жизнь Роллана на периоды «до» и «после» идейного перелома, связанного с первой мировой войной и наступлением новой, революционной эпохи, и прийти к выводу, что он из писателя-одиночки, из мыслителя камерного типа постепенно превратился в активного борца за лучшее будущее человечества. Но и это будет неверно. Задатки передового борца проявлялись и в ранних работах Роллана, будь то полемически острая, активно устремленная к будущему книга статей «Народный театр» или революционная драма «Четырнадцатое июля». А с другой стороны, Роллан и в периоды напряженной общественной деятельности продолжал быть тонким и очень своеобразным мыслителем, работал исподволь и над многотомным научным трудом о Бетховене и над книгами мемуаров, которые носят отпечаток изощренного самоанализа, долгих, сосредоточенных раздумий.

Человек течет, и в нем есть все возможности, говорил когда-то Толстой. Многоликость, неисчерпаемая сложность человека — одна из излюбленных идей Рол-

лана. «В каждом из нас сидит двадцать разных людей», — замечает Кола Брюньон. Это в какой-то мере верно и по отношению к самому Роллану.

Он несколько раз говорил о том, какие «разные люди» в нем сидят. В 1915 году он писал своему другу, художнику Г. Тьессону: «Во мне три составных части: дух, очень твердый; тело очень слабое; и сердце, постоянно поглощенное какой-нибудь страстью. В этих условиях котел всегда под сильным давлением и пароход подвержен качке, но он неуклонно движется к цели»*. А в «Воспоминаниях юности», написанных уже в преклонные годы, мы находим любопытное признание: «Два моих «я», слитые воедино, словно спамские близнецы, причиняют одно другому боль: одно «я» зовет к будущим битвам, другое стоит над битвами и схватками. Но правда на стороне первого «я»: тот, кто находится в гуще боя, не вправе стоять над схваткой. Прежде всего — жить, страдать, быть человеком!»

Здесь очень точно схвачено центральное противоречие личности Роллана. И точно отмечено, что перевес в конечном счете оказался на стороне первого «я». Но в каждом из названных «я», в свою очередь, были свои грани и оттенки. Чтобы во всем этом разобраться, надо изучить историю жизни Роллана.

Острый интерес к политике, к «миру Действия», возникал у Роллана еще в юные годы и сохранился до конца его дней. Но он вовсе не был похож на агитатора, горлана-главаря». Ему всегда приходилось бороться с одолевавшими его болезнями, он с юных лет привык к размеренной жизни, к сосредоточенной работе за письменным столом. С многочисленных фотографий, с кадров старой кинохроники смотрит на нас художавый человек с одухотворенным, всегда немного усталым лицом. Задумчивые глаза, тонкие черты — типичный интеллигент. Сохранился и его голос, записанный на пленку, тенор приятного мягкого тембра, богатый полутонами, голос задушевного собеседника, но не оратора. Роллан не любил шумных сборищ, не бывал, как правило, на митингах и больших собраниях и вообще не так много бывал на людях. Но считать его одиночкой, отшельником по натуре — тоже неверно. Дружба, общение с окружаю-

* Тексты, обозначенные звездочкой здесь и далее, взяты из материалов Архива Роллана.

щими, разнообразнейшие человеческие контакты занимали в его жизни важное место. Он был связан — и непосредственно и заочно, путём переписки, — с многими людьми в разных странах мира, особенно в последние десятилетия. А слово Роллана — художника и публициста — находило отклик в миллионах сердец.

За четверть века, истекшие со времени смерти Романа Роллана, мы узнали о нем намного больше, чем знали при жизни. Появились его автобиографические работы — «Внутреннее путешествие», «Воспоминания юности» и, наконец, «Записки и воспоминания», где изложение доведено до 1900 года; опубликованы, хотя в небольшой пока части, его дневники. Во Франции вышло семнадцать сборников «Тетради Романа Роллана», включающих главным образом его письма к разным лицам. С каждой новой такой «Тетрадью» все полнее, подчас с очень неожиданных сторон, раскрывается облик Роллана-человека. Тем шире раскрывается он, когда знакомишься — хотя бы частично — с богатейшим собранием опубликованных документов в его Архиве.

Роллан отослал за свою жизнь десятки тысяч писем. Этой отрасли своей работы он придавал серьезное значение. Стоит привести его строки, обращенные к младшему брату — литератору Альфонсу де Шатобриану: «У меня громадная переписка, которая меня прямо убивает, но которая, быть может (без того, чтобы я к этому стремился!), окажется главным из моих произведений»*. В письмах Роллана затрагиваются разнообразные проблемы политики, морали, искусства, литературы, из них многое можно узнать о его духовных интересах, о творческой истории его книг.

Необычайно богаты содержанием и дневники Роллана. Отдельными книгами вышли во Франции дневник студенческих лет (1886—1889), предвоенных (1912—1913) и военных лет (1914—1918). Рукопись дневника военных лет, более полная, чем французская публикация, как известно, имеется в Библиотеке имени В. И. Ленина и, согласно завещанию Роллана, открыта для пользования читателей начиная с января 1955 года. Дневники, охватывающие другие периоды жизни Роллана, пока что могут быть доступны даже специалистам только в виде фрагментов: он распорядился, чтобы их не предавали гласности в течение нескольких десятилетий после его смерти. Что касается неопубликованных писем, то

они в большей своей части открыты для исследователей в Архиве Ромена Роллана (в последней парижской квартире писателя, на бульваре Монпарнас, № 89, где живет теперь его вдова). Пользуюсь случаем сердечно поблагодарить Марию Ромен Роллан за предоставленную мне возможность поработать над архивными материалами (в ноябре 1966 и в апреле — мае 1967 года), а также за ценные сообщения и разъяснения, сделанные в личных беседах.

Разные периоды, разные стороны жизни Роллана не в одинаковой мере известны читателям и исследователям. О детстве и юности, о своем пути в литературу рассказал он сам. Первые два десятилетия его писательской деятельности отражены во многих опубликованных письмах. О последующих годах мы знаем меньше.

У Роллана всегда — и после того, как он достиг широкой международной популярности как художник, затем и как публицист, помимо той большой профессиональной, писательской жизни, которая протекала на виду у многих людей, раскрывалась в его книгах и статьях, — была как бы вторая жизнь, затаенная от посторонних глаз: раздумья, сомнения, поиски. Двадцатые, тридцатые годы, не говоря уже о годах второй мировой войны и немецкой оккупации, отмечены большим внутренним драматизмом, нарастающей сложностью этой подспудной духовной биографии Роллана. Тут еще осталось немало белых пятен, многое предстоит изучить и выяснить.

Я не намерена повторять в этой книге те обстоятельные разборы произведений писателя, которые постаралась сделать в свое время в книге «Творчество Ромена Роллана» (М., 1959). Здесь речь пойдет в первую очередь о самом Роллане, о его личности, привязанностях, исканиях, о его трудном внутреннем развитии.

Понятно, что мне хочется в меру моих сил рассказать не только о том, что читатель при желании может найти в других книгах, — но отчасти и о том, что пока еще мало изучено и освещено.

Ромен Роллан очень не любил «романизированных» биографий, где факты сдобрены примесью вымысла. Его собственные работы о замечательных людях строго замкнуты в рамки подлинных фактов, основаны на документах. Именно так, думается мне, надо писать и о нем самом.

1

В сентябре 1886 года на улицах тихого города Кламси появились большие объявления. Дирекция местного коллежа извещала об успехе двух своих бывших учеников, которые поступили в высшие учебные заведения Парижа, выдержав конкурсные экзамены. Марсель Буадо был принят в Политехническую Школу — один из двухсот тридцати. Ромен Роллан был принят в Нормальную Школу, в секцию словесности — один из двадцати четырех.

Семью Ролланов хорошо знали в Кламси. Из поколения в поколение передавалась в этой семье профессия нотариуса. В провинции, где все друг у друга на виду, нотариус — это важное, уважаемое лицо, хранитель имущественных и семейных тайн, блюститель строгой законности, человек, которому доверяют. И Ролланам доверяли. Когда Эмиль Роллан в 1880 году продал свою нотариальную контору и со всей семьей — женой, сыном, дочерью и тестем — переехал в Париж, его клиенты (они же по большей части и его друзья) искренне сожалели об этом. Но вместе с тем не могли не восхищаться: вот это примерный отец! Эмиль Роллан отказался от самостоятельного положения, которое занимал в бургундском городке, стал скромным банковским служащим в столице, чтобы дать единственному сыну Ромену хорошее образование.

А что знали в Кламси о юном Ромене Роллане? Первый ученик, гордость коллежа — скромный, прилежный. Только вот жаль — слаб здоровьем. То бронхит, то воспаление легких, — он часто и подолгу пропускал занятия,

давая своему товарищу-сопернику Буадо обогнать себя. А потом выдвигал и снова выходил на первое место в классе.

Дирекция коллежа в Кламси (ныне он носит имя Ромена Роллана) действительно имела основание гордиться бывшим учеником. Но сам Роллан впоследствии считал, что обязан школе не столь уж многим. Он писал об этом 28/IX 1934 года критику Кристиану Сенешалю, видимо отвечая на его вопросы:

«...Меня формировали не столько дух и искусство какой-либо одной нации, сколько те учителя, которых я свободно выбирал себе во «всемирной литературе». Начиная с детства, настоящей моей школой была не школа в собственном смысле слова — коллеж, лицей и т. д. (там я скорее учился познавать «людские слабости»), — а библиотека моего деда. Я там еще до пятнадцатилетнего возраста читал Корнелем, Шиллером и Шекспиром. Добавлю к этому «Дон-Кихота», «Гулливера» и «Тысячу и одну ночь». А над моим пианино вставал хоромод примирившихся теней: Моцарт, Бетховен, Беллини и Россини. Впоследствии этот хоромод стал шире»*.

Уже на школьной скамье у него возникло желание писать. Незадолго до отъезда семьи в Париж тринадцатилетний Ромен сочинил первое свое произведение — трагедию «Свадьба Аттилы», простодушное подражание Корнелью. Он ее никому не показывал и впоследствии сжег: уцелел лишь маленький отрывок, написанный пыльным и неуклюжим александринским стихом.

Роллан много раз с благодарностью вспоминал о семье, в которой вырос. Интересно признание, сделанное им в письме к австрийскому филологу Паулю Аманну в 1912 году: «Вы спрашиваете, откуда я черпал нравственную силу. Прежде всего — у моих близких, которые всегда возводили чувство чести в степень религии и всегда были равнодушны к деньгам и успеху»*.

Чувство чести, чувство долга, привычка к систематическому упорному труду — вот что определяло моральную атмосферу в этой семье провинциальных французских интеллигентов. А вместе с тем отец и мать Роллана были очень не похожи друг на друга.

Широко известно четверостишие Гёте: «Отцу обязан ростом я, серьезной в жизни целью, от матушки любовь моя и к рифмам, и к веселью». У Роллана все сложилось как раз наоборот. Именно от отца пришло к нему жиз-

нелюбие, галльское, «брюньоновское» начало (в беседе с К. Фединым Роллан сказал: «Вы ведь знаете Кола Брюньона? Так это мой отец...»). Мария Роллан, урожденная Курб, происходившая, как и муж, из рода потомственных нотариусов, передала сыну свою сосредоточенную серьезность, строгость нравственных правил и вместе с тем глубокую страсть к музыке. Отца Ромен Роллан очень любил и, достигши зрелых лет, умудрялся с ним не ссориться, несмотря на различие во взглядах (бывший кламсийский нотариус до самой смерти — а умер он в возрасте 95 лет — оставался убежденным ура-патриотом). Но именно мать была для юноши Роллана ближайшим другом, советчицей, поверенной; много лет спустя она морально поддерживала его, разделив его антивоенные взгляды. И именно матери он писал письма каждый день, когда, окончив Нормальную Школу, уехал в Рим... Но об этом дальше.

Высшая Нормальная Школа в Париже — единственное в своем роде учебное заведение. Оно готовит научных работников и преподавателей университетов. Курс обучения — трехлетний: предполагается, что немалую часть знаний, необходимых для научной деятельности, будущие студенты накопят еще до того, как сдадут вступительные экзамены. Испытания эти исключительно трудны — от поступающего требуется большая начитанность, серьезная подготовка в области истории, философии, литературы, древних языков. Окончить Нормальную Школу — предмет честолюбивых стремлений многих молодых французов даже и сегодня: так было и в прошлом столетии. Иной раз бывшие слушатели Нормальной Школы становились со временем ее преподавателями или так или иначе сохраняли с ней связь. На вступительных экзаменах 1886 года присутствовал, в числе других гостей, бывший выпускник Нормальной Школы, только что выбранный депутатом Палаты, блестящий оратор и публицист Жан Жюрес.

Решение поступить в Нормальную Школу было принято Роменом Ролланом не без колебаний. Ему больше хотелось бы стать музыкантом. Но родители надеялись увидеть сына ученым, профессором. Роллан привык считаться с волей родителей и не хотел доставлять им огорчений. Музыка он, конечно, никогда не бросит, будет заниматься ею в свободные часы. Ведь и в интернате Нормальной Школы, где предстоит провести три года, на-

верное, разрешат поставить пианино, взятое напрокат... А к философии Роллана тоже влекло. И он чувствовал ответственность перед семьей: ведь это ради него отец и мать, и младшая сестра Мадлена, и даже старый дедушка Эдм Куро покинули родной теплый край, просторный фамильный дом и терпят всяческие неудобства в столичной сутолоке, в тесноте парижской квартиры. Надо, чтобы близкие в нем не разочаровались.

Шесть лет Ромен Роллан занимался в старших классах парижских лицеев — раньше в лицее Людовика Святого, потом в лицее Людовика Великого, — пополняя знания, полученные в коллеже Кламси. Дважды он терпел неудачу на экзаменах в Нормальную Школу. Когда он, наконец, прошел по конкурсу, то был далеко не самым младшим из вновь принятых: в январе 1886 года ему исполнилось двадцать лет.

К этому времени Роллан привык вести дневник и вел его потом всю жизнь. Дневник был для него своего рода умственной лабораторией. Читая дневниковые записи Роллана, мы очень немного можем узнать о событиях его повседневной жизни, о различных бытовых мелочах. Но очень много — о его чтениях, мыслях, планах, духовных исканиях.

Один из первокурсников Нормальной Школы, Жорж Милль, в первые же недели совместных занятий составил, шутки ради, краткие характеристики всех соучеников по одному и тому же грамматическому трафарету: два существительных, два прилагательных. О Роллане он написал: «Музыкальный Будда революционного мистицизма». В этой фразе уместилось многое: и подспудный мятежный дух, который чувствовали товарищи в сдержанном юноше из Кламси, и любовь к музыке, и склонность к размышлению, созерцанию.

А верно ли было, применительно к Ромену Роллану, говорить о «мистицизме»?

Еще подростком Роллан объявил родителям, что бог для него «умер» и что он больше не будет ходить к мессе и исполнять религиозные обряды. Мать, ревностная католичка, искренне огорчилась. Отец, неверующий, был озадачен — в таком решении было нечто выходящее за рамки общепринятого. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Юный Ромен Роллан не хотел поступать вразрез со своими убеждениями, отказывался притворяться: это соответствовало тем нормам безукоризненной честности,

сти, в духе которых его родители старались жить сами — и воспитывали сына.

Роллан рано распрощался с церковным богом. Но его продолжали одолевать мысли о бренности человеческого существования, о непостижимой силе, управляющей судьбами людей. Еще в раннем детстве он близко столкнулся со смертью: когда ему было пять лет, умерла от дифтерии его трехлетняя сестренка. Болезненного мальчика одолевали страхи: а не ждет ли и его тоже такая скорая, внезапная смерть? Чем старше становился Роллан, тем тревожнее задумывался он над тайнами мироздания и смыслом бытия.

«Молния Спинозы» — так назвал впоследствии сам Роллан одно из решающих событий своей юности. Ему было семнадцать лет, когда он впервые прочитал «Этику» Спинозы. В учении голландского мыслителя Роллана покорила прежде всего «стихийный реализм», взгляд на мир как на единое громадное целое. Волнуясь, перечитывал он строки Спинозы: «...Нам прежде всего необходимо выводить все наши идеи от физических вещей или реальных существей, продвигаясь, насколько это возможно по ряду причин, от одной реальной сущности к другой реальной сущности...» Материя и дух, человек и окружающий его мир неразрывно взаимосвязаны. Идеальное, общее неотделимо от реального, конкретного. «Природа порождающая» и «природа порожденная» образуют единство. Эти мысли радовали и опьяняли, как «огненное вино». В учении Спинозы Роллана привлекло и другое — утверждение радости земного бытия, призыв к добру и человеческому братству. «Что заставляет людей жить согласно, то полезно... стараться разделить свое удовольствие с другими... высшее же благо — достижение того, чтобы, вместе с другими индивидуумами, если это возможно, обладать такой природой». Эти слова напоминали Роллану гимн «К радости», завершающий Девятую симфонию Бетховена. «Обнимитесь, миллионы!»

Философия Спинозы дала Роллану опору для противостояния мистико-идеалистическим идеям, освященным авторитетом католической церкви. В Нормальной Школе на занятиях по философии эти идеи преподносились как непреложная истина. Но Роллана никто и ничто уже не могло заставить поверить в бога как силу, независимую от мира и людей, существующую отдельно от них.

Вместе с тем — слово «Бог» то и дело встречается на

Vendredi soir 4 Mai 1888

Pièce

J'ai 22 ans. J'ai moins profité de ma jeunesse qu'aucun jeune homme de mon âge. Je ne suis rien du monde. — Cependant, c'est une exploration du monde que je vais faire; c'est ma certitude, ma Foi. — J'ai posé toutes les objections, je sais toutes les difficultés; je suis sincère avec moi-même. — Mais je crois que le peu que j'ai vécu d'amour, suffit à établir ma foi, et que tout ce que s'y ajoutera d'expériences et d'actions n'y pourra rien changer. — Je connais peu les hommes, et chaque minute nouvelle m'apporte une vue des connaissances que j'ignore. Je le sais; mais je sais aussi que je ne retournerai jamais des années comme elle-ci, de solitude inquiète, solennelle, affaissée de savoir et d'homme, au plus profond

Начало юношеского «кредо» Роллана.

страницах студенческого дневника Роллана. Отвергая христианство как религию, он пытался построить нечто вроде собственной религиозно-правственной системы. Если это и был мистицизм, то особого рода — неортодоксальный, нецерковный, полный юношеского прекраснодушия: под «Богом» — Роллан всегда писал это слово с большой буквы — он подразумевал, по сути дела, высшее духовное начало, заложенное в человеке, способное объединить человечество. Он старался найти сокровенную суть собственного «я», понять связи этого «я» с окружающим миром...

В 1888 году Роллан написал небольшой трактат под

названием — «Credo quia verum» («Верую потому, что это истинно»). Утверждая «единство жизни в ее разнообразных проявлениях», Роллан прославлял Любовь в самом широком, всеобщем смысле этого слова. Смерть, писал он, страшна «жалким эгоистам». Тот, кто ощущает свою связь с великим всечеловеческим целым, освобождается от ужаса перед смертью, постигает подлинный смысл бытия. Разработанные Ролланом для себя «Временные нравственные правила» включали такие пункты:

1. Наметить себе цель в жизни. Поставить перед собой определенную задачу.
2. Приложить все усилия и напрячь свою волю для достижения этой цели.
3. Избрать предмет своих действий не в себе, а вне себя. Стараться дорожить жизнью не ради себя, а — ради цели своей жизни.
4. Быть полезным — не в отвлеченной, общей, изолированной, «филантропической» форме, а в форме деятельной и определенной. Никогда не отказывайся от возможности творить добро многим (благотворительность, симпатия, снисходительное добросердечие), посвятить свою жизнь благу того или иного человека, тех или иных людей. — Главное — ни в коем случае не растворять своей любви и милосердия в расплывчатой сентиментальности.
5. Никогда не переставать искать Истину...

В этом юношеском «Кредо» Ромена Роллана сказывается и благородство его стремлений и наивность, отвлеченность взглядов. Он сам сознавался себе на первой странице своего трактата: «Я ничего не знаю о мире... Я плохо знаю людей». В его студенческом дневнике раздумья абстрактно-умозрительного характера перемежаются меткими зарисовками окружавшей его среды, живыми откликами на события дня. Молодой человек жил в мире книг, но его тянуло в большой мир, со всеми его контрастами, конфликтами и треволнениями.

В «Монастыре на улице Ульм» — так называл Роллан Нормальную Школу — он чувствовал себя в какой-то мере свободнее, чем в родительском доме. Он с детства привык подвергаться нежной, но чуть-чуть слишком настойчивой опеке. За его здоровье опасались, за его учением следили, им постоянно руководили: то-то можно, а того-то нельзя. В интернате Нормальной Школы он оказался в среде сверстников, в большинстве своем образованных и способных (ведь и они выдержали трудный кон-

курсе!), — с ними было о чем поговорить и поспорить. Живые дискуссии возникали иногда и в ходе занятий: будущих научных работников готовили к тому, чтобы они могли аргументировать свои мнения, отвечать оппонентам, выступать с самостоятельными сообщениями и докладами. Все это нравилось Роллану, — как нравился и квадратный сад с фонтаном посредине: здесь можно было растянуться на зеленом ковре и молча помечтать, глядя в небо, или походить по дорожке с товарищами-собеседниками.

С Латинским кварталом, где находилась улица Ульм, Роллан освоился еще до поступления в Нормальную Школу: ведь в этом же людном студенческом районе, недалеко от старинных зданий Сорбонны, находились и оба лица, где он раньше учился. И широкий бульвар Сен-Мишель, изобилующий книжными магазинами, букинистическими развалами, дешевыми ресторанчиками, и параллельная ему улица Сен-Жак, и окружающие узенькие улочки, иногда — с романтическими средневековыми названиями («Улица железного горшка», «Улица деревянной шпаги»), — все это было хорошо знакомо, не раз исхожено. Роллан любил, выйдя после занятий из торжественно-громоздкого здания лица Людовика Великого, побродить по улицам с ближайшим товарищем Полем Клоделем, юношей одаренным и склонным к пессимизму (будущим видным поэтом-католиком), рассуждая и споря обо всем на свете.

В улице Ульм была своя прелесть и своя новизна. Она была длинной и прямой — никаких магазинов и ресторанов, кругом небольшие жилые дома, совсем немного движения. Ничего похожего на захолустье — еще бы, из любой точки улицы Ульм виден купол Пантеона! Но вместе с тем покой, тишина совсем не столичные. А тишину Роллан с детства любил — она помогала сосредоточиться. Ему часто бывало вполне достаточно того богатого мира мыслей и звуков, который жил в нем самом.

В Нормальной Школе Роллан сразу нашел друга, который оказался, по сравнению с замкнутым и мрачным Клоделем, гораздо более близким, более родственным по духу. Его звали Андре Сюарес. Это был уроженец Марселя, порывистый южанин с горящими черными глазами и черными кудрями до плеч, — человек с трудным, неуживчивым характером, уже познавший сладость первых литературных успехов (его отметили на поэтическом кон-

курсе), но не слишком хорошо успевавший в науках. С Ролланом его, при несходстве душевного склада, сближало многое: преклонение перед Шекспиром и Спинозой, любовь к музыке, особенно к Бетховену и Вагнеру, отвращение ко всяческой пбшлости, полное равнодушие к будущей академической карьере, а главное — напряженность духовной жизни, жажда честности, чистоты во всем.

Для Роллана эта дружба явилась первым испытанием морального мужества. Самого Роллана товарищи полюбили с первых дней. Конечно, он менее всего мог быть «заводилой» и душой общества, — напротив, он, не в пример другим, чурался шумных увеселений и морщился, услышав фривольное словцо; но в нем оценили серьезность знаний и мягкий, доброжелательный нрав. Иное дело Сюарес: его сочли слишком заносчивым. Антисемиты (а были среди студентов и такие) возненавидели марсельца уже за его еврейское происхождение. Сюареса начали травить, была даже сделана попытка обвинить его в посылке анонимных писем, порочащих товарищей перед начальством, и вынудить его к уходу из Школы. Роллан встал на защиту Сюареса — и восстановил против себя немалую часть вчерашних приятелей. «Одиночество последних двух лет, — вспоминал он потом, — еще больше распалило мой мятежный дух».

В годы ученья в Роллане шла непрерывная глубокая внутренняя работа. В нем все более обострялось критическое отношение к современному обществу. Политическая жизнь Франции тех лет давала для этого немало оснований. Страна еще не успела вполне оправиться от поражения, понесенного во франко-прусской войне; память о национальном унижении, жившая в народе, создавала благоприятные условия для агитации демагогов-реваншистов. А тем временем Германия, объединенная под эгидой «железного канцлера» Бисмарка, бряцала оружием, вынашивала планы захватнических авантур.

Студенты Нормальной Школы проходили обязательную строевую подготовку: казалось, что война вот-вот разразится. Роллан исправно ходил на военные занятия, учился маршировать и стрелять не хуже других, был готов, если придется, выполнить свой гражданский долг. Но перспектива нового массового кровопролития отнюдь его не радовала. Уже на студенческой скамье в нем крепли антимилиитаристские чувства, которые должны были сказаться в его литературной и общественной дея-

тельности много лет спустя. Он записал в дневник 16 июня 1888 года: «Во имя всемирной Республики грядущего, во имя Разума, во имя Любви надо задушить Ненависть и тех, кто существует благодаря ей. Убийц гильотинируют. Чего же заслуживают в таком случае убийцы народов? — Гюго сказал: «Опорочим войну». — Пусть так. Но сделаем больше: уьем ее!»

В 1887—1889 годах над Францией нависла опасность военной диктатуры. Генерал Буланже («генерал Реванш», как его называли в народе) спекулировал на ущемленной национальной гордости побежденных и рвался к власти. В дневнике Роллана отмечен неудачный визит генерала в Нормальную Школу: кандидату в диктаторы стало не по себе перед студентами, которые встретили его с глухой неприязнью, и он поторопился уйти. Вместе с группой товарищей Роллан подписал воззвание протеста, осуждавшее программу Буланже; он принял участие в сборе средств на поддержку Рабочей партии, выступавшей против буланжистов. Он занес в дневник слова одного из своих товарищей, Жоржа Дюма: «Попадись мне Буланже, я бы его убил», — и добавил: «Я настроен так же. И Сюарес тоже». В январские дни 1889 года, когда политическая атмосфера была особенно накалена, Роллан вовсе перестал ходить на занятия. Его тревожила судьба республики: он бродил по улицам, вслушиваясь в разговоры возбужденной толпы. Он твердо решил в случае прихода к власти Буланже эмигрировать, как поступил в свое время, после переворота Луи Наполеона Бонапарта, один из любимых им писателей, Виктор Гюго. «Не может быть моей родиной страна, отрекающаяся от свободы».

В дни буланжистской лихорадки, охватившей Францию, Роллан, быть может, впервые почувствовал и понял, как близко он принимает к сердцу то, что происходит в политической жизни страны. Однако интерес к политике, хоть и эпизодический, возникал у него и раньше. В дни президентских выборов в декабре 1887 года Роллан «болел» за левого республиканца Жюлья Ферри, который завоевал уважение молодежи тем, что на посту министра народного образования — преодолевая многолетнее сопротивление клерикалов — провел закон о всеобщем светском начальном обучении. В президенты Ферри не прошел, а несколько дней спустя на него было совершено покушение каким-то фанатиком-националистом. Рол-

лан, встревоженный этим известием, вместе с другими слушателями Нормальной Школы послал Ферри свою визитную карточку в знак симпатии. Еще через несколько дней Ферри ответил студентам письмом: «Подвергаясь дикой травле, я утешаю себя тем, что интеллигентная молодежь на моей стороне».

В студенческие годы у Роллана укреплялась склонность: не только присматриваться к событиям, но и открыто выражать свое отношение к ним. От природы он был скорей застенчив, чем смел. Болезненное детство, ласково-строгое домашнее воспитание — все это выработало в нем некоторую замкнутость и скованность. И тем не менее Роллан-студент — как бы переламывая себя — настойчиво искал общения с видными деятелями культуры.

Тут у него, быть может, проявлялось сознание своей силы, но не было ни малейшего оттенка честолюбия или нескромности. Роллану просто хотелось — бесхитростно, искренне — сказать крупным писателям или музыкантам, что он о них думает, и вмешаться на свой лад в умственную жизнь своего времени.

Вскоре после поступления в Нормальную Школу Роллан написал Эрнесту Ренану, оригинальному и остроумному мыслителю, автору известных философских драм. Роллана особенно заинтересовала одна из этих драм, «Священник из Неми», герой которой, просветитель и мудрец, погибает, преследуемый властью имущими, не понятый толпой. Ренан пригласил молодого человека к себе для беседы, — Роллан описал эту беседу много лет спустя в своей книге «Спутники». Ему особенно запомнились слова Ренана: «Истинный философ мужествен; он легче идет на смерть, чем другие. Он видит суетность всего». Мысль, что истинный философ мужествен, была Роллану по душе. Но — надо ли усматривать суетность во всем, считать любые человеческие стремления бесплодными? Не будет ли такой взгляд оправданием пассивности и даже равнодушия? Нет, автор «Священника из Неми» не стал для Роллана властителем дум.

Весной 1887 года литературно-артистический Париж пришел в возбуждение по поводу готовившейся постановки оперы Вагнера «Лоэнгрин». Группа видных музыкальных деятелей старалась из шовинистических соображений не допустить немецкую оперу на французскую сцену. Роллан отправил письмо композитору Сен-Сансу: «Я люб-

лю мою Францию. Но разве я провинился перед ней, если хочу, чтобы она знала произведения, которые стыдно не знать?» Сухой и уклончивый ответ Сен-Санса ни в чем не убедил Роллана, и он записал в дневник: «Родина никогда не заставит меня называть черное белым, а плохую музыку — хорошей».

В конце 1888 года в Париже разгорелись страсти из-за инсценировки романа Гонкуров «Жермини Ласерте». Горестная жизнь служанки, обманутой и униженной в своих порывах к любви, волновала публику, у иных вызвала слезы. Но влиятельные критики — как и снобы из числа зрителей — были похированы: пьеса казалась им слишком вульгарной, плебейской. Роллан пошел с Сюаресом на спектакль — и написал письмо Эдмонду де Гонкур. «Я пишу от своего имени, но нас была целая толпа, когда мы вас вызывали в третьем акте «Жермини». Мы пришли туда, чтобы выразить наше возмущение презренной шайкой, все еще преследующей вас, и внушить ей должное уважение к вашему таланту... Да, мне нравится ваш ясный взгляд на жизнь, нравится ваша сострадательная любовь к тем, кто любит и кто страдает, и особенно мне нравится немецкое сдержанность, правдивость ваших чувств...» Гонкур был рад этой неожиданной поддержке — и впоследствии использовал письмо неизвестного студента в споре с одним из своих главных недоброжелателей, критиком Ф. Сарсе.

Все эти кратковременные контакты с французскими деятелями культуры духовно обогащали молодого Роллана, толкали на размышления. Однако несравненно более глубокий след оставила в нем переписка — точнее, обмен письмами — со Львом Толстым.

Роллан с юных лет любил Толстого. Он отдавал себе отчет, что автор «Войны и мира» — один из величайших писателей, какие когда-либо жили на свете. Шекспир, Гёте или, скажем, Стендаль, которого Роллан открыл для себя в студенческие годы, были для него частью классического литературного прошлого. Гюго для него был кумиром детства, который недавно умер и оставил по себе благодарную память. Зато русский граф, обитавший в далекой и немного таинственной Ясной Поляне, был здравствующим и действующим человеком современной эпохи, центром притяжения передовых, мыслящих людей во всем мире. Каждая его новая книга вызывала во Франции отклики и споры.

Годы юности Ромена Роллана по времени совпали с событием, которое французские литературоведы иногда называют «русским вторжением». Именно в восьмидесятые годы сочинения великих русских писателей стали стремительно и широким фронтом выходить на международную арену: их все чаще переводили, издавали, все больше читали в странах Запада. И в первую очередь во Франции.

В 1886 году в Париже вышла — и привлекла к себе внимание — книга Эжена-Мелькиора де Вогюэ «Русский роман». Одаренный литератор, в прошлом дипломат, семь лет проживший в России и овладевший русским языком, увлеченно и со знанием дела анализировал произведения Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого. Он восхищался гуманностью русских писателей, глубиной их проникновения во внутренний мир человека. И он приходил к выводу: «Я убежден, что влияние великих русских писателей будет спасительным для нашего истощенного искусства».

«Истощенного искусства» — это было сказано, в сущности, несправедливо: ведь Франция того времени располагала богатой художественной прозой. Во второй половине XIX столетия на смену Стендалю и Бальзаку пришли Флобер, братья Гонкуры, Золя, Мопассан.

Но у Толстого и Достоевского французские читатели находили то, чего не находили у своих отечественных романистов той же эпохи: остроту философской мысли, которая как бы придавала дополнительное измерение художественному исследованию действительности. В произведениях обоих русских классиков необычайно напряженно вставали самые коренные — не только социальные, но и нравственные — вопросы человеческого бытия. Эти произведения привлекали читателя, конечно, и новизной самой манеры письма, интенсивностью и силой, с которой воплощались в них человеческие характеры и переживания. И французы влюблялись в Наташу Ростову или Анну Каренину, задумывались над смыслом жизни вместе с Пьером Безуховым или Константином Левиным, воспринимали трагедию Раскольникова как свою собственную.

Еще до поступления в Нормальную Школу Роллан прочитал «Войну и мир» и был захвачен могучим искусством Толстого. В студенческие годы он постепенно зна-

комился с Гоголем, Тургеневым, Гончаровым, Достоевским, — а Толстого читал и перечитывал без усталости. С трехтомным французским изданием «Войны и мира» он расставался лишь тогда, когда одалживал его товарищам. Неизгладимое впечатление произвели на Роллана и «Смерть Ивана Ильича» и «Севастопольские рассказы» — особенно концовка рассказа «Севастополь в мае», где Толстой называет Правду любимым своим героем.

В Европе конца прошлого столетия идея извечной разобщенности («некоммуникабельности») людей, конечно, не была столь модной, какой она является на Западе сейчас. Однако Роллан начал воевать с этой идеей еще на студенческой скамье — опираясь на русскую литературу. В длинном письме к Жоржу Миллю (от 16 сентября 1887 года) второкурсник Роллан темпераментно обличает «трансцендентальный и ленивый эгоизм» современной французской литературы, замыкающей человека в «панцирь собственной индивидуальности». Он выписывает большой отрывок из Мопассана, где говорится, что ничто не может разбить барьер, отделяющий одного человека от другого, и добавляет: «Ничто — только маленький лучик Любви, божественный свет Милосердия, который преобразует мою Россию...» Так и сказано: «*ma Russie*».

Десятилетия спустя Роллан вспоминал, как много значили для него и его сверстников книги великих русских писателей. «Трагедии Эсхила и драмы Шекспира не могли потрясти души своих современников глубже, чем всколыхнули нас «Идиот», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина» и великая эпопея, которая, в моих глазах, занимает среди этих шедевров место некоей Илиады, — «Война и мир». То, что они принесли к нам на Запад, отягченный интеллектом, искусством и разочарованием, в ироническую и усталую Францию Флобера, Мопассана и Ренана, расточившую свою кровь и веру в злополучных войнах, неудавшихся революциях и моральной проституции Второй империи, было буйным дуновением из недр земли... Это была прежде всего пламенная любовь к правде... Никогда не забуду молнии этого откровения, разорвавшей небо Европы около 1880 года».

Крупнейшие французские романисты второй половины XIX века, разумеется, тоже привлекали читателей правдивостью, подчас даже очень резкой откровенностью, с какою они воспроизводили жизнь, включая и все ее

темные стороны. В студенческом дневнике Роллана отмечено, как поправился ему «чудесный реализм» романа Флобера «Госпожа Бовари»; мы помним и то, с какой готовностью студент Нормальной Школы поддержал, в связи со спектаклем «Жермини Ласерте», демократические тенденции творчества Гонкуров. Однако в приведенных строках Роллана имена Мопассана и Флобера поставлены рядом с именем философа-скептика Ренана, который учил своих читателей понимать «суетность всего», тщетность людских усилий. Можно ли противостоять торжествующему злу, всепроникающей пошлости? Книги французских писателей заставляли сомневаться в этом: такова жизнь, ничего не поделаешь. Книги русских писателей будоражили совесть, подсказывали вывод: так жить нельзя, надо жить по-иному!

Но — как жить? Молодой Роллан искал ответа на этот вопрос не только в романах и повестях Толстого, но и в его философских сочинениях. Он прочитал трактат Толстого «Так что же нам делать?»: его взволновал в этой книге необычайно сильный и искренний протест против общества, основанного на угнетении человека человеком. Но его смутили и покоробили нападки Толстого на современную науку и особенно на искусство. Неужели гениальный художник, создатель «Войны и мира» — против искусства? Как это может быть?

И Роллан обратился к Толстому. В Толстовском музее в Москве хранится подлинник этого письма от 16 апреля 1887 года, написанного робким полудетским почерком. На конверте адрес: «Графу Льву Толстому, писателю. Москва. Россия». Адрес был, как видим, не очень точным. Но письмо дошло по назначению.

Роллан понимал, что Толстому пишут многие, из многих стран. Он объяснял, почему решился на такой шаг. «Меня побуждает к этому жгучее желание знать, — знать, как жить, а только от вас одного я могу ждать ответа, потому что вы один подняли вопросы, которые меня преследуют».

Роллан писал далее, что его мучит проблема смерти, — с этой проблемой он то и дело сталкивается, читая Толстого. «Я не могу и не пытаюсь даже выразить вам, насколько ваш «Иван Ильич» всколыхнул самые сокровенные мои мысли...» «Я убедился, что светская, деловая жизнь не есть истинная жизнь, поскольку она кончается смертью; жизнь может стать благом, только если мы

уничтожим смерть. Истинная жизнь вся в отказе от эгоистического противопоставления себя ближним, в стремлении стать живою частью Единого Бытия». Роллан выражал полное согласие с мыслью Толстого о том, что добрые дела, труд на пользу людям возвышают человека над эгоистическим «я» и дают душевное удовлетворение. Но он спрашивал: почему Толстой считает обязательным для каждого именно ручной, физический труд? Он тут же задавал и другой вопрос: «почему вы осуждаете Искусство?» Ведь и оно, утверждал Роллан, тоже способно поднимать человека над его эгоистическим «я» — «я влюблен в искусство, потому что оно освобождает мою жалкую маленькую личность: в нем я исчезаю, сливаясь с бесконечной гармонией звуков и красок, в которых растворяется мысль и уничтожается смерть». Разве не может искусство, спрашивал Роллан, сыграть благотворную роль для народов, «которые погибают от изощренности своих чувств и избытка своей цивилизации»?

Прошло полгода — Толстой не откликнулся. Роллан написал ему вторично. Надеялся ли он на ответ? Вероятно, не очень. В лучшем случае он мог рассчитывать на несколько доброжелательных строк: его и это бы обрадовало.

Наконец ответ пришел, и какой! Двадцать восемь страниц, написанных по-французски от руки. Уже форма обращения была такая, что от нее могло замереть сердце: «Дорогой брат!» Роллану навсегда запомнился вечер — в пятницу, 21 октября 1887 года, — когда он вместе с Сюаресом, спеша и волпуясь, читал эти страницы, исписанные крупными косыми буквами:

«Ручной труд в нашем развращенном обществе (в обществе так называемых образованных людей) является обязательным для нас единственно потому, что главный недостаток этого общества состоял и до сих пор состоит в освобождении себя от этого труда и в пользовании, без всякой взаимности, трудом бедных, невежественных, несчастных классов, являющихся рабами, подобными рабам древнего мира...»

«Ручной труд есть обязанность и счастье для всех; умственная деятельность есть деятельность исключительная, которая становится обязанностью и счастьем только для тех, кто имеет соответственное призвание. Призвание может быть указано и доказано только тогда, когда ученый или художник жертвует своим спокойствием и сво-

им благосостоянием, чтобы следовать своему призванию...»

«Ложная роль, которую играют в нашем обществе науки и искусства, происходит оттого, что так называемые образованные люди, во главе с учеными и художниками, составляют привилегированную касту, подобно священникам... Недостаток касты в том, что она давит на массы и, сверх того, лишает их того самого, что предполагалось распространить между ними...»¹

Все эти мысли были для Роллана необычайно новыми и важными. И вместе с тем они были близки строю его собственных мыслей. Особенно его обрадовало толстовское определение: «добро и красота для человечества есть то, что соединяет людей». Не то же ли самое утверждал его любимый философ Спиноза, когда писал: «что заставляет людей жить согласно, то полезно»?

Роллана глубоко взволновали и заставили задуматься слова Толстого о том, что в современном обществе ученые и художники составляют привилегированную касту, существуют за счет тяжелого труда «бедных, невежественных, несчастных классов». Меньше чем через полгода после получения письма Толстого, в марте 1888 года, Роллан записал в свой дневник: «Мне стыдно, когда прислуга моей матери видит, как я читаю за столом. Мне стыдно, когда я встречаю рабочего, который надрыгает свои силы тяжелым трудом. Я не могу принять всерьез ту роль, которую навязывает нам худосочная и прогнившая цивилизация эксплуататоров».

В последующие десятилетия Ромен Роллан много раз писал о Толстом — анализировал его произведения, взгляды, деятельность, размышлял о его значении для современного человечества, сопоставлял жизненные и литературные впечатления с уроками, заветами Толстого, как художника и человека, — а подчас и спорил с ним. Пожалуй, самое ясное сжатое определение — в чем главная суть его духовной связи с Толстым — Роллан дал в одном из писем, посланных в Советский Союз в 1931 году: «Я продолжил суровую критику Толстого, направленную против общества и искусства привилегированных».

Религиозно-реформаторские стороны мировоззрения

¹ Полный текст письма Толстого к Ромену Роллану напечатан (во французском оригинале и русском переводе) в 64-м томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, М., 1953, стр. 84—98.

Толстого, в сущности, никогда не привлекали Роллана. Проповедь аскетизма и прощения была и осталась ему чужда. Он добродушно подсмеивался над Сяаресом, когда тот решил сделаться правоверным «толстовцем» и стал воздерживаться от мясной пищи. Самому Роллану никогда не приходило в голову подражать мудрецу из Ясной Поляны в личном быту, пахать землю или тачать сапоги. Но он старался следовать примеру своего русского учителя в области гораздо более важной. Много позднее, в 1908 году, он сделал следующую надпись на томе «Жан-Кристофа», посланном в Ясную Поляну: «Льву Толстому, показавшему нам пример того, что надо говорить правду всем, и самому себе, чего бы это ни стоило».

«Говорить правду» — в эти слова зрелый Роллан вкладывал разносторонний смысл. Он высоко ценил в Толстом-художнике умение необычайно пластично, зримо воспроизводить жизнь, природу, человека. Но еще более высоко ценил он в Толстом-человеке умение высказывать истину безбоязненно и открыто, как бы ни была она неприемлема или даже опасна для власть имущих.

В годы ученья в Нормальной Школе Роллан немало размышлял над проблемами, которые поставило перед ним письмо Толстого. Любопытно, что он, читая французских или иностранных писателей — Флобера или Стендаля, Диккенса или Джордж Элиот, и записывая свои впечатления в дневник, то и дело возвращался к Толстому, как масштабу для сравнения. Толстой нередко становился для него внутренним ориентиром и тогда, когда он обдумывал собственные планы — жизненные и творческие.

С первых же месяцев обучения студенты оживленно обсуждали свое будущее. Умный и насмешливый Жорж Милль уверял, напуская на себя цинизм, что главное для него — хорошее положение в обществе и высокие заработки. Он говорил, что мечтает после окончания Школы вступить в любовную связь с женой какого-нибудь видного ученого и с ее помощью сделать академическую карьеру. Роллан слушал, и ему становилось противно. Он спросил, наконец: «А смерть? Ты о ней вовсе не думаешь?» Милль отвечал со смехом: «Лет пятнадцать, как-никак, проживу!» Роллан не стал спорить — он посоветовал Миллю прочитать «Смерть Ивана Ильича».

В то время Милль был предельно далек от мысли, что он умрет еще до окончания Нормальной Школы и что Роллан посвятит его памяти свое «Кредо». Да и сам Роллан был как нельзя более далек от мысли, что всего через три года после выхода из Школы он сам женится — конечно, по любви — на дочери видного ученого, который постарается помочь ему в академической карьере... Роллан-студент был твердо намерен вовсе не жениться, чтобы можно было сохранить независимость, не заботиться о преуспевании и зароботке. В преподавательской деятельности, которая ему предстояла, он видел временную необходимость, а никак не подлинное свое призвание. Уже в январе 1887 года появляются в дневнике слова: «Если я буду писать...»

Стать писателем — вот чего ему хотелось. Но когда в конце первого учебного года надо было определить будущую специальность, сделать выбор между философией, историей, литературой — Роллану уже было ясно, что на литературное отделение не стоит идти: оно не дает достаточно солидных знаний. Гораздо больше привлекала его философия. Профессор философии Олле-Лапрюн, католик с елейными манерами, был хорошо расположен к одаренному и вдумчивому студенту и не возражал бы видеть его своим учеником. Однако Роллан понимал, что на философском отделении ему пришлось бы подчиняться господствующим нормам «ханжеского спиритуализма», подменяющего знание слепой верой. Именно в этом духе слушатели были обязаны отвечать на экзаменах, иначе нельзя было получить хорошей отметки. Никого не интересовало, что они думают на самом деле: от них требовали повторения общеобязательных формул. «То была школа лицемеров», — вспоминал впоследствии Роллан. А лицемерить ему было тошно. Он «вернулся спиной к вербовщикам спиритуализма» и выбрал своей специальностью не философию, а историю.

На историческом отделении студентам приходилось работать больше, чем на других. Но зато им давалась возможность самостоятельно разбираться в фактах и документах. Будущим историкам прививалось уважение к разуму, к правдивому освещению фактов. Так укреплялся в юном Роллане «здоровый реализм», умение видеть и понимать жизнь как она есть. «Лишь позднее, — вспоминает он, — почувствовал я всю животворную мудрость этого реалистического мировосприятия, но уже

тогда оно помогло мне — хотел я того или нет — не заблудиться окончательно в заоблачных высях».

В числе профессоров, у которых учился Роллан, был известный ученый Габриель Моно, человек демократических взглядов, женатый на дочери А. И. Герцена. Дружба с семьей Моно сохранилась у Роллана на долгие годы и много для него значила. И у Моно и у других историков, преподававших в Нормальной Школе, Роллан ценил добросовестное отношение к материалу, которое научило его «видеть настоятельную необходимость в поисках истины».

Изучение истории натолкнуло Роллана на мысль написать большой труд в совершенно новом, необычном жанре. Это будет в одно и то же время научное исследование и художественное произведение — история религиозных войн во Франции XVI—XVII веков. Бурные события эпохи, столкновения партий и людских страстей воплотятся в живых судьбах, в сильных и цельных характерах. «Я хочу написать историю реалистическую и психологическую — историю душ», — писал он в дневнике. «Война и мир» — вот образец для меня...» К этому замыслу он возвращался много раз, развивая, уточняя его. «Я хочу дать пример — что может, что должна теперь делать История: воскресить прошлое, сделать его живым, воссоздать человеческие души в их полной, трепетной реальности, пользуясь не только критическим изучением текстов, но и художественной интуицией».

Этот замысел не осуществился. Но глубокое знание истории, полученное в Школе, очень пригодилось впоследствии Роллану именно как художнику: и тогда, когда он писал драмы о французской революции, и тогда, когда он работал над повестью «Кола Брюньон», — ведь ее действие происходит именно в эпоху религиозных войн, заинтересовавшую Роллана еще в студенческие годы.

За несколько месяцев до выпуска, в апреле 1889 года, Роллан проходил педагогическую практику в лицее Людовика Великого, где несколько лет назад учился он сам. Тут он снова убедился, что к преподавательской работе его не тянет. Особенно разочаровали его старшие классы: перед ним сидело несколько десятков великовозрастных юнцов, в которых оказалось очень трудно пробудить любознательность. Чтобы внести разнообразие в

свои занятия, Роллан читал ученикам вслух тексты по собственному выбору. И записал в дневнике:

«Занимаюсь русской пропагандой. В конце уроков я им читал Толстого. В третьем классе¹ — «Севастопольские рассказы»; потом побеседовал с ними о Толстом: некоторые смутно знали, что это русский писатель, и только один слышал о «Детстве» и «Отрочестве». (Читал им также описание битвы при Гастингсе из Огюстена Тьерри.) В классе риторики читал отрывки из «Холстомера», из «Войны и мира» и «Севастопольских рассказов». В классе философии — отрывки из «Обломова» Гончарова (и описание смерти Талейрана из Сент-Бева). «Севастопольские рассказы» больше всего захватили мою публику».

Перед выпуском из Нормальной Школы Роллан особенно напряженно обдумывал свое будущее. Кем быть? Его отталкивала и пугала не столько педагогическая работа сама по себе, сколько перспектива стать таким, как все, как многие, принять без возражений нечестные правила игры мецанского, собственногонического мира. Он писал матери накануне экзаменов:

«Общество — глупая машина, оно растрчивает силы без толку и делает за сто лет то, для чего достаточно десяти. Подумать только, — если я стану преподавателем (чего вовсе не желаю), я буду получать 3000 франков в год за то, что буду учить малышей, когда какие были битвы, короли и договоры. А в чем тут смысл? Вот был Наполеон III, еще живы многие, кто жили в его царствование, а потом его поносили. А теперь появился Наполеон IV, он же Буланже I, и те же самые люди его превозносят. История интересна разве только небольшому числу утонченных знатоков. И как невыносимо скучно ее излагают! А те занимательные ее стороны, которые обычно бывают скрыты от публики, — всего лишь низшая область Искусства. Подлинно ценное — это само Искусство или Вера, по крайней мере для тех, кто не владеет Действием, кто не является ни императором, ни генералом, а всего лишь праздным мечтателем, — для тех, кто живет в кабинете, а не на свежем воздухе. Между Чистым Искусством или Верой и Действием в полном смысле слова, между Вагнером или Фра Анджели-

¹ Во французских лицеях счет классов идет в обратном порядке, третий соответствует нашему восьмому или девятому.

ко и императором Вильгельмом, лежит необозримая пропасть; однако нет и не должно быть места для ложной науки, ложного искусства или для интриганства; между этими идеальными крайностями нет возможной середины. Надо быть либо тем либо другим, но — полностью. А подчинить себя будничным заботам — значит загубить свою жизнь».

Так в сознании Роллана уже в студенческие годы складывалась антитеза, которая занимала его и много лет спустя. Жизнь активная, «на свежем воздухе», была для него и загадочной и заманчивой. Но ему казалось вместе с тем что «людьми Действия» в полном смысле слова могут быть в современном мире лишь лица властные и обладающие властью — те, кто может оказать влияние на ход исторических событий. Для всех прочих людей действие сводится к мелкой возне, интриганству, борьбе за собственное место под солнцем. А если так, то лучше уйти в мир искусства, созерцания, быть подальше от житейских дрязг. Искусство, творчество — вот что чище и дороже всего.

А выпускные экзамены, хочешь не хочешь, надо было сдавать: Роллан и тут не хотел подражать Сюаресу, который, предаваясь поэтическим мечтам, запустил ученье и провалился на экзаменах. Роллан их выдержал — без блеска, но вполне благополучно. Он мог претендовать на место учителя в одном из парижских лицеев. Но директор Нормальной Школы Перро предложил ему нечто гораздо более привлекательное — двухгодичную научную командировку в Рим. Это значило — еще два года свободы, досуг для самостоятельных занятий, возможность серьезного знакомства с культурой и искусством Италии.

Г-жа Роллан воспротивилась было этой поездке: ей хотелось, чтобы сын поселился в родительском доме и не расставался больше с ней. Роллану пришлось выбирать, как он писал в дневнике, «между слепой сыновней любовью и доводами разума». Доводы разума оказались сильнее.

2

«Римская весна» — так называет Роллан в «Воспоминаниях юности» время, проведенное в Италии. Это была счастливая и очень плодотворная пора его жизни. За два

года он многое узнал и увидел. Гораздо яснее, чем прежде, определились его творческие замыслы.

Роллан поселился во дворце Фарнезе, старинном здании французского посольства, — в одной из маленьких уютных комнат третьего этажа, где разрешилось жить воспитанникам так называемой французской Школы истории и археологии. Никаких совместных занятий в этой Школе не было. Каждый из молодых научных работников трудился над своей темой, представлял в положенные сроки отчеты, рефераты или статьи; для наиболее усердных это был подготовительный этап к защите диссертации и дальнейшему научному восхождению. Директор, археолог Жеффруа, добродушный старик, не слишком докучал своим подопечным строгим контролем, и они были ему за это как нельзя более благодарны.

С самого начала Роллан должен был сделать выбор между участием в археологических раскопках или разысканиями в архивах; он предпочел второе. Габриэль Моно, его учитель по Нормальной Школе, помог ему найти тему: отношения Франциска I с папским престолом. Роллан добросовестно проводил долгие часы в архиве Ватикана над расшифровкой старинных рукописей. Тут действовало суровое чувство долга, привитое воспитанием, свойственное и самому Роллану по натуре. Его послали в Рим на казенный счет, — значит, он обязан выполнить то, чего от него ждут. Однако настоящая жизнь начиналась для него тогда, когда он вставал из-за рабочего стола. Тогда он мог вволю бродить по улицам Рима, подолгу простаивать перед «Моисеем» Микеланджело или фресками Рафаэля, совершать многочасовые экскурсии по окрестностям Вечного города в компании веселого проводника, забулдыги-аббата Лелуэ, или сидеть у себя в комнатке за фортепиано. А иногда мог, испросив у г-на Жеффруа короткий отпуск, путешествовать по другим городам Италии. «Я был тогда свободен, как птица, — вспоминает Роллан. — Мои широко раскрытые глаза и настороженные уши жадно ловили все, что было вокруг меня. Насытить их было невозможно. Все меня занимало. Ничто не сковывало. Небо надо мной было безоблачно, сердце — не занято...» Впечатлений было так много, разнородных, пестрых, красочных, что не хватало даже времени вести дневник — тем более что Роллан, выполняя обещание, данное матери, каждый день писал ей обстоятельные письма.

Еще до того как поселиться в Риме, Роллан побывал в Турине, Милане, Флоренции, Сиене, Орвието. Он с изумлением и восторгом воспринимал тот новый яркий мир, который раскрылся перед ним, и, захлебываясь, писал домой: «Я без ума от Флоренции; мне стыдно за Париж. Конечно, тут не найдешь красивых новых шестиэтажных домов, асфальтовых тротуаров, торцовых мостовых. Но мне ни к чему эти роскошные удобства, этот пошлый блеск. А зато здесь, когда я шагаю по вымощенной тяжелыми плитами площади Синьории или площади Дуомо, — у меня сердце прыгает от радости. Где еще можно увидеть собор, воздвигнутый Брунеллески, украшенный фресками Гирляндайо, скульптурами Донателло и Микеланджело, резьбой по дереву Финигейры и ювелирными работами Гиберти? Тут — лев Донателло. Там — «Давид» Микеланджело. Или «Персей» Бенвенуто Челлини. Или — статуя Иоанна Болонского. И повсюду галереи, музеи, дворцы. Монастырь, где келья за кельей расписана Фра Анджелико. Один из местных богачей построил Дворец Риккарди и церковь Святого Лаврентия. А другой, чтобы не отстать, воздвиг Дворец Питти! Это чудесно, поразительно и внушает презрение ко всему остальному миру».

Роллан и до поездки в Италию читал много книг по истории искусства; в итальянских музеях он то и дело испытывал радость узнавания — или нового открытия, — когда видел статуи и картины, знакомые и любимые по репродукциям. Он писал матери из Милана: «В музей Пеццоли я сразу отдал дань пламенной нежности моему дорогому Боттичелли...» Из Флоренции он снова писал: «После завтрака я вернулся в музей, еще в один музей — Академии изящных искусств. Там я нашел моего дорогого Боттичелли. Конечно, из всех произведений, которые я собирался увидеть во Флоренции, меня сильнее всех влекла к себе «Весна» этого мастера. Теперь, когда я ее видел, когда я навестил Фра Анджелико и Боттичелли, все остальное мне уже не так важно: буду смотреть по путеводителю...» День спустя он сообщал: «Утром, в церкви Святого Креста, я испытал глубокую радость, когда увидел прекрасные фрески старого Джотто: «Жизнь Святого Иоанна Евангелиста» и «Жизнь Святого Франциска Ассизского». Тут могучая простота, подлинная выразительность, откровенная и взволнованная, — абсолютная искренность». Через несколько месяцев Рол-

лан побывал в Неаполе и снова делился впечатлениями: «Я в восторге от картин Тициана. Лучшее всего, по-моему, эскиз: папа Павел III со своими двумя племянниками. Я никогда не видел портрета, который вместили бы в себе столько жизни. Конечно, во флегматичных рембрандтовских лицах больше жизни внутренней, интеллектуальной, больше мысли; но здесь персонажи и размышляют, и действуют, физиономии в одно и то же время и думают, и говорят. Это — жизнь, более активная, чем у Рембрандта, и более утонченная, чем у Франса Хальса...» В письмах Роллана из Италии множество подобных записей и кратких разборов: он не только наслаждался живописью, но и привыкал всматриваться, сопоставлять, анализировать увиденное.

Италия щедро одаривала Роллана не одними лишь живописными или архитектурными впечатлениями. Он бывал в театрах, концертах: он заново открыл для себя Шекспира, увидев «Короля Лира», а затем «Отелло» и «Кориолана» в исполнении замечательного актера Росси, который покорило его своим «глубоким и сдержанным реализмом».

Живя в кругу собственных интеллектуальных и художественных интересов, Роллан вместе с тем трезво присматривался к окружающей его действительности, умел нелюбезно судить о том, что он видел. Пребывание в католической столице не приглушило, а скорей обострило в нем критицизм по отношению к церкви. Роллан не без любопытства ходил на богослужения в Сицистинскую капеллу, несколько раз присутствовал на больших религиозных торжествах: все это было занимательно, пышно, красочно — но не более того. А папа Лев XIII, если посмотреть на него поближе, был просто-напросто «худенький старичок, небольшого роста, немного сутулый, с пятнистой пергаментной кожей, постоянно покашливающий». Роллан не без юмора описал родным встречу молодых историков из дворца Фарнезе с главой католической церкви: «Г-н Жеффруа представил нас всех поодиночке, и Лев XIII из вежливости постарался говорить с нами на французском языке, которым он владеет еще более посредственно, чем я думал... Он нам сказал, что дарует особое благословение нам и нашим семьям: тороплю переслать его вам по почте, пока его сила не улетучилась...»

По мере того как Роллан акклиматизировался в Ри-

ме, он все более отчетливо различал не только свет, но и тени. По-прежнему восхищаясь красотой итальянской природы, богатством искусства, он с болью наблюдал нищету обездоленных итальянцев. «Меня постоянно поражает контраст между различными частями Рима. По сути дела я вижу два Рима в одном: Рим столичный, Корсо, виа Национале, от виллы Медичи до Капитолия, богатые кварталы, оживление и роскошь, большие магазины, кареты — а рядом ужасные кварталы, которые тянутся от Форума до Яникула через Транстевере, кварталы трущоб, грязного белья, вшивых лохмотьев...»

Сколь ни был Роллан далек от политики, его коробили нравы монархической страны. Побывав в опере на спектакле «Орфей», он писал матери: «Произошло нечто чудовищное, нечто такое, что здесь, оказывается, вполне обычно, — но я с этим столкнулся в первый раз. Оркестр только было начал играть эту божественную музыку; я закрыл глаза. И вдруг, паф, паф, дирижер стукнул по пюпитру; все замолкает; каналы-музыканты поднимаются со своих мест и бодро играют подлый королевский гимн. Вошла королева. Весь зал встает и громкогласно ее приветствует. И этот кафешантанский мотив осквернил прекраснейшую музыку, грубо прервав ее по середине такта, чтобы хребты, привыкшие гнутья, могли удовлетворить свою низменную потребность! Никогда бы мы в Париже так не поступили!.. Мы оба, моя спутница и я, как подобает хорошим революционерам, продолжали сидеть, — я был возмущен, а она тихонько подсмеивалась над «доброй дамой»...»

Спутница, упомянутая здесь Ролланом, — это была женщина, дружба с которой глубоко повлияла на его сознание и творчество; его письма к ней нередко кончаются словами «Люблю вас нежно», «Люблю вас бесконечно». В ту пору, когда он познакомился с ней, ей было уже больше семидесяти лет. Это была Мальвида фон Мейзенбург, немецкая писательница, друг Герцена, Мадзини, Вагнера и Ницше, автор известной книги мемуаров «Воспоминания идеалистки», — быть может, одна из наиболее выдающихся женщин XIX столетия.

Мальвида фон Мейзенбург в свое время была воспитательницей, фактически приемной матерью, младшей дочери Герцена Ольги, ставшей впоследствии женой Габриеля Моно. Роллан впервые встретился с ней в Париже, в доме Моно, — а потом стал частым гостем в тихой

квартирке в Риме, где она жила постоянно. Она первая угадала в скромном молодом историке и любителе музыки будущего большого писателя. Он советовался с ней по поводу своих литературных и жизненных планов, а она охотно и подолгу делилась с ним своими воспоминаниями.

Роллан писал матери после одной из таких бесед: «Я ее слушал с необыкновенным интересом. Глядя на ее милое, добродушное старушечье лицо, даже и представить себе невозможно, сколько она видела и слышала и сколько сама передумала. Мадемуазель фон Мейзенбург была близким другом всех самых знаменитых или самых отверженных обществом революционеров середины нашего века. После революции 48 года она была выслана из Германии и поселилась в Лондоне, где повседневно тесно общалась с Мадзини, от которого у нее куча писем, и с Герценом, — а он был тогда на Западе чем-то вроде второго царя благодаря необычайному влиянию его произведений и благодаря той огромной власти, какую ему давала его вольная русская типография в Женеве, вокруг которой группировались все революционеры Европы; она общалась и с Бакуниным, личностью легендарной, воплощением самого непримиримого, абсолютно Нигилизма; и с Тургеневым, и с Луи Бланом, и т. д... Какие это своеобразные люди — совсем особая порода!.. Жизнь Герцена сама по себе целый роман. Он, кажется, сам описал ее в книге воспоминаний, переведенных на французский язык. Все эти изгнанники собирались в Лондоне в доме Герцена, — а ведь некоторые из них пропадали без вести на долгие годы. И вся эта компания вела заговорщическую жизнь, волновалась, писала, действовала...»

Мы чувствуем в этих восторженно-торопливых строках немалую долю юношеской наивности. Прославленные мятежники, о которых рассказывала Роллану Мальвида, приобретали в его глазах оттенок экзотической загадочности, — но вместе с тем и ореол величия. Понятно, что Роллан склонен был судить о революционных силах Европы середины XIX века именно на основе воспоминаний его уважаемой приятельницы: он многое узнал о перипетиях жизни Бакунина, — но ничего, или почти ничего, не знал в то время о Марксе и Энгельсе. Но, так или иначе, рассказы Мальвиды фон Мейзенбург обогащали его внутренний мир, — по-своему, наверное, не

меньше, чем впечатления от картинных галерей и музеев Италии.

Мать тревожилась: не приобретает ли эта чужая старая женщина с таким сильным характером, с такой необычной судьбой слишком большую власть над душой ее сына? Она чувствовала нечто вроде ревности к той, которую Роллан впоследствии в «Воспоминаниях юности» назвал своей второй матерью. Она высказывала сыну свои тревоги, а он сердито отвечал: «Какое забавное предположение зародилось в твоём беспокойном мозгу! Тебе не терпится узнать, о чем мы — мадемуазель фон Мейзенбург и я — лишем друг другу, и ты решила, что она меня «обратила в свою веру»? Выходит, ты вовсе меня не понимаешь?! И не хочешь понимать! Я — обращен в чью-то веру? Да нет же, я сам кого угодно обращаю! Ни Ренан, ни Толстой, ни Вагнер не обратили меня в свою веру, а ты думаешь, что мадемуазель фон Мейзенбург сумеет это сделать!»

И в самом деле: Роллан ни с чьей стороны не хотел терпеть опеки; он не потерпел бы ее и со стороны Мальвиды, которую иногда ласково-шутливо именовал Мен-тором.

Он тщательно оберегал свою духовную независимость, стремился в любых условиях сохранить ее. Это было очень важно для него именно в Риме, где он общался с многими и очень разнообразными людьми.

До поступления в Нормальную Школу Роллан жил в замкнутом семейном кругу. На улице Ульм он оказался в кругу товарищей-сверстников — относительно более широком, но тоже замкнутом. В Риме сфера его человеческих контактов намного расширилась. Роллан вовсе не хотел брать пример с Сюареса, который, проникшись презрением к пошлomu буржуазному свету, вел отшельническую жизнь в небольшом городке неподалеку от Марселя. Живя в Риме, Роллан, конечно, не искал знакомств в высшем обществе: к этому обществу он относился насмешливо-критически и ни в чем не жертвовал ради него своей свободой. Однако он не без удовольствия, когда представлялся случай, пополнял в светских салонах Рима запас своих жизненных наблюдений. Он писал матери: «Я охотно вижусь с людьми, слушаю, как они говорят, присутствую при их комедиях; но я не хочу подчиняться их социальной тирании». Впоследствии он

вспоминал: «Но не только небом Италии устилал я сундук своих впечатлений. Я складывал в него богатую добычу человеческих образов, которыми начал заполнять мою кладовую, чтобы затем использовать их в будущих «ярмарках на площади».

Вместе с другими обитателями дворца Фарнезе Роллан бывал на дипломатических приемах; благодаря занятиям в архиве Ватикана он соприкасался с «черным» миром католического духовенства. А Мальвида фон Мейзенбург, которую уважали в интеллектуальных и аристократических кругах Рима, ввела своего молодого друга в те дома, где она бывала сама, в частности в салон донны Лауры Мингетти, вдовы министра, обаятельной и общительной дамы, напоминавшей молодому Роллану героиню Стендаля.

Роллан и в эти годы сохранял свою природную застенчивость. В шумной космополитической среде римских гостиных он предпочитал слушать, а не говорить. Да ему и не надо было много говорить, чтобы быть желанным гостем в этой среде. Когда он садился за рояль, все умолкало.

В сущности, Ромен Роллан никогда не обучался специально исполнительскому искусству. Он брал уроки музыки — и дома, в Кламси, и в Париже, до поступления в Нормальную Школу. На улице Ульм он занимался музыкой сам и продолжил эти занятия в Риме, поставив в своей келье на третьем этаже фортепиано, взятое напрокат, и записавшись на абонемент в нотном магазине-библиотеке. Память у него была выдающаяся. Он мог часами играть наизусть своих любимых композиторов — Моцарта и Бетховена, Баха и Вагнера. И исполнял их так, что испуганные в музыке итальянцы восхищались. Хозяйки аристократических салонов, созывая гостей, общались: придет синьор Роллан, он будет играть. Эта нечаянная слава музыканта-виртуоза и смущала и смешила Роллана, который вообще-то был мало чувствителен к славе и успеху. Так или иначе, он, сидя за инструментом, — даже и в окружении чужих, малознакомых людей — чувствовал себя вполне и уверенно.

В числе постоянных посетительниц салона Мингетти были две необычайно красивые девушки, дочери графа Гуеррьерри-Гонзага. Роллан впервые увидел их у Мальвиды фон Мейзенбург, а впоследствии не раз бывал и в их доме. С первой же встречи он был очарован обеими,

не сразу разобрался в своих чувствах, — а потом понял, что любит младшую, Софию. «Она и не думала обо мне, — вспоминал потом Роллан. — Она упивалась веселым ликованием ранней юности... Узнав, что она любима, она не рассердилась. В те счастливые дни, полные веселых неожиданностей, это было для нее еще одним маленьким развлечением».

Сама София уже после смерти Роллана писала о своих первых встречах с ним: «Как сейчас вижу благородный, словно устремленный ввысь, силуэт Ромена Роллана, его лицо, выражавшее в одно и то же время и робость и уверенность, и его лучезарные глаза с их пронзительно-испытующим взглядом. Суровость, свойственная людям Севера, сочеталась в нем с восхитительной французской учтивостью, — все это мне внушало немалое уважение и даже некоторый страх, тем более что и я сама обычно бывала застенчива». София сразу почувствовала в нем человека незаурядного — и стала ему впоследствии верным, понимающим другом.

Любовь к Софии Гуеррьери-Гонзага, заранее обреченная на неуспех (да и мог ли он, неизвестный и неимущий, помышлять тогда о браке с избалованной аристократкой?) не нанесла Ромену Роллану глубокой раны, но все же сильно расстроила его душу и дала новый толчок его попыткам писательства. За две недели возник роман-поэма в прозе «Римская весна», рукопись которого была впоследствии уничтожена автором. Но ему хотелось писать еще и еще.

В годы ученья в Нормальной Школе Роллан временами сожалел, что родители не позволили ему сделаться музыкантом. В годы пребывания в Риме у него постепенно созревала мысль: можно и не будучи композитором или пианистом-исполнителем жить в мире музыкальных образов, претворять эти образы в слово. Изучая биографии Бетховена и Моцарта, Роллан задумывался над тем, как связано творчество великих композиторов с их личными судьбами; так, посредством постепенной внутренней работы, подготовлялись будущие исследования Роллана-музыковеда. Он понемногу начинал думать об обширном труде, посвященном Бетховену, написал маленький этюд о Моцарте.

В марте 1890 года произошло событие, которое писатель впоследствии назвал «откровение на Яникуле». Во время одной из его одиноких прогулок по Риму — в

момент, когда он смотрел на город с высоты Яникульского холма, — его как бы внезапно озарила мысль о большом повествовании. Он сразу представил себе своего будущего героя. «Каким же он был? Его смелый, открытый взгляд парил «над схваткой» народов, над временем. Независимый творец, он видел и судил нынешнюю Европу глазами нового Бетховена. В тот миг, на Яникуле, я был таким Кристофом. Впоследствии я потратил двадцать лет жизни, чтобы выразить его суть». Через несколько месяцев после этого «откровения», в августе 1890 года, Роллан, уехавший на каникулы в Париж, в большом письме к Мальвиде фон Мейзенбург развивал мысли о новой художественной форме, которую ему хотелось бы создать: о «музыкальном романе», который, подобно симфонии, строится на основе «единого могучего чувства».

Чем более отчетливыми становились литературные замыслы Роллана, тем больше его тяготила обязательная работа. Составление реферата о кардинале Сальвиати, папском нунции во Франции XVI века, никак не могло его увлечь. И он писал матери: «Как обидно, когда нельзя делать то, что хочется! Когда я вернусь, я так хотел бы писать вовсе не то, что приходится писать сейчас, а нечто совсем другое!..» «Работаю как негр. Вчера одолел 40 страниц in folio по-итальянски. Хочу за месяц отделаться от статьи для «Трудов» и от библиографического обзора...» «Погода стоит золотая, это время года в Риме даже еще приятнее, чем весна. Но я вчера ею не воспользовался, не поехал с компанией товарищей в Монте-Каво; я работал, как бешеный, с 2 ч. до 7 ч., и потом еще после обеда. Много читаю по-итальянски и по-немецки, и даже довольно бегло...» Еще до истечения первого года жизни в Риме он откровенно писал домой о том, как мыслит себе будущее: «Ни за что на свете я не хочу быть преподавателем... Я художник в душе... Мое единственное честолюбивое желание — вложить мою душу и миропонимание в одно или два литературных произведения, написанных не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы осуществить мое жизненное назначение... Пусть я буду богатым или бедным, известным или неизвестным, самое важное для меня — раскрыть мою личность, вложить ее в творчество на радость самому себе и на пользу тем, кому оно будет нужно».

Между матерью и сыном мало-помалу возникали расхождения. Г-жа Роллан настаивала на том, чтобы сын готовил себя к научной и преподавательской деятельности. Заботясь о нем на свой лад, она пыталась отговорить его от литературных начинаний. Профессура — это значило прочное положение, обеспеченное будущее. А неопытному литератору неизбежно предстояло пройти через годы безвестности, неуверенности, риска, тревог. Письма матери изобиловали предостережениями и наставлениями: «Ты слишком молод...» «Я решительно возражаю...» «Тебе нужно отказаться...» «Ничего не предпринимай, не будучи уверен в успехе...» Роллан был преданным и любящим сыном. Но вопросы, касающиеся работы, выбора жизненного пути, он хотел решать — и решал — самостоятельно. «Искусство, — писал он матери, — единственная карта, на которую я ставлю; я уверен, что в конце концов выиграю. А в том, что касается искусства, мне не нужны твои советы...» «Я пишу про Сальвиати, потому что это — обязательство; но новых подобных обязательств я брать на себя не буду. Не жалейте меня, дайте мне действовать по собственному разумению. Достаточно я уже подчинил свою жизнь буржуазным соображениям целесообразности, осторожности, мудрой деловитости. Пришло время начать жить». А в заметках для себя Роллан писал еще более решительно: «Я должен либо умереть, либо творить. Художественное творчество не является для меня ни карьерой, ни развлечением. Это вопрос жизни и смерти». Творить. Но — как именно?

Большой «музыкальный роман», труды о композиторах — все это вызревало медленно и требовало долгих лет для своего осуществления. В годы жизни в Риме Роллана влекло не столько к роману, сколько к драме.

К 24—25 годам Роллан накопил обширные не по возрасту знания в области истории, литературы, искусства. Он свободно ориентировался в культурных богатствах разных эпох и народов. Он знал наизусть в оригинале трагедию Софокла «Эдип-царь» и разбирался в русской литературе XIX века не хуже самого Мелькiorа де Вогиюэ. Но того знания жизни, людей, которое необходимо писателю, Роллану сильно недоставало, и он сам отдавал себе в этом отчет.

В сентябре 1890 года он писал Мальвиде фон Мейзенбург: «Вы правы, надо постараться изучить мир вне

меня, различные его формы. До сих пор многое мешало мне наблюдать мир живых существ: моя сосредоточенность в себе, начиная с детства, борения моего идеализма, замкнутый круг, в котором я жил; а также и — сказать вам откровенно? — презрение, почти отвращение, которое я испытывал к контакту с большинством людей. Вместе с тем я страстно люблю Жизнь... Я чувствую в себе отзвук океана человеческих страстей, мое сердце слышит удары его волн. Однако активная сторона жизни, сцепление фактов, мир Действия, наконец, лишь очень смутно знакомы мне».

На пороге самостоятельной творческой деятельности Роллан очень остро ощущал в себе противоречие: его тяготила слишком книжная, созерцательная жизнь, какую он жил до сих пор, ему хотелось, как художнику, прославить «мир Действия», — но о самом этом мире он имел самое приблизительное понятие.

За годы пребывания в Италии в художественных вкусах и интересах Роллана произошли заметные сдвиги. Реалистическая литература стала занимать его меньше, чем прежде. Роллан охладил даже к Толстому, особенно после «Крейцеровой сонаты», оттолкнувшей его своей неумолимо строгой аскетической проповедью. К современным французским прозаикам Роллан относился тем более холодно, а Золя, находившегося на вершине мировой славы, просто терпеть не мог: он считал его романы слишком грубыми, приземленными. Золя — как и другие современные французские романисты — погружался в мир житейской прозы, воспроизводил ее без прикрас. А Роллану хотелось подняться над этой прозой, воспеть Красоту, Деяние, Жизнь — все эти понятия мыслились им отвлеченно-приподнято и обязательно с больших букв. Завороженный великим искусством Возрождения, с которым он близко соприкоснулся в Италии, он хотел воскресить дух этой могучей эпохи, внести его в современное общество. Так возникла дерзкая мечта — создать драму шекспировского образца, с яркими героями, резким столкновением страстей.

Первая пьеса Роллана, написанная им еще в Италии, называлась «Орсиню». Главным действующим лицом в ней был итальянский кондотьер эпохи Возрождения — сильная, необузданно-своевольная личность. Эта драма так и осталась неопубликованной: можно с уверенностью предположить, что в ней было много юношески незрело-

го. Писательский талант Роллана еще не успел окрепнуть. Да и помимо этого — молодому драматургу, конечно, не хватало жизненного опыта. Он мог черпать материал скорее из исторических и литературных источников, чем из действительности. Людей, подобных персонажам «Орсино», Роллан не встречал, да и не мог встретить в окружавшем его обществе, и это его, в сущности, мало смущало. Он хотел противопоставить измельченным, посредственным людям современного буржуазного мира титанические характеры золотого Ренессанса.

Незадолго до отъезда из Рима Роллан написал Габриелю Моно, что твердо намерен, несмотря на несогласие родителей, отдать все свои силы литературной, творческой работе. «Таков сегодня мой долг — отстаивать свою волю наперекор близким, как потом придется ее отстаивать наперекор чужим. Это мой долг, мой Долг, и, чтобы его выполнить, я готов поступиться всеми остальными обязанностями и принести в жертву то, что мне наиболее дорого». Роллан тут же пояснил замысел своей драмы «Орсино». «В Возрождении я вижу вовсе не просто определенную историческую эпоху, но — один из моментов, когда человек был в наибольшей мере свободным, непосредственным, мог наиболее откровенно быть человеком»*.

Мальвида фон Мейзенбург поддержала намерение Роллана посвятить себя писательству. Она обратилась с письмами к его родителям и к Габриелю Моно, убеждая их, что у молодого человека есть серьезное призвание к литературе. Она сама уверилась в этом, прочитав рукопись «Орсино». По ее просьбе Габриель Моно передал эту рукопись знаменитому актеру Муне-Сюлли, которому пьеса понравилась. Перед Ролланом возникла радужная перспектива: Муне-Сюлли обещал ходатайствовать, чтобы «Орсино» приняли к постановке в «Комеди Франсез».

Не дожидаясь решения судьбы «Орсино» (который в конце концов так и не попал на сцену), Роллан взялся за следующую драму, «Эмпедокл». У него уже было задумано, или даже имелось в черновых набросках, еще несколько пьес на сюжеты из эпох Возрождения и античности: «Бальони», «Ниобея», «Калигула», «Осада Мантуи».

Он вернулся в Париж полный замыслов и надежд.

«Я, наверное, никогда не женюсь», — писал Роллан матери незадолго до отъезда из Рима. Вскоре после возвращения в Париж он передумал.

Клотильда Бреаль, единственная дочь прославленного ученого-лингвиста, была умна, образованна, обаятельна. Была ли она красива? Судя по сохранившимся фотографиям, вряд ли: неправильные, резкие черты лица. Зато глаза — большие, черные, выразительные — говорили о жизнерадостности, живости характера. Правда, в момент, когда Роллан познакомился с ней, она была подавлена тяжелыми потерями. Не так давно умерла ее мать. Совсем недавно умер Цезарь Франк — ее любимый учитель, один из немногих современных композиторов, ценных Ролланом.

Любовь к музыке быстро сблизила их. Роллану понравилось, как Клотильда исполняет Вагнера. С ней можно было вести серьезный разговор о музыке — притом Клотильда не стеснялась высказывать и такие суждения, которые расходились с общепринятыми. Она открыто признавалась, что не разделяет всеобщего восторга перед Бетховеном. Перед тем, кто был Роллану дороже всех композиторов прошлого и настоящего!

Роллан уважал в людях независимость мысли. А если эта милая барышня не понимает Бетховена, надо ей помочь его понять.

Первое письмо Роллана Клотильде скорее напоминает музыковедческий очерк: оно содержит подробнейший разбор бетховенской Большой сонаты, опус 106. На сохранившейся копии рукой Роллана написано: «Девушке, которая не любит Бетховена».

Прошло полгода — и молодые супруги играли Бетховена в четыре руки.

Клотильда пользовалась успехом в том обеспеченном интеллигентном кругу, к которому принадлежал ее отец. Сообщение о ее помолвке вызвало разнообразные толки. Кто он, этот талантливый, но неимущий и безвестный молодой человек, которого она предпочла всем другим? Г-жа Пруст, жена известного парижского профессора, писала своему сыну Марселю, в ту пору студенту и начинающему литератору: «Мадемуазель Бреаль нашла себе родную душу: она обручилась с неким чудом трех царств природы (не считая минерального). Ученый! пи-

сатель! артист! и прочее и прочее (но его имя мне неизвестно)».

А сам Роллан, страстно влюбленный, терзался неуверенностью: сумеет ли эта блестящая, яркая девушка стать ему действительно родной душой? И найдет ли она в нем то, чего ищет?

Он писал ей 13 июля 1892 года: «Меня мучит опасение: как бы вы не ошиблись во мне; как бы вы не увидели во мне и больше и меньше, чем есть на самом деле, и не обнаружили бы когда-нибудь, как велика разница между тем, кого вы любите, и тем, каков я есть. Я прихожу в ужас от мысли, что вы не будете счастливы со мной. Я так хорошо отдаю себе отчет, что не похож на большинство людей (это я не из хвастовства говорю!). Я боюсь, что вы недостаточно ясно отдаете себе отчет в этом, — и в том, что потребности моего духа и моя воля к творчеству обрекают меня на жизнь не вполне обычную.

С первого дня я и в вас увидел волю, личность, живую душу, а не просто тень, каких много. Я не намерен ни растворить вас в себе, ни раствориться в вас. Я желаю свободного и полного развития обоих наших существ, сильных своей взаимной любовью. Я люблю вас ради вас так же, как ради себя. А любите ли вы меня так же? И знаете ли вы меня?

Простите меня за то, что я вам высказываю все это; но вы имеете на это право; потому что вы — *женщина*, а настоящие женщины так же редки, как настоящие мужчины.

Люблю вас глубоко, что бы вы обо мне ни думали.

В другом письме, от 17 мая, написанном после откровенного объяснения, Роллан договаривает то, чего не удалось досказать:

«Вас страшит мой характер. Я готов выслушать все плохое, что вы о нем думаете. Я сам помогу вам в этом. Я тоже боюсь, что не создан для вашего счастья, которое мне стало так дорого. Я так хорошо вижу, как много мне недостает, чтобы вам нравиться! Мы очень различны и очень похожи. Впрочем, я и не полюбил бы вас, если бы нашел в вас только нечто похожее на себя. Ведь я люблю в вас именно вас, а не себя самого. И я от души люблю в вас и те ваши вкусы, которых не разделяю (надо ли объяснять, какие?).

А потом — у меня есть воля к творчеству, и я с ра-

достью пойду на уступки вам во всем, но только не в этом. Если вы останетесь мне другом, то, умоляю вас, не боритесь с этой моей волей, а помогите мне осуществить ее; это и долг, и настоятельная потребность моей природы; если мне не хватит сил, то вы должны мне их дать, чтобы вместе постараться обрести утраченную гармонию, эту чудесную античную гармонию в искусстве и жизни.

Вот о чем я прошу вас. А вы чего хотите от меня? Люблю вас глубоко. Р. Р.».

Сомнения были рассеяны. Недели, проведенные с невестой на берегу моря, в курортном городке Порнике, Роллан вспоминал потом как один из счастливейших периодов своей жизни. Свадьба была назначена на 31 октября. И тут возникли осложнения. Родители Роллана относились к будущей невестке настороженно. Клотильда была еврейкой и неверующей, да и сам жених считал церковные обряды лицемерием; о католическом венчании не могло быть и речи, молодые ограничились гражданским бракосочетанием в мэрии. Мать Роллана была так этим огорчена, что собиралась даже вовсе не явиться на свадьбу, и сыну стоило немалых трудов уговорить ее.

С будущим тестем Мишелем Бреалем Роллан сразу нашел общий язык. Он писал Сюаресу: «Это превосходный добрейший человек; он не только умен, но и духовно молод; редко можно увидеть старого университетского деятеля, который так увлекался бы современной литературой, восхищался бы Мопассаном, «Жермини Ласерте» Гонкуров и т. д.»*.

Академик Бреаль чувствовал в Роллане незаурядную одаренность, верил в его писательское будущее, благожелательно относился к его драматургическим дебютам. Однако он все же — в мягкой форме, но решительно — потребовал, чтобы Роллан защитил докторскую диссертацию: пусть даже и не ради дальнейшей научной карьеры, а просто для того, чтобы не закрывать для себя возможность преподавать в высшей школе.

Возвращаться к занятиям историей Роллану не хотелось. У него возникла мысль написать диссертацию по истории музыки, используя неисследованные богатства музыкальных архивов Рима. Клотильда была готова помогать мужу, переписывать ноты. А г-н Бреаль изъявил желание лично просмотреть вторую, дополнительную

диссертацию, которую Роллан, по тогдашним научным обычаям, должен был представить на латинском языке.

Благодаря ходатайству тестя Роллан получил новую научную командировку в Рим и провел там около года с молодой женой, работая с ней рука об руку — радостно и увлеченно.

Роллан назвал свой труд «Происхождение современного музыкального театра. История европейской оперы до Люлли и Скарлатти». Он заново открыл — не только для науки, но и для слушателей — замечательные произведения старинных итальянских композиторов, погребенные в архивах и начисто забытые. Он воскресил, например, музыку Монтеверди, одного из крупнейших композиторов XVII века, чье имя было известно лишь узкому кругу специалистов: благодаря Роллану мелодии Монтеверди зазвучали в концертных залах. Исследование молодого музыковеда заинтересовало не только ученых, но и композиторов, театральных деятелей: Роллан показал истоки европейской оперы, тесную связь музыки прошлых веков с поэзией и другими искусствами.

Вторую, латинскую диссертацию Роллан озаглавил: «Об упадке итальянской живописи в XVI веке». Почему итальянские художники утратили мировое первенство, уступили его в XVI веке голландским, фламандским, испанским мастерам? В искусстве, утверждал Роллан, «ценен лишь такой труд, который приучает художников самостоятельно видеть, чувствовать, хотеть, судить и выполнять». Итальянские художники, появившиеся после Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, постепенно потеряли эту самостоятельность взгляда на жизнь. Великие мастера XV века активно участвовали в бурной жизни Ренессанса, в жарких спорах и исканиях, характерных для их титанической эпохи. Живописцы более позднего времени стали, по словам Роллана, «салонными людьми», им сильно вредило «самодовольство духа».

Самодовольство, самоуверенность, замкнутость в узком салонном кругу губительны для искусства: в этих выводах Роллана отозвались, конечно, не только занятия старой итальянской живописью, но и наблюдения над художественной жизнью современного буржуазного мира. Тем более острый актуальный смысл заключался в словах, которыми Роллан закончил первый вариант

«Введения» к своей работе: «Народы творят свою историю; они не являются ее игрушкой».

Материал для обеих диссертаций был собран Ролланом к лету 1893 года. Но все собранное еще нужно упорядочить, обдумать, обработать, обе диссертации еще надо было написать и подготовить к защите — все это требовало времени и сил. Переговоры с «Комеди Франсез» о постановке «Орсино», а затем и следующих пьес, которые Роллан заканчивал и предлагал театру одну за другой, затягивались до бесконечности, не приводили ни к каким результатам. В 1895 году драма «Ниобея» была прочитана перед труппой — и отвергнута. Чтобы заработать на жизнь, Роллан должен был преподавать.

Ему предложили вести занятия по морали (был такой учебный предмет!) в старших классах школы Ж.-Б. Эти занятия по официальной программе были для Роллана мучением: приходилось вдавливать в головы учеников избитые общие истины, в которые никто не верил — ни юная аудитория, ни сам преподаватель. В мае 1895 года Роллан писал Сюаресу: «Трудности куют жизнь. Вижу это на собственном опыте. Казалось бы, зачем мне нужны эти жалкие уроки у Ж.-Б. Сэ, часы скуки и отвращения, за которые я не ждал никакой награды — разве только болезнь горла! Но вот, по мере того, как я излагал Мораль для моих сорванцов, все ее принципы стали рушиться передо мною, один за другим; все старые идеи растаяли, ни одна не уцелела; моя одинокая совесть, вставшая на дыбы, запретила мне преподавать по предписанной программе. Взаимоотношения отца и детей, мужчины и женщины, гражданина и родины, богатых и бедных — за какой вопрос ни возьмись, я вижу ростки нового мира среди развалин старого. С тех пор социальные вопросы мучительно встают передо мною. Я стал острее чувствовать гнет несправедливости. Моя жизнь не пройдет без того, чтобы я не ввязался в действие».

Ввязаться в действие — вмешаться в общественную жизнь — Роллану было суждено лишь много лет спустя. Но бунтарские настроения росли и крепли в нем еще в те годы, когда он, молодой ученый с хорошими перспективами, породнившийся благодаря жене с «интеллектуальной элитой» Парижа, жил в спокойных, благоприятных для работы условиях.

Роллан отказался от преподавания морали. Гораздо

больше привлекала его история искусства: тут не требовалось кривить душой, можно было говорить то, что думаешь, выдвигать на первый план то, что любишь. Факультативные занятия по истории искусства, которые Роллан вел в лицеях Людовика Великого и Генриха IV, хотя тоже были утомительны и отвлекали от собственной творческой работы, заключали в себе и приятные стороны. Ему нравилось ходить с учениками по залам Лувра, подолгу останавливаясь у любимых картин, раскрывая перед внимательно слушающими подростками вечную красоту Джоконды или Рафаэлевой Жанны Арагонской. Еще больше нравилось говорить о музыке, сидя за роялем, исподволь вводя юных слушателей в мир звуков.

Мало-помалу Роллан приходил к выводу, что писателю, художнику необходимо иметь профессию, которая делала бы его независимым от «хлебодателей» — запрашивал театров, издательств, прессы. Он будет писать, он сумеет побороть трудности, которые его ждут. Но педагогическую работу он решил вести и после того, как получит ученую степень. На худой конец даже и не в Париже, а где-нибудь в провинции: он не так уж дорожил жизнью в столице. А Клотильда — хоть ей и трудно было бы покинуть привычный круг парижских друзей, концерты, театры, светские удовольствия, — конечно, была готова следовать за мужем. Она уже взялась за изучение железнодорожных расписаний, выбирая приемлемый университетский город, — все-таки по возможности не слишком далеко от Парижа.

Защита обеих диссертаций Ромена Роллана состоялась в Сорбонне 19 июня 1895 года. Перед защитой диссертант устроил камерный концерт, познакомил знатоков с музыкальными сокровищами, которым он вернул жизнь. Шестичасовую процедуру защиты Роллан воспринял по преимуществу в комическом свете, — так он ее и описал много лет спустя в своих «Воспоминаниях»: «Состав жюри был смешанным; туда входили историки, философы и литераторы... Среди них не оказалось и двух человек, придерживающихся одинаковых взглядов; все они были идеологическими противниками, каждый считал, что только он один понимает меня до конца. Я воспользовался этим, — разумеется, не показывая им, что меня не понимал ни один из шести».

Защита шла в переполненном зале (диссертация по истории музыки в Сорбонне — это было ново!) и закон-

чилась весьма успешно. Ехать в провинцию не пришлось: Роллану предложили читать курс истории искусств в Высшей Нормальной Школе. Так он — в новой роли — вернулся на улицу Ульм. Ему было без малого тридцать лет, ненамного больше, чем его слушателям.

В годы работы в Нормальной Школе (как и в последующие годы, читая лекции в Сорбонне) Роллан познал ту главную радость, которую дает преподавание: духовный контакт со своими учениками.

К лекциям он готовился необычайно тщательно, об этом говорит множество документов, сохранившихся в роллановском Архиве: блокноты с выписками и конспектами, миниатюрные нотные тетради, исписанные бисерным почерком. Каждая лекция представляла результат самостоятельного исследовательского труда, привлекала аудиторию не только новизной материала, но и энергией мысли. Когда Роллан говорил о композиторах или живописцах прошлого, слушатели чувствовали в нем художника слова: образы великих мастеров вставали как живые. История искусства в его изложении раскрывалась как целое, в переплетении сложных взаимосвязей между архитектурой и живописью, музыкой и литературой.

Но еще важнее для слушателей было то, что они ощущали в молодом профессоре морально выдающуюся личность. Роллан не просто давал им знания: он заставлял задуматься над насущными вопросами жизни, помогал нравственному, человеческому формированию если не всех, то многих своих студентов. Он не стремился к популярности, не искал успеха, — именно это и внушало к нему уважение. Уже в первые годы преподавания в Нормальной Школе вокруг него сплотилась небольшая группа преданных учеников. Один из них, быть может самый способный — будущий литературовед Луи Жилле, писал Роллану в 1898 году: «Доверяйте нам. Мы видим в вас, можно сказать, нашего предводителя». Мы не знаем, как реагировал Роллан на это письмо, — быть может, он смутился слегка по поводу слова «chef». Но, наверное, и обрадовался тоже. Его мысль, его слово находили отклик в душах слушателей: это не отвлекало его от писательских планов, а, напротив, ободряло. Роллан мог надеяться, что любознательные молодые люди, ищущие смысл жизни, жаждущие моральной чистоты, — люди, подобные его студентам-друзьям, — станут первыми читателями его книг, зрителями его драм.

Ни одна из пьес, задуманных в Риме, не пробилась ни в печать, ни на сцену, и Роллан мало-помалу охладевал к ним. Впоследствии, когда он достиг такой степени известности, что мог при желании напечатать любой свой юношеский опыт, он все же не стал публиковать ни «Орсино», ни «Бальони», ни «Калигулу» или «Осаду Мантуи». Он сам считал свои ранние пьесы наивными и художественно недостаточно зрелыми. В первые годы работы в Париже он внимательно присматривался к литературной и театральной жизни столицы, и ему становилось яснее, что призван совершить в драматургии он сам.

Конечно же, не писать, как другие! Пьесы модных драматургов с лихо закрученными сюжетами и эффектно-благополучными концовками внушали Роллану отвращение. Он был убежден, что человечество вступило в бурную эпоху — предстоят большие исторические потрясения, войны, революции. Драматургия должна выразить этот характер эпохи: не развлекать, не утешать зрителей, не настраивать на пошло-самодовольный лад, а тревожить, будоражить их мысль.

В начале девяностых годов достиг широкой мировой славы талантливый драматург, который привлекал зрителей не только оригинальностью формы, но и тем, что его странные, необычные пьесы по-своему отзывались на болезни века. Это был бельгиец Морис Метерлинк. Вот уж кто не хотел ни развлекать, ни утешать! В его пьесах «Слепые», «Непрощеная», «Смерть Тентажиля» человек рисовался игрушкой слепых и злых сил: в этом смысле его ранние драмы были сродни французской лирике «конца века», творчеству «проклятых поэтов» — Верлена, Малларме. Роллану хотелось идти в литературе иным путем. Если мы живем в трагическую эпоху, то поэт, драматург тем более обязан внушать людям сознание их силы, волю к действию, а не покорность слепой судьбе!

Из современных театральных авторов Роллана больше всех привлекал Ибсен. Дух нравственной непреклонности, присущий его творчеству, острота философской проблематики, пристрастие к крупным, цельным характерам, а главное, непримиримость к лицемерию и лжи — все это было близко Роллану. 5 июля 1894 года он написал норвежскому драматургу большое письмо, надеясь получить от него моральную и творческую поддержку.

«...Я ощущал беспокойство, читая ваши суровые произведения, которые переворачивали мне душу. «Значит, я не прав», думал я, «что в собственном творчестве не касаюсь социальных и моральных проблем нашего времени?» Ибо я хотел представить героическую породу людей, породу вполне земную, но необычно здоровую и могучую, во зле, как и в добре; героев сильной воли, свободных людей в схватках с судьбой, которой они не поддаются; улыбающиеся души, способные хранить спокойствие в наихудших бедствиях. И мне казалось, что можно принести самое большое добро людям нашей смутной эпохи, если вдохнуть в них энергию и пример героизма, ободрить их сердца, сраженные отчаянием, зрелищем счастья.

И вот я, как мне кажется, нашел в вашем великом «Сольнесе» подтверждение моего идеала. Посмотрите, верно ли я вас понял».

Далее Роллан подробно анализирует драму Ибсена «Строитель Сольнес», смысл которой он увидел не столько в развенчании эгоистического индивидуализма, сколько в утверждении гордой и волевой личности. Роллана особенно привлекали слова Сольнеса: «Я хочу теперь строить единственное, в чем может, по-моему, заключаться человеческое счастье». Пусть Сольнес погибает в финале — он все-таки построил высокую башню и поднялся на вершину построенного им здания. В этом Роллан увидел символ торжества человеческого духа.

Роллан писал далее: «Я одинок; мне не о чем говорить со здешними литераторами... Мне невыносим снобизм искусства и мысли и особенно противен сегодняшний литературный неомистицизм. Я себя чувствую таким чужим своему окружению, что пишу для самого себя; я написал пять или шесть драм; когда одна окончена, я принимаю за другую. Но иногда, хочешь не хочешь, такое одиночество становится тягостно. Извините, что я инстинктивным движением протянул руку навстречу вам... В нынешней растерянности человеческого сознания, в этом головокружении мысли, которая колеблется между легковесным скепсисом и пошлым мистицизмом, отрадно видеть Человека, могучую личность, которая, подобно силе природы, несет в себе свой собственный закон и необходимость своего бытия. Большое облегчение, когда можно среди мрачного и грохочущего молчания вселен-

ной — обратиться к тому, кто способен ощутить биение живого человеческого духа под оболочкой слов...»

Ибсен ответил 23 июля — доброжелательно, но кратко, ссылаясь на занятость. Ему хотелось бы высказаться по существу мыслей Роллана, но нет для этого времени. «Скажу вам только, что ваше письмо внушило мне живейшую симпатию к вам и что мои самые искренние пожелания — с вами»*.

Это вовсе не было похоже на тот большой содержательный ответ, который Роллан за семь лет до того получил от Толстого. Но все же Ибсен, пусть в самой общей форме, высказал расположение к начинающему драматургу, — Роллан оценил и это.

Однако в своих собственных поисках он не мог следовать путями Ибсена, как и путями Толстого. Героическая драма, укрепляющая силы духа, — вот о чем он мечтал. Это должно было быть нечто не похожее на «Строителя Сольнеса» — конечно, и на «Власть тьмы».

Примеру Толстого-драматурга Роллан не хотел следовать уже потому, что стремился освободить театр от бытового правдоподобия, приподнять его над повседневностью. Ибсеном он искренне восхищался, однако писал о нем впоследствии в «Воспоминаниях»: «... При всем уважении, внушенном мне трагической глубиной и нравственным величием ибсеновского творчества, северный ветер, чистый и леденящий ветер правды, не мог согреть меня».

Когда Роллан задумывал «Орсино», его привлекали своевольные, властные натуры. Он хотел тогда — как и сообщал теперь Ибсену — прославить людей, могучих «во зле, как и в добре». Это было не так далеко от формулы Ницше «по ту сторону добра и зла». О Ницше у молодого Роллана было представление самое расплывчатое. Он знал о нем только по рассказам Мальвиды, а она судила о Ницше на основе личных воспоминаний и видела в нем оригинального писателя, тонкого знатока искусства, а отнюдь не певца «сверхчеловека». Какие опасности заложены в ницшеанской философии, как связана она с политической реакцией — все это Роллан разглядел лишь значительно позднее. Однако он уже в пору первых литературных опытов постепенно приходил к мысли: подлинный героизм предполагает человеколюбие, нравственное благородство, может проявиться в самопожертвовании скорей, чем в самовластии. Даже и в свое-

вольном ибсеновском Сольнесе Роллан отметил и оценил готовность работать, строить не для утверждения собственной личности, а для «человеческого счастья».

В 1896 году появилась в журнале «Ревю де Пари» драма «Святой Людовик» — первое художественное произведение, которое Роллану удалось опубликовать. Герой драмы — реальное историческое лицо, французский король, предводитель крестоносцев, причисленный католической церковью к лику святых. Изображение крестового похода давало повод прославить подвиг, беззаветную преданность идее. В данном случае Роллану было не столь важно, что это идея религиозная. Ему представлялось гораздо более существенным, что во имя веры его герои жертвуют своим благополучием, отправляются в неведомую страну, терпят лишения в тяжелом походе, идут на смерть.

Подлинной исторической правды здесь, конечно, не очень много. Средневековье тут — условное, стилизованное. И строй речи героев и склад их характеров — все это ближе к Франции конца XIX века, чем к той далекой эпохе, когда происходит действие. Роллан и не ставил себе задачей дать конкретную реалистическую картину прошлого. Его задача была иной: поэтизировать самоотверженное деяние, показать нравственное величие Людовика IX, который проявляет стойкость в тяжких условиях, увлекая своим примером тех, кто идет за ним.

Европейская драма конца прошлого столетия — и символическая и реалистически-бытовая — была почти всегда камерной, ее действие развертывалось в интерьере, в четырех стенах. Роллан уже в этой ранней пьесе тяготеет к народному театру, выводит на сцену массу не просто как фон, а как действующую силу.

Король Людовик, мягкий сердцем, некрепкий телом, притягивает к себе простых людей именно своей добротой. «Весь народ влечется к его душе, как роса к солнцу», — говорит один из рыцарей, спутников короля и тайных его врагов. Людовик опутан сложной сетью интриг. Но народ идет за ним, и подвиг его не пропадает даром. Король умирает в походе, измученный болезнью и лишениями, надломленный душевными муками, — но остаются крестоносцы, которые устремляются на Иерусалим с возгласом «Вперед!».

Герой и народ — эта проблема намечена Ролланом и

в следующей драме, «Аэрт», которую ему удалось не только напечатать, но и увидеть на сцене. Постановка «Аэрта» в Парижском театре «Эвр» в мае 1898 года явилась для Роллана первой пусть маленькой, пусть робкой, но все же реальной сценической удачей.

Неопытность автора дает себя знать здесь, как и в «Святом Людовике»: она сказывается и в чрезмерно приподнятом тоне, и в затянутости диалогов, в искусственности некоторых ситуаций. Но на фоне французской драматургии девяностых годов эта пьеса, в центре которой стоит благородная личность юноши-подвижника, представляла нечто свежее и неожиданное.

Действие происходит в Голландии XVII века. Роллан бывал в Голландии во время своих летних заграничных путешествий, эта страна была ему дорога, как родина Спинозы и Рембрандта. Однако в «Аэрте» Голландия так же условна, как французское средневековье в «Святом Людовике». Нравственный конфликт и в этом случае важнее для автора, чем историческое правдоподобие.

Аэрт, сын свергнутого правителя Голландии, живет воспитанником-пленником при дворе узурпатора, который погубил его отца. Юный принц хочет возглавить патриотическую борьбу своего народа против испанского владычества. Он наивен и доверчив, он становится жертвой предательства, — его заговор раскрыт. Он решает лишиться себя жизни, чтобы не дать своим врагам в руки живым. Самоубийство истолковано здесь как акт протеста; в момент, когда Аэрт выбрасывается из окна, за окном стоит толпа повстанцев, которая зовет и ждет его. Порыв Аэрта, так же как и героизм Людовика, находит опору в народе.

Когда драма «Святой Людовик» была принята к печати, Роллан решил снова, после десятилетнего перерыва, написать Толстому. Он вовсе не был уверен, что получит ответ (и на этот раз не получил ответа); ему просто хотелось поделиться мыслями с любимым русским писателем. Не дождавшись выхода пьесы, он послал в Ясную Поляну корректурные листы и в подробном письме постарался объяснить свой замысел. Он и сам понимает, что вера крестоносцев — вера «немного слепая». Не в ней дело. Ему хочется дать современным французам противодействие против модных, вредных идей цинизма и безверия, показать высокий смысл человеческой жизни. «Я больше всего мечтаю о том, чтобы сделать людям немного добра

и вырвать их из бездны, в которой они гибнут... Объединимся, объединимся! Зло так сильно! И худшее из зол — это мысль, что все есть ничто, что всякое усилие бесполезно, — эта убийственная мысль о ничтожестве всего сущего, которая подточила столько жизней, столько жизней вокруг меня!»

4

Сам Ромен Роллан — какие бы тяжелые настроения ни одолевали его временами — ни в коем случае не хотел поддаваться мысли о ничтожестве всего сущего. (Любопытно признание, сделанное им в 1936 году в предисловии к сборнику «Спутники»: «Кто борется с реакцией, должен бороться с пессимизмом. Я боролся с ним также и внутри себя, и это было отнюдь не самое легкое!»)

Роллан вдумывался в смысл эпохи. Чутким ухом музыканта он прислушивался к звукам уходящего столетия. Разнообразнейшие грохоты, рокоты, стуки, гудки капиталистической индустрии, пальба колониальных войн, визг парламентских скандалов, надрывные стоны декадентской поэзии — все это сливалось в нестройную и тревожную симфонию. И в этой будоражащей душу разноголосице все отчетливее слышался нарастающий, доминирующий звук — поступь рабочих отрядов, готовых идти на штурм старого мира.

Человечество вступило в эпоху исторической ломки. Все господствующие догмы и ценности поставлены под сомнение самою логикой жизни: это стало для Роллана особенно очевидным во время постылых уроков прописной морали в школе Ж.-Б. Сэ. Старое общество распатано в своих основах. Новое общество придет ему на смену, и оно будет социалистическим.

Отвечая в 1936 году одному из своих зарубежных корреспондентов, Гарольду Боубу, Роллан сослался на фрагменты дневника, которые собирался тогда публиковать:

«Вы увидите там, каким открытием явился для меня социализм в 1893 и 1894 годах и как возникло у меня стремление к социальной Революции.

Марксизм тут был совершенно ни при чем; я ознакомился с трудами Маркса лишь очень поздно, да и то неполно. Меня учил опыт истории, минувшей и нынешней, в частности — опыт Французской Революции, которым я проникся с юных лет, — мои первые драмы Рево-

люции были написаны и поставлены до 1900 г., — а также память Парижской Коммуны, о которой я слышал еще в детстве. Я был внимательным и страстно заинтересованным свидетелем политических и социальных кризисов, которые будоражили Третью Республику во Франции, до и после 1900 года, — свидетелем буланжизма, Дела Дрейфуса, жарких споров внутри молодой французской социалистической партии; я ходил слушать Жореса в Палату и на съезды. Мое творчество всегда уходило корнями в социальную действительность»⁴.

Тот социализм, который Роллан, по собственным его словам, «открывал» для себя в середине девяностых годов, — это был социализм не научный, не марксистский, а скорей романтический, с очень своеобразной эмоциональной окраской. О философии диалектического материализма Роллан в то время имел весьма слабое представление; он думал, что марксизму недостает высоких духовных порывов и что, быть может, именно ему, Роллану, суждено внести в социальную революцию «божественное начало». Но вместе с тем он чувствовал, что в идее социалистического преобразования мира заключена большая нравственная сила: ведь сама эта идея несет в себе дух человеческого братства, выводит личность за узкие пределы эгоистического бытия. И он записывал в дневник в сентябре 1895 года: «Если еще есть надежда избежать гибели, которая угрожает нынешней Европе, ее обществу и ее искусству, то надежда эта в социализме. Только в нем я вижу источник новой жизни, все остальное — лишь догорающий древний огонь...» «Через сто лет Европа будет социалистической, или ее не будет больше».

Исходя из этого крепнувшего убеждения, Роллан стремился определить и собственные жизненные цели. Он писал в дневнике, что хочет отдать все силы возрождению искусства, источник которого он «вместе с Гедом» видит в новом идеале.

Ведущие деятели французского рабочего движения — Жюль Гед, Поль Лафарг, Эдмонд Вайян — в 1891 году опубликовали манифест социалистического искусства. В этом документе говорилось — пусть в самых общих выражениях — о том возрождении искусства, которое принесет с собой социализм. Авторы манифеста утверждали, что эстетическое чувство способно дать людям «наиболее возвышенное из наслаждений»; социалистическое движение призвано воспитать это чувство в массах. Вместе с осво-

бодительными идеями в гущу народа проникнет и любовь к подлинному искусству, понимание его.

Читал ли Роллан этот манифест, неизвестно. Но ссылка на Гед в его дневнике важна и показательна. Роллан, во всяком случае, что-то слышал или читал о взглядах французского марксистского лидера на будущее искусство: это давало толчок его собственным размышлениям, отозвалось несколько лет спустя в его книге о народном театре.

Роллан приводит в своих воспоминаниях строки из дневника за 1895 год: «...Я собираюсь написать художественные произведения, которые решительно вступят в великую битву против предрассудков, против гнетущей тирании старого мира, против нравственных и социальных суеверий старой родины, старой семьи. За героями дело не станет. Где же искать их, как не среди великих Европейских Революционеров, повсюду преследуемых, гонимых, разбитых, но непокоренных!»

Этот заряд мятежных чувств впоследствии нашел себе выход и на многих страницах «Жан-Кристофа» и в драмах о Французской революции. Но единственным прямым откликом Роллана на современные классовые бои явилась драма «Побежденные», написанная в 1897 году, оставшаяся неоконченной — и опубликованная впервые уже после первой мировой войны.

Летом 1894 года Франция была потрясена внезапной смертью президента Сади Карно. Его убил ударом кинжала молодой рабочий-итальянец, анархист Казерио. На следствии он объяснил свой поступок тем, что хотел отомстить президенту за другого анархиста, Огюста Вайяна, который бросил бомбу в Палату депутатов и был гильотинирован.

Действия анархистов — как и правительственные репрессии, которые обрушились на них, — вызвали немало тревожений в разных слоях французского общества. Вечером того же дня, когда Огюст Вайян бросил бомбу, Эмиль Золя произнес речь на писательском банкете. «Мы вступаем, — сказал он, — в эру великих социальных потрясений, — эпопея насилия начинается на наших глазах». Автор «Ругон-Маккаров» не сочувствовал анархистам. Но он увидел в их деятельности выражение стихийного гнева, который назревает в массах.

Как известно, Золя — который, первым среди писателей мира, показал в своем «Жерминале» борьбу капитала и труда — в последних своих романах из цикла «Еванге-

лия» пришел к утопии, к наивной надежде на мирное сотрудничество труда, капитала и таланта.

Молодой Роллан не хотел поддаваться утопическим надеждам. Он понимал, что путь к новому общественному строю лежит через тяжелые потрясения, кровопролития, жертвы. И тем не менее смерть Карно и казнь Казерио глубоко ранили душу Роллана: он, в сущности, впервые столкнулся так непосредственно с жестокой реальностью классовой борьбы.

Умонастроение, под влиянием которого Роллан работал над драмой «Побежденные», очень искренне выражено в его письме к Мальвиге фон Мейзенбург от 17 декабря 1897 года:

«Старое общество рухнет: это — великое счастье... В ходе грядущей ломки неизбежным образом погибнет немало безвинных, немало порядочных людей; я думаю, что и мы будем в числе принесенных в жертву. Мыслители, которые чтят разум, справедливость и терпимость, художники, влюбленные в покой и красоту, не найдут себе места в яростной борьбе во имя разрушения и созидания. Но это не дает нам основания отрицать величие этой борьбы (пусть даже хаотическое величие) и ее благодетельный смысл. Что до меня, то, когда я чувствую ярость социалистической — или религиозной — веры, которая поднимается в наши дни со всех сторон, то я заранее мирюсь с тем, что эта ярость может поглотить и меня, и моих близких; и я готов, уверяю вас, добровольно пожертвовать всем, что мне дороже всего, моим искусством, «моим» Лувром (который погибнет, быть может), даже памятью моих великих друзей, художников минувших эпох, — ради надежды на Возрождение, ради новых принципов жизни, ради идеала божественного Будущего».

Перспектива социалистического переворота внушала Роллану и великую радость и мучительную тревогу. Французское рабочее движение привлекало его своей крепнувшей силой, благородством своих целей. Однако он подмечал в этом движении и слабые стороны: черты анархической стихийности, раздробленность на враждующие группы; он видел и то, что рабочая масса отнюдь не свободна от мещанских и националистических предрассудков. (Роллана, друга Италии, болезненно поразило, что в иных французских городах толпа ответила на убийство Карно погромами, направленными прогив итальянцев-эмигрантов.)

В драме «Побежденные» Казерио принял облик молодого рабочего Анджолино, который чувствует себя изгоем на фабрике, не участвует в забастовке, подвергается травле со стороны своих французских товарищей по работе, — а потом убивает ненавистного фабриканта Мейера в припадке слепого отчаяния. Впрочем, Анджолино здесь — не главный персонаж. Центральные фигуры пьесы — преподаватель истории Бертье и рабочий лидер Жарнак, союзники и вместе с тем антагонисты. Бертье заступает за несправедливо уволенных рабочих — и лишается места. Но он отказывается от работы в революционной газете, которую предлагает ему Жарнак. Лицом к лицу с капиталистами Бертье — бунтарь. А лицом к лицу с рабочими он чувствует себя прежде всего рыцарем «свободы духа». Ему кажется, что участие в борьбе рабочих нанесет урон его интеллектуальной независимости.

Прав ли Бертье? Прав ли Жарнак? Личное сочувствие драматурга на стороне одинокого и честного интеллигента. Заостряя антитезу «мысли» и «действия», Роллан заставляет Жарнака произносить пренебрежительно-грубоватые слова о «морде Джоконды» и прочих памятниках старины. Да, Жарнаку, человеку действия, явно не хватает ширины кругозора и душевной тонкости. Но в финале пьесы, когда стачка перерастает в восстание, Жарнак и его сподвижники готовы идти на смерть просто и мужественно. А на долю Бертье и его возлюбленной Франсуазы остается один конец: самоубийство. Они — побежденные. Не потому, что умерли, а потому, что отказались от борьбы.

Роллан вспоминал впоследствии: «...Мое сочувствие герою, как и я, раздираемому тяготением к разным партиям, не помешало мне осудить его, а вместе с ним и себя».

Неоконченная рукопись «Побежденных» была отложена в сторону: Роллан не считал себя морально вправе передавать возможным читателям или зрителям этой пьесы собственное душевное смятение. Возникший было замысел драмы о Парижской коммуне так и не осуществился — и это понятно. ведь и тут автор неизбежно столкнулся бы с теми же проклятыми вопросами, с какими столкнулся в «Побежденных».

А вместе с тем Роллану по-прежнему хотелось передать в драме мятежную энергию народа. Сделать это на современном материале оказалось трудно и даже невозможно. Не лучше ли обратиться к национальному революционному прошлому?

Героиня Французской революции XVIII века увлекала Роллана отчасти и потому, что он чувствовал себя лично, кровно связанным с деятелями «девяносто третьего»: его прадед с отцовской стороны, Жан-Батист Боньяр, был участником взятия Бастилии, в 1793 году получил звание «Апостола Свободы» и выступал с республиканскими речами в родных бургундских местах. Дневник Боньяра, сохранившийся среди семейных бумаг, много дал Роллану как историк и как художнику.

Общаясь со студенческой молодежью, Роллан не раз убеждался, что традиции Французской революции вызывают в ней живой интерес, связываются в ее сознании с современной политической борьбой.

Столкновение социальных, политических сил проявлялось во Франции конца XIX века и как столкновение идеологий. Писатели консервативно-националистического лагеря Поль Бурже, Морис Баррес пытались завоевать влияние на младшее поколение интеллигенции.

После одного из программных печатных выступлений Бурже Ромен Роллан написал ему большое письмо. Роллана возмутило, что Бурже судит о молодом поколении с налету и свысока, видит в нем по преимуществу «дилетантов и неврастеников», последователей позитивизма Тэна.

На деле все обстоит совсем иначе.

«Как можете вы игнорировать пламенную социалистическую веру, охватившую немалую часть молодежи (и вовсе не наименее серьезную: учащих в главе с учителем), — и, с другой стороны, возрождающуюся религиозную веру: это два враждующих мировоззрения, но их приверженцы имеют больше общего друг с другом, чем с теми робкими дилетантами и неврастениками, о которых вы говорите. Вы объявляете нашим учителем Тэна. От такой чести мы вынуждены отказаться. Не я один считаю его всего-навсего большим тружеником, близоруким и упрямым, еле-еле способным извлекать душевные искры из пыли бесконечно малых величин и всю жизнь старавшимся описывать сверхчеловеческие страсти — итальянские, английские или французские, — о которых он знал лишь понаслышке. Мы настаиваем на том, что папи великие предки эпохи Революции ближе нам, чем люди Второй империи. В речах деятелей Конвента, при всей их риторичности, есть такое понимание будущего и нас самих, какое и не снилось автору «Происхождения современной

Франции». А если в этом вопросе вы опираетесь на мнение г. Барреса, — то учтите, что г. Баррес (хоть он и талантлив) не может представлять молодежь, которая от него отвернулась и от которой он отвернулся.

Мы отстаиваем наследие Революции 89-го года, которую вам угодно презирать, якобы от нашего имени. Конечно, она осталась незавершенной, — внешние обстоятельства вывели ее из первоначального русла, сами участники ее предали; но она явилась естественным и здоровым цветением нашей истории, исходной точкой последующего развития. Она обновила душу мира; она и по сей день остается единственным нашим жизнетворящим началом, гораздо более активным, чем католицизм, который, чтобы выжить, был и еще будет вынужден на нее опираться. Беды нашего века, тревоги, от которых он страдает, проистекают оттого, что порыв Революции все время разбивался реакциями разного рода; все вопросы остаются нерешенными, и надо, чтобы эта пружина, вопреки всему, снова начала действовать и чтобы великое дело было доведено до конца. Оно осуществится, мы приветствуем его пробуждение, предвестником которого мы считаем и нынешнюю ярость контрреволюции, способной лишь стимулировать новый подъем нашей веры. Упаси нас Бог отречься от Революции! Это значило бы — отречься от собственных двадцати лет под тем предлогом, что мир не соответствует нашим надеждам. Нет — правы наши двадцать лет, вступающие в единоборство с миром. А если мир не соответствует нашей воле, то в нашей воле — его переделать»*.

«Наши двадцать лет» — как это понимать? Когда Роллан писал это письмо, ему уже перевалило за тридцать. Но он чувствовал себя тесно связанным со своими студентами-друзьями, считал себя вправе говорить от их имени.

Французская революция XVIII века — в этом Роллан был глубоко убежден — представляла для народов Европы не просто величественный эпизод прошлого. Она выдвинула перед всем человечеством задачи, которые остались неосуществленными, — пришла пора их осуществить. Идеологи реакции атаковали духовное наследие революции (Поль Бурже на место лозунга «Свобода, равенство, братство» выдвигал другую триаду: «Дисциплина, иерархия, милосердие»). Роллану хотелось, чтобы это наследие помогло современникам преобразовать жизнь на подлинно человеческих началах.

Родные Роллана со стороны жены постепенно начинали тревожиться. не слишком ли много сил тратит он и на сценические опыты и на изучение Французской революции? Ведь как драматург он то и дело терпит неудачи, а занятия историей Французской революции не могут способствовать успешной ученой карьере. Мишель Бреаль деликатно предостерегал зятя: заниматься этим историческим периодом небезопасно для душевного здоровья. Ведь не зря в Национальной библиотеке так часто смещают служащих в отделении документов революции, — те, кто работает там слишком долго, сбиваются с пути...

Разногласия с семьей жены возникли у Роллана и по другому поводу. В 1897—1898 годах вся Франция была охвачена возбуждением в связи с делом Дрейфуса. На защиту капитана генерального штаба, еврея, безвинно осужденного за шпионаж, встал весь цвет интеллигенции во главе с Эмилем Золя: Анатоль Франс, Шарль-Луи Филипп, Жюль Ренар, Морис Метерлинк, Эмиль Верхарн, Клод Моне, Поль Синьяк — и многие, многие другие писатели, художники, ученые, журналисты. К дрейфусарам примкнула вся семья Бреалей, их многочисленные друзья и родичи. А Роллан к ним не примкнул.

Это на первый взгляд кажется необъяснимым. Молодой литератор, проникнутый духом бунта против прогнившего старого мира, человек с врожденным чувством справедливости, который ненавидел всяческую ложь и которого, по собственным его словам, «антисемитизм приводил в ярость», — в накаленные дни дрейфусиады оказался вне борющихся партий, не ходил на митинги, не писал статей, не подписывал коллективных петиций и воззваний. Именно в момент, когда Роллан имел повод проявить накопившуюся в нем волю к действию, возобладало то его «я», которое повелевало воздерживаться от участия в общественных расприх. Почему?

Важно иметь в виду, что расстановка общественных и идейных сил во Франции в связи с делом Дрейфуса была не столь ясной и простой, как это рисуется сегодня. Многие честные интеллигентные французы (и в их числе ближайшие родственники самого Роллана) долгое время просто не могли поверить, что военный суд вынес несправедливый приговор: влиятельные лица из кругов высшего офицерства апеллировали к патриотическим чувствам народа, ссылались на «секретное досье», которое якобы учитает Дрейфуса, но которое — во избежание немедленной

войны с Германией — нельзя опубликовать. Сам Дрейфус даже и в пору своего заточения на Чертовом острове оставался не менее ярким ура-патриотом, чем его обвинители; а в числе его защитников, наряду с социалистом Жоресом, наряду с видными деятелями культуры, имелись и миллионеры-евреи и буржуазные политики, отнюдь не обладавшие моральным авторитетом. С другой стороны, некоторые видные деятели рабочего движения, включая Геда, считали, что пролетариату нечего вмешиваться во внутренние раздоры буржуазии. Сегодня ясно, насколько сектантской была такая точка зрения. Борьба дрейфусаров, начавшаяся по частному поводу, носила глубоко принципиальный характер: речь шла не просто о судьбе одного незаконно осужденного человека, но и о самом существовании республики, над которой снова — как в дни буланжизма — нависла угроза военной диктатуры.

Роллан в этой сложной обстановке не желал следовать чьему бы то ни было призыву или примеру, он хотел сам разобраться во всем. А разобраться было не так легко.

Роллан склонен был рассуждать таким образом. В мире творится много несправедливостей и злодейств. Пусть Дрейфус невиновен, пусть его гонители, прикрывающиеся патриотизмом и государственной тайной, на самом деле преступники. Но дрейфусары ведут себя так, словно для них весь свет клином сошелся на одном судебном деле. А в Турции происходит массовое истребление армян — и это никого не волнует! Те, кто подписывает воззвания в защиту Дрейфуса, вовсе и не помышляют о свержении существующего строя. Конечно, гражданский подвиг Золя заслуживает всяческого уважения. Конечно, полковник Пикар — первый среди военных, кто поднял голос в защиту безвинно приговоренного, — благороднейшая личность. Но сколько рядом с ними беспринципных дельцов, светских болтунов, политических карьеристов!

Мелкие дразги буржуазных политиканов, шумные толки в салонах еврейской буржуазии — все это в какой-то мере заслонило от Роллана принципиальное значение происходившей борьбы.

Однако Роллан отнюдь не остался равнодушен к политическому конфликту, всколыхнувшему Францию. Можно даже сказать, что он был внутренне более глубоко затронут этим конфликтом, чем многие из тех, кто подписывал петиции и ходил на митинги. Много лет спустя,

в 1932 году, Роллан написал молодой исследовательнице его творчества Сесиль Дезорб: «Должен заметить, что Дело Дрейфуса занимает в моих произведениях гораздо больше места, чем вы думаете»*. (Далее Роллан ссылается на несколько эпизодов и мотивов в «Жан-Кристофе» и «Очарованной душе».) «Есть и другие следы Дела в том, что я написал. Этот опыт наложил глубокий отпечаток на мое мышление... Такие испытания не забываются». Именно опыт дрейфусиады, утверждает Роллан, подготовил его к разрыву с господствующим строем жизни в 1914 году. Можно предположить, что переживания конца девяностых годов показали писателю, насколько неплотворна, в условиях острой политической борьбы, позиция невмешательства, какими бы субъективно высокими побуждениями она ни вызывалась.

Размышления Роллана о деле Дрейфуса преломились в его пьесе «Волки», которая открыла его большой цикл драм о Французской революции. Роллан хотел привлечь внимание современников к давно минувшей героической эпохе, передать ее величие, накал страстей, остроту коллизий. В «Волках» (первоначально названных латинским словом «Mortuŕi», «Обреченные») он стремился вместе с тем — избегая прямых аналогий — поставить те моральные вопросы, которые возникали у многих французов именно в связи с дрейфусиадой.

Дворянин д'Уарон, ставший офицером революционной армии, осужден за измену. Этого осуждения добился майор Верра, санкюлот, который давно ненавидит д'Уарона, как чужака и аристократа. Другой офицер-якобинец, безупречно честный Телье, относясь к д'Уарону с антипатией, все же встает на его защиту: он выясняет, что факты подтасованы и что Верра, храбрец и любимец солдат, виновен в клевете. Комиссар Конвента Кенель должен рас судить спорящих. Оправдать д'Уарона, который все равно остается подозрительным, — значит осудить Верра и лишить армию отважного командира. И Кенель сохраняет в силе приговор, обрекающий д'Уарона на казнь.

Интерес пьесы не только в живо нарисованной картине горячих революционных дней, не только в остром, динамично развивающемся сюжете, но и — прежде всего — в том идейном споре, который разворачивается по ходу действия. Должно ли правосудие отвлекаться от соображений государственной пользы, военной целесообразности? Телье стоит за справедливость — в любых условиях

и любой ценой. Но действие завершается горькой репликой Кенеля: «Пусть будет запятнано мое имя, лишь бы спасено было отечество!»

Симпатии автора явно на стороне прямодушного Телье. Но своя правота — в той острой ситуации, которая показана в пьесе, — есть и у Кенеля. Роллан не хотел давать однозначного решения. Ему казалось более важным заставить самих зрителей задуматься.

Премьера «Волков» в театре «Эвр» в мае 1898 года прошла необычайно бурно. На пьесу малоизвестного драматурга, поставленную в одном из второстепенных парижских театров, пришли крупные писатели, критики, журналисты, пришла студенческая и литературная молодежь, привлеченная слухами о том, что это будет спектакль на острую тему. Явился полковник Пикар, и зрители горячо его приветствовали. Публика шумела, спорила, аплодировала репликам, в которых чуяла намеки на современные события. Долгими рукоплесканиями были встречены слова Телье: «Надо... хорошенько продумать, прежде чем приговорить человека на основании клочка бумаги!»

Правая печать ожесточенно напала на пьесу. Влиятельный критик Жюль Леметр, давний доброжелатель Роллана, теперь написал ему: «Вы оскорбили армию. Я с вами больше не знаком». Но и наиболее рьяные дрейфусары были недовольны. Шурин Роллана Огюст Бреаль прислал ему длинное негодующее письмо: ему не понравилось, что д'Уарон, который ассоциировался у публики с Дрейфусом, рисуется как человек несимпатичный. Все уверения Роллана, что он изобразил людей Французской революции, а не переодетых современников, не помогли. И та и другая сторона желала видеть в «Волках» всего лишь прозрачное иносказание.

Так или иначе, объективно Роллан помог дрейфусарам. Зрителей взволновало не столько отвлеченное столкновение понятий «справедливости» и «отечества», сколько то, как достоверно был показан в драме механизм судебного произвола. Один из горячих защитников Дрейфуса, недавний выпускник Нормальной Школы Шарль Пеги, предложил Роллану напечатать пьесу, единодушно отвергнутую всеми парижскими редакциями, в тольк что основанном им журнале «Двухнедельные тетради». Так было положено начало дружбе, оказавшейся столь важной для них обоих.

На премьере «Волков» в числе других знаменитостей

присутствовал Эдмонд Ростан. Он мог снисходительно аплодировать младшему собрату; за несколько месяцев до того он достиг шумной славы благодаря талантливо написанной мелодраме «Сирано де Бержерак». Триумфальный успех этой пьесы был показателем: публика устала и от картин серых будней в натуралистических пьесах и от туманно-мрачных драм символистов, Парижане обрадовались, увидев яркое зрелище, приподнятое над повседневностью, прославляющее благородные чувства. Зрители аплодировали остроумной импровизации Сирано в сцене дуэли, умилялись, когда постаревшая Роксана награждала поцелуем многолетнюю стойкую любовь Сирано. А потом расходились довольные: драматург отвлек их от мелких забот дня, но не обеспокоил ничем серьезным, не поколебал никаких основ. «Сирано де Бержерак» мог делать сборы и держаться в репертуаре. А пьесы Роллана не могли. Публика, способная хорошо платить, вовсе не любила, чтобы ее тревожили слишком сложными проблемами.

«Волки» Роллана не удержались на сцене, как не удержалась и следующая его пьеса, «Торжество разума», поставленная год спустя. В основе ее сюжета — судьба жирондистов, безнадежно запутавшихся в своем конфликте с якобинцами, обреченных на гибель силою событий. В смысле сценичности и обрисовки характеров она уступает драме «Волки», хотя и связана с нею общностью авторского взгляда.

Чем дальше разворачивалась задуманная Ролланом драматическая сюита, посвященная Французской революции, тем более явственно обнаруживалось в ней единство идейного замысла. История человечества движется трудным путем, через потрясения, конфликты, жертвы. Французская революция XVIII века знаменовала гигантский шаг вперед для народов всего мира, она впервые поставила в порядок дня идеи свободы, равенства, счастья для всех. Она не исполнила того, что обещала: дело людей XX века — вернуться к этим великим идеям, претворить их в жизнь. Обращаясь к опыту Французской революции, думал Роллан, необходимо не просто прославлять революцию и вспоминать о ее победах, но безбоязненно исследовать ее неудачи, поражения, те внутренние конфликты, которые подрывали ее изнутри. Однако у Роллана-драматурга здесь сказывалась тенденция — в изображении этих конфликтов сохранять долю бесстрастия, подниматься над

расприями борющихся сторон. В «Торжестве разума» эта уравновешивающая тенденция сказалась еще более явно, чем в «Волках». Не только жирондисты, но и их противники якобинцы изображены в конечном счете как люди ограниченные и заблуждающиеся.

Пьеса вызвала разноречивые толки; среди тех, кто поздравлял Роллана на премьере, были и люди, идейно от него очень далекие, — например, Морис Метерлиник. Первое представление «Торжества разума» осталось единственным: театр «Эвр», поставивший пьесу, закрылся из-за финансовых затруднений.

Более счастливо сложилась сценическая судьба драмы «Дантон». Первыми, кто ее одобрил и поддержал Роллана, были его друзья-слушатели: они поставили первый акт «Дантона» собственными силами в Нормальной Школе в марте 1899 года. Роль Дантона исполнял верный почитатель Роллана Луи Жилле, а другой его ученик, тоже видный литератор в будущем, Жером Таро, стоя за сценой, воспроизводил шум революционной толпы. Спектакль закончился хоровым пением «Гимна 14 июля». Роллан говорил годы спустя, что лучшего исполнения своих пьес он никогда не видел.

Порадовала Роллана и постановка «Дантона» труппой «Кружок учащихся» в декабре 1900 года — она вылилась, по собственным его словам, в «триумф Революции». Спектакль был повторен в пользу рабочих-стачечников северной Франции; среди зрителей были Анатолий Франс и другие видные деятели культуры. Вступительное слово произнес Жан Жорес; театральный зал был переполнен революционно настроенной публикой, которая живо реагировала на каждую реплику. Пусть успех этот и не был долговечным, пусть «Дантон», как и другие роллановские пьесы, не сохранился в репертуаре — все же дружественный прием, оказанный драме демократическими зрителями, был большой моральной поддержкой для автора.

«Дантон» и на самом деле одна из лучших драм Роллана. Правда, Роллан и здесь, сталкиваясь в острейшем конфликте Дантона и Робеспьера, сохраняет известную двойственность авторской позиции. Однако зритель имеет возможность самостоятельно вникнуть во все «за» и «против»: оба героя-антагониста обрисованы с большой жизненной полнотой, в каждом из них своя красота и сила, и у каждого свои слабые или даже темные стороны. Сти-

хийно жизнелюбивый, напористый, остроумный Дантон — «Гаргантюа в шекспировском вкусе» — местами по-человечески более привлекателен, чем неумолимо суровый Робеспьер. Отдавая должное тому и другому, рисуя их обоих, как богатырей, выдвинутых великой эпохой, Роллан явственно дает понять главную суть конфликта: Робеспьер в тяжелейших условиях продолжает самозабвенно служить революции, в то время как Дантон, один из первых ее лидеров, по сути дела, отстал и отступился от исторического движения народа. Он стал помехой на пути революции, и гибель его неизбежна.

Но что же такое народ? В «Дантоне» он вырисовывается с разных сторон. Это и те столяры, которые работают под окном у Робеспьера, подбадривая себя песней: «Строгай, пили, добывая победу... трудись, хоть сегодня ты не обедал, чтобы Республики нашей солдат ни в чем отказу не ведал». Это и та толпа, которая волнуется и шумит на заседаниях революционного трибунала, поддерживает то обвинителей, то обвиняемых, легко поддается стихийным страстям, переходит от возбуждения к апатии.

В трудах буржуазных историков и социологов считалось общепринятой истиной, что всякое массовое движение иррационально, стихийно. Роллан вырабатывал в себе критическое отношение к общепринятым авторитетам. Он понимал, что надвигаются большие социальные схватки, в которых трудящиеся и эксплуатируемые станут решающей силой. Однако личные наблюдения подсказывали ему, что народные массы вовсе не застрахованы от дурных, реакционных влияний: ведь видел же он, еще в студенческие годы, толпы парижан, приветствующих генерала Буланже, а потом, в дни дрейфусиады, толпы, кричащие: «Смерть Золя, смерть жидам!» Где же он, народ, способный осознать себя движущей силой прогресса, творцом собственной судьбы?

Великим счастьем для Роллана было, когда он смог соприкоснуться со зрителями своих пьес. На спектаклях «Волков» и «Дантона» он увидел в зале демократическую интеллигенцию, учащуюся молодежь — тех, для кого ему и хотелось писать. Роллан не раз потом вспоминал, как важны для него были эти первые встречи со своей публикой. В 1934 году в письме к лондонскому профессору Джону Клейну Роллан говорил о том, как хотелось ему в работе над пьесами исходить не только из книжных ис-

точников, но и в первую очередь — из собственных жизненных впечатлений. «Контакт с публикой моих спектаклей — публикой, которая сама по себе была для меня зрелищем, — особенно помог мне почувствовать, — что именно в драмах, которые я ей предлагал, дышало сегодняшней живой жизнью, а что было библиотечной или могильной пылью». Роллану было очень важно убедиться, что своей пьесой «Волки» он, пусть даже сам того не желая, вмешался в битвы дрейфусиады и что его «Дантон», поставленный в 1900 году, «воскресил перед народом Парижа распри и бои социалистической партии». «В своих пьесах, — утверждает далее Роллан, — я не только автор, но и действующее лицо, принимающее участие в общественных сражениях... Никогда я не отделял искусства от действия. Во всем моем творчестве они составляют единое целое. Но я сам осознал это лишь постепенно. Смеею сказать, что это, быть может, одна из главных причин, в силу которых французские театры так боязливо сторонились моих драм. Хозяева положения, заправила общественного мнения слишком хорошо чувствовали, что здесь, под покровом прошлого, развертываются битвы дня: искусство для меня — не игра»*.

Искреннее желание Роллана — работать в контакте с народом, служить современности, участвовать в общественных сражениях — особенно ясно сказалось в его исторической драме-хронике «Четырнадцатое июля». Обдумывая эту драму, Роллан постарался поближе узнать современный революционный рабочий класс. В 1900 году он явился в зал Ваграм на съезд социалистической партии, получив делегатский мандат от профсоюза краснодеревщиков. Он вспоминал потом: «Толпа, которую я увидел в зале, представляла собою все тот же народ, увековеченный в шекспировских драмах, — горластый, бездумный, совершенно непоследовательный во взглядах...» К обоим враждующим фракциям французского рабочего движения — и к их руководителям — Роллан относился во многом критически. «Непримиримый Гед, с лицом фанатика-аскета», внушал уважение своей принципиальностью, но казался слишком суровым и узким; Жорес, «добряк Пантагрюэль», привлекал гуманностью и широтой ума, но был слишком склонен к соглашениям и уступкам.

Так или иначе, соприкосновение с живой политикой было для Роллана интересным, поучительным и помогло в работе над «Четырнадцатым июля».

По сравнению с прежними роллановскими драмами эта пьеса отличается большей цельностью, отчетливостью замысла. Отчасти этому помогает и сам материал: здесь в центре действия не противоречия внутри лагеря революции, а восстание народа Парижа против монархии, взятие Бастилии. Главное действующее лицо здесь — народ. Роллану удалось дать коллективный образ толпы, выдвигая на первый план то одно, то другое лицо. И ему удалось передать силу мятежного порыва, владеющего всеми.

Но что же такое все-таки народ? Темная масса или творец истории? Мучительные размышления Роллана отражены в споре двух персонажей «Четырнадцатого июля», Гюлена и Гоша. Гюлен — скептик, случайно захваченный силою событий; даже и накануне взятия Бастилии он склонен видеть в народе лишь сборище «пожилых младенцев». Лазар Гош (реальное историческое лицо, будущий прославленный полководец республики) горячо возражает ему. «Я знаю не хуже тебя нашу злосчастную, легковерную толпу, знаю, как часто она становится жертвой своих страстей... И все же в этой темной массе больше силы и здравого смысла, чем в любом из нас. Без народа мы — ничто».

Парижане не привыкли слышать такие слова с театральных подмостков. И не привыкли видеть пьесы такого типа — без фабулы и интриги, без главного героя, с преобладанием массовых сцен. «Четырнадцатое июля» было произведением необычным и по теме и по форме. Нашелся режиссер-энтузиаст, которого пьеса привлекла именно своей новаторской природой: Фирмен Жемье, директор театра «Ренессанс». Премьера состоялась в марте 1902 года. Роллан был доволен постановкой: он считал, что режиссеру особенно удалось самое трудное — массовые мизансцены.

Жемье вспоминал потом о своей работе над «Четырнадцатым июля»: «В этой пьесе зритель видит народ, воодушевленно идущий к свету сознания. Кипение страстей, которые внезапно направляются к одной общей цели, описано с редкой силой. Главные действующие лица — Гош, Гюлен, Камилл Демулен, Робеспьер, Марат — по сути дела, это различные проявления народной души. Я получил большую радость оттого, что дал жизнь массам, которые Ромен Роллан показал в действии».

Постановка была хорошо принята демократическими кругами зрителей, в прессе появились доброжелательные отзывы. Но уже через две недели выяснилось, что «Четырнадцатое июля» не будет иметь коммерческого успеха. Каждый спектакль обходился театру дорого — надо было платить многочисленным статистам, а пьеса шла при неполном зале. Спектакли пришлось прекратить.

Эта новая неудача причинила Роллану глубокое горе. Прошло десять лет с тех пор, как он — молодой автор «Орсино» — вернулся в Париж из Рима, ободренный напутствиями доброй Мальвиды, щедрыми обещаниями Муне-Сюлли. Он твердо верил, что ему удастся сказать свое слово в драматургии, обновить французский театр. Теперь, после того как «Четырнадцатое июля» — вслед за «Аэртом», «Волками», «Горжеством разума», «Дантоном» — не нашло широкой дороги к зрителю, у Роллана на много лет пропало желание писать для сцены. Правда, в 1902 году он по просьбе Шарля Пегги дал в «Двухнедельные тетради» пьесу об англо-бурской войне, «Настанет время». Но это было скорей антивоенное публицистическое выступление в диалогах, чем произведение для театра: Роллан в то время не думал, что оно может быть поставлено.

Литературно-театральные затруднения воспринимались Ролланом тем острее, что с ними была связана и его личная драма.

В первые годы супружества Клотильда разделяла творческие интересы мужа и была готова помогать ему во всем. Она надеялась, что он быстро достигнет успеха и славы. Но ее надежды не оправдались.

Клотильда выросла в довольстве, привыкла к светским приемам, развлечениям, частой смене впечатлений. Скромного преподавательского заработка Роллана для всего этого не хватало. Через некоторое время после замужества Клотильда получила наследство умершей родственницы. Супруги переехали из скромной квартиры на улице Нотр-Дам де Шан — их первого совместного жилья, которое они с таким удовольствием устраивали и обставляли, — в другую квартиру на той же улице, с большими парадными комнатами. Роллан чувствовал себя там не вполне свободно, не мог даже пригласить Сьюареса, жившего в Медоне, приехать погостить на несколько дней; у Клотильды были свои друзья, салонные говорюны, в обществе которых Роллану было противно и скучно. Время каникул

Роллан с женой проводил за границей — в Германии, Италии, Швейцарии: но радость этих поездок отчасти омрачалась сознанием, что, не будь денег у Клотильды, такие путешествия оказались бы им обоим не по средствам.

А тут еще этот постоянный неуспех! Клотильде, как и ее братьям, казалось, что Роллан сам равнодушен к своей писательской карьере, не умеет продвигать свои пьесы на сцену и заводить полезные знакомства. Иногда она приглашала издателей, критиков или просто дельцов, пользующихся влиянием в литературно-театральном мире, — Роллан сидел в этой блистательной компании сумрачный и молчаливый: у людей, духовно ему чуждых, он не хотел искать ни одобрения, ни поддержки. А жена, со своей стороны, обижалась, что он не ценит ее забот. Так нарастало взаимное отчуждение, тягостное для обоих.

Роллан с болью видел, что горячо любимая им женщина, жизнерадостная, звонкая Клотильда, Кло, Колокольчик, как называл он ее в лучшую пору их брака, становится раздражительной, томится и падает духом. Нет, так жить дальше нельзя.

27 февраля 1901 года Роллан написал длинное доверительное письмо старому другу-наставнику Габриелю Мано. «Я развожусь. Уже давно я предвидел этот конец нашего союза, который был таким счастливым и казался таким нерасторжимым. Я делал все возможное, чтобы не допустить этого. Но не удалось. Между нами не произошло ничего особенно серьезного, дело просто в том, что наши жизни постепенно и почти роковым образом отдалялись одна от другой. В моей жизни, собственно, ничего не изменилось; но, видимо, с ходом времени она оказывалась все более грустной, все более обременительной для молодой женщины, веселой, светской, горячо и naïвно верящей в счастье и в свое право на счастье. Я, со своей стороны, не сделал всех уступок, какие было нужно сделать: наверное, не смог пойти наперекор собственной натуре. И так наступил момент, когда стало уже невозможно продолжать совместную жизнь; и лучше даже, чтобы сохранить друг к другу уважение и дружескую привязанность, расстаться, пока ничто еще не смогло серьезно омрачить воспоминание о том, чем мы обязаны друг другу. Клотильда вернулась к отцу не без сожаления; но она верит в свое будущее, и я желаю ей не обмануться в

своих надеждах. Что до меня, то я возвращаюсь к той жизни какую вел 8 лет назад, — с той разницей, что теперь у меня больше мыслей, и больше горя, может быть, больше и сил, и опыта»*.

Роллан сделал все возможное, чтобы облегчить Клотильде тягостную процедуру развода: перед судом он взял на себя вину «в самовольном оставлении домашнего очага». Ему хотелось — раз уж не удалось сохранить семью — по крайней мере расстаться достойно, не причиняя лишней боли той, кого он все еще продолжал любить.

Летом 1901 года Роллан встретился на курорте Сен-Мориц с Софией Гуеррьери-Гонзага, которую он не видел почти десять лет. Он охотно, подолгу беседовал с ней, поверял свои творческие заботы и замыслы. Теперь брак с прекрасной итальянкой, пожалуй, был бы возможен. Но Роллан был слишком травмирован разрывом с Клотильдой, чтобы думать о новой женитьбе. Он откровенно писал матери, что испытывает теперь к Софии лишь дружеские чувства, не больше.

Немного времени спустя София вышла замуж за видного политического деятеля Пьеро Бертолини; Роллан продолжал с ней переписываться в течение нескольких десятилетий.

Клотильда Бреаль стала женой известного пианиста Курто, потом разошлась с ним. В 1935 году она написала письмо Роллану, с которым много лет не встречалась, и он ответил ей в самом доброжелательном тоне. Он выразил ей благодарность за все хорошее, что было в прошлом. «Моя жизнь прошла в трудах и боях. Вам досталась, быть может, самая неблагоприятная часть. Это были годы, когда мне приходилось до изнеможения бороться с пустотой, с враждебным молчанием — и когда мой характер, ожесточенный вследствие вынужденной самозащиты, оцепеневался молодой непримиримостью. Забудем тени тех дней! Мы прожили вместе прекрасные часы порыва и надежды. Если мне и удалось собрать потом кое-какую жатву, то немалая ее доля — то, что мы посеяли вместе. Я не раз в связи с этим вспоминал вас...»*

Тяжкие душевные потрясения, которыми ознаменовалось для Роллана начало нового века, на время подорвали его силы, привели к нервному истощению и апатии. Но он довольно быстро взял себя в руки, и ему снова захотелось писать.

«Позднее,— вспоминает Роллан,— я пришел к мысли, что истинное рождение духа, давшего, наряду с «Жан-Кристофом», все самые долговечные из моих произведений, датировались 1901—1902 годами, когда в моем общественном положении произошел решительный перелом, обрекший меня на бедность и одиночество».

Роллан вступил в пору писательской зрелости. Начались годы настойчивой, сосредоточенной, плодотворной работы.

1

Из окна открывался вид на соседние монастырские сады. Весной и летом оттуда доносился запах свежей зелени. Уличного шума не было слышно. Правда, через тонкие стены проникали разнообразные звуки из смежных квартир, обрывки разговоров и бречанье на рояле; а сама квартирка на бульваре Монпарнас, в доме № 162, куда переселился Ромен Роллан после развода, была до того крошечная, что он, стоя посреди комнаты, легко доставал руками стены и потолок. Но все же с грехом пополам удалось разместить кровать, письменный стол, пианино и книжные полки. Рядом был ресторанчик, куда можно было ходить обедать. Внизу сидела консьержка, с которой можно было договориться, чтобы она не пускала случайных посетителей к одинокому жильцу четвертого этажа. Бывали дни, когда ему никого не хотелось видеть, хотелось работать и только работать, запоем, без перерывов и помех.

В последние годы семейной жизни Роллан иногда с чувством облегчения выходил из дому, где толпились чужие, ненужные ему гости, на пустынную, молчаливую улицу Нотр-Дам де Шан. Бульвар Монпарнас, параллельный этой улице, широк и многолюден. Теперь Роллан, выходя из дому, сразу вливался в поток пешеходов. И это бывало совсем неплохо после многих часов, проведенных в безлюдье и безмолвии.

Он шел в Латинский квартал привычной недолгой дорогой, и со всех сторон его окружали человеческие лица:

мастеровые и служащие, спешащие на работу или домой, хозяйки с кошелками, студенты со связками книг под мышкой. Он мог чувствовать себя частью этой трудовой толпы. Именно таких людей будет скоро встречать на улицах Парижа его герой, гениальный и неимущий музыкант, не признанный «ярмаркой на площади». «Ему хотелось, — так напишет Роллан о Жан-Кристофе, — поглубже окунуться в освежающие волны сочувствия людей. Он ни с кем не заговаривал. И даже не пытался заговорить. Ему достаточно было смотреть на проходящих людей, разгадывать их мысли, любить их. С теплым участием присматривался он к этим торопливо шагавшим труженикам, на лицах которых уже в час утренней свежести лежала печать утомления...»

Роман о Жан-Кристофе складывался все отчетливее, — накопились заметки, наброски, целые главы. Однако были другие, срочные дела, которые надо было выполнить или довести до конца: давно начатая серия статей о народном театре, обзор парижских художественных выставок для журнала «Ревю де Пари», биографический очерк о Франсуа Милле, заказанный английским издательством. И были лекции, к которым Роллан по-прежнему готовился чрезвычайно серьезно, проводя долгие часы в библиотеках.

Преподавание иногда становилось физически обременительным. Роллана мучали частые гриппы, бронхиты, приступы боли в сердце. Простояв утром два часа на кафедре, он чувствовал себя до того обессиленным, что в тот день уже не мог писать. Подготовка к текущим лекциям не давала возможности сосредоточиться на собственном литературном труде — «Жан-Кристофу» отводилось главным образом время учебных каникул. Но отказываться от лекций Роллану не хотелось. Конечно, одинокому человеку не так уж много нужно, чтобы прожить: единственной крупной статьей расходов оставались поездки за границу во время отпусков. Однако регулярный педагогический заработок давал возможность держаться независимо перед редакторами, писать то, что хочется, не заботясь о материальном успехе. Да и помимо этого, общение со слушателями стало для Роллана душевной потребностью, в особенности после того, как он лишился семьи.

Он вел лекционные курсы не только в Нормальной Школе, но и в недавно основанной Высшей школе социальных наук, — там он организовал секцию музыковедения и устраивал общедоступные концерты: эта работа во-

все не оплачивалась, но была творчески интересной. Музыковедение, как специальная отрасль знания, только еще начинало пробивать себе дорогу, и в этой области авторитет Роллана был признан специалистами еще в прошлом столетии — сразу после того, как появилось его исследование об истоках европейской оперы.

В 1904 году, в связи с реорганизацией Нормальной Школы, лекции Роллана были перенесены в Сорбонну. Впервые за многовековую историю старейшего французского университета в его учебный план был включен специальный курс истории музыки. И притом курс, открытый не только для студентов, но и для посторонних.

Каждый четверг к девяти часам утра аудитория, где читал профессор Роллан, заполнялась любознательной публикой. Скоро стало не хватать мест, — юноши и даже девушки усаживались на ступеньках амфитеатра. Одних слушателей привлекал тонкий, оригинальный анализ произведений искусства, других — исполнительское мастерство лектора, который охотно переходил от кафедры к роялю. А третьих покорило прежде всего душевное обаяние человека с негромким голосом, несветской застенчивостью манер, строгим и проникновенным взглядом. Каждая из лекций представляла самостоятельный исследовательский этюд, некоторые из них появлялись потом в печати. Так подготавливались книги — «Музыканты прошлых дней», «Музыканты наших дней».

Свои статьи о театре и музыке Роллан иногда публиковал в журнале «Ревю де Пари», одним из руководителей которого был известный историк Эрнест Лависс; там еще в 1896 году вышла статья Роллана «Об упадке итальянской живописи в XVI веке» — краткое изложение латинской диссертации, а потом и «Святой Людовик». Еще чаще он печатался в журнале «Ревю д'ар драматик» — «Обозрение драматического искусства»; с 1903 года он стал заведовать музыкальным отделом этого журнала, который в следующем году принял название «Обозрение драматического и музыкального искусства». С Альфонсом Сеше, главным редактором журнала, у Роллана установились дружеские отношения. В течение ряда лет «Обозрение» вело кампанию за народный театр, широко предоставляло место для дискуссионных и полемических выступлений, — там можно было высказываться свободно.

Однако главной печатной трибуной Роллана стали — со времени публикации пьесы «Волки» — «Двухнедель-

ные тетради» Шарля Пегги. Это было периодическое издание необычного типа: каждый выпуск представлялся целиком одному автору (реже — двум) и содержал, как правило, большое цельное произведение — роман, повесть, публицистический памфлет, социологическое исследование или эссе. Там могли печататься полностью крупные работы, отрывки из которых появлялись раньше в других местах; так, статьи Роллана о народном театре, которые он в течение нескольких лет помещал в «Обзрении», вышли потом в виде цельной книги, отдельным выпуском «Тетрадей».

В 1900 году появилась в «Обзрении» программная статья Роллана «Яд идеализма», горячая и резкая по тону. Автор осуждал «дряблые грезы декадентского искусства», бегство от действительности, безволие, расслабленность, ставшие своего рода литературной модой. Он ратовал за искусство мужественное и смелое, способное учить в «земной жизни». Он утверждал: «Нужно воспитывать в душах любовь к истине, чувство истины, властную потребность в истине, привычку, желание ясно разбираться в вещах и людях». Статья открывалась посвящением: «Шарлю Пегги и его «Двухнедельным тетрадам», ведущим работу по оздоровлению общества».

В Пегги Роллан высоко ценил принципиальность и силу характера. Ему была глубоко по душе та атмосфера, которую старался поддерживать в «Двухнедельных тетрадях» и сам Пегги и сплотившийся вокруг него небольшой коллектив литераторов. Они единодушно презирали буржуазный мир, не хотели ни в чем приспособляться к его торгашеским нравам. Роллан позже вспоминал: «Нас всех объединяла прямота, непримиримая честность: говорить правду, не писать ни строчки того, что не думаешь и не хочешь претворять в действие». Пегги и его сотрудники ставили себе задачей — не просто выпускать литературные произведения, но и «способствовать общественному и нравственному возрождению Франции».

В декабре 1901 года Роллан с радостью сообщал Мальвине фон Мейзенбург, что Пегги готов напечатать, вслед за «Дантоном», еще две его драмы о Французской революции. Он рассказывал о Пегги: «В его лице я приобрел энергичного друга. Он основал издание под названием «Двухнедельные тетради», которое выходит нерегулярно, выпусков 20 в год. Направление там — социалистическое, но с отпечатком морального благородства, которое преоб-

ладает над всеми политическими соображениями. Девиз у него такой: «Социальная революция будет высокоправственной, или ее вовсе не будет».

Далее Роллан описывал читателей нового журнала: «Все это люди независимые, живущие обособленно, в провинции или в малых государствах, люди, исповедующие социалистическую веру, но с оттенком нравственной непреклонности, которая не может примириться с тем, чтобы идеал искажался, приспособляясь к требованиям политики. Итак, это — элита, не столько интеллектуальная, сколько моральная, — авангард общества, которое находится в пути, в поисках новых форм цивилизации. Радостно войти таким образом в контакт с этими скромными и свободными индивидуалистами, в которых горит самый чистый огонь французского общественного сознания...»

Пять лет спустя, в 1906 году, в самый разгар работы над «Жан-Кристофом», Роллан писал своей немецкой читательнице Эльзе Вольф:

«Я не рассказывал вам о Пегги? Вот вам тип француза старинной породы — фанатик разума, способный весь мир принести в жертву своим идеям. Он основал «Тетради», вложив в них все свое небольшое достояние, а также деньги жены (всего тысяч пятнадцать франков), не заботясь о том, что будет с ней и с тремя маленькими детьми, если он потерпит крах. Он и от других требует такого же бескорыстия. Он не платит ни одному автору, а для себя берет только то, что строго необходимо на жизнь ему и семье. (Они живут на расстоянии часа езды от Парижа; он приезжает на работу почти каждый день; иногда он стучится ко мне в дверь в пол-седьмого утра, чтобы взять у меня выправленные гранки и отнести их в типографию в Сюрен, на другой конец города.) Он решил создать журнал абсолютно независимый и абсолютно чистый. Будучи социалистом и другом Жореса, он высказал ему в глаза самые горькие истины. Книготорговцы его бойкотируют, потому что он отвергает кабальные условия, которые они навязывают редакторам. Он отказался от всякой рекламы. Он поклялся, что ни к кому не пойдет, — пусть к нему идут. И к нему действительно приходят, несмотря на всю его эксцентричность, раздражающее упрямство, несмотря на все причуды его стиля и привычку пережевывать одно и то же; впрочем, во всем, что он пишет, есть нечто сильное и глубокое, хотя и под непривлекательной оболочкой. Он немного одержим, это я понимаю, да и он

сам понимает. Как он говорит, «надо быть одержимым, чтобы суметь чего-то добиться». Но у него такая сила веры в свое дело и в самого себя, что он заразил этой верой многих людей. У него необыкновенно своеобразный круг подписчиков, — преобладают независимые трудовые люди, которые живут обособленно, в провинции или в отдаленных колониях, — есть и солидное ядро политических деятелей, и группы иностранцев, читающих по-французски, швейцарцы, бельгийцы, голландцы. Меньше всего литераторов. Они его тоже бойкотируют. Но они тоже, уже теперь, вынуждены идти к нему. И как он с ними обращается!.. Да, у Пеги тысяча невыносимых недостатков: он деспот, маньяк, упрямо цепляющийся за свои идеи. Но он в Париже — сила, единственная в своем роде. Никогда я не мог бы взяться за нескончаемую серию «Жан-Кристофа» и за мои «Жизни великих людей», если бы у меня не было этой опоры: смелого и настойчивого издателя, который не боится ничего, прежде всего не боится быть смешным, и охвачен страстью к честности. Теперь мои книги утвердились и могут быть напечатаны в других местах, где ни в коем случае не удалось бы напечатать их раньше, по крайней мере без изменений и купюр...» Отвечая на вопросы Эльзы Вольф — в чем цели «Двухнедельных тетрадей», каково их содержание, Роллан перечислял темы выпущенных книжек. «Есть целая серия, которую можно назвать «Угнетенные народы». С десятков выпусков посвящен Финляндии, Армении, Македонии, русской Революции, кипиневским и румынским евреям, бельгийскому Конго и т. д. (и каждая такая «Тетрадь» написана специалистом, который сам был в данной стране, — без малейшего литературного фразерства!). Затем другая серия: «Французские демократические институты»; тут и Народный театр, и Народные университеты, речи Жореса, статьи Клеманса или Пикара и т. д. Затем — хроники и политические памфлеты Пеги, который является социалистом и был одним из самых пылких дрейфусаров, но с тем большей свободой обличает компромиссы торжествующих ныне социалистов и низость ведущих дрейфусаров в их подавляющем большинстве». «В итоге — какова линия «Тетрадей»? Обуздывать социализм в духе индивидуализма. Поддерживать в самом социализме (ведь и все мы, больше или меньше, к нему примыкаем) абсолютную свободу, которую пытается подавить тирания руководства социалистической партии, — свободу быть справедли-

выми по отношению к ее противникам и строгими по отношению к ее друзьям».

Очень любопытно сопоставить эти два отзыва Роллана о Пеги. Кое в чем они совпадают даже текстуально — и все же различны. В 1906 году Роллан относился к Пеги менее восторженно, чем в 1901 году. За годы совместной работы он лучше узнал его, да и сам Пеги, как литератор и общественный деятель, раскрылся яснее. Но вместе с тем Роллан, именно благодаря опыту совместной работы, все глубже осознавал, сколь многим он обязан редактору «Двухнедельных тетрадей».

Роллан очень ценил, что Пеги, несмотря на свой властный нрав, решительно ни в чем не стеснял свободы авторов, не навязывал им никаких поправок. Для Роллана это было тем более важным оттого, что он — даже и в самом начале своего сотрудничества в «Тетрадах» — далеко не во всем был согласен с Пеги.

Оба они ненавидели буржуазный мир, считали его прогнившим и обреченным. Оба они были убеждены, что будущее принадлежит социализму. Оба они, наконец, — и это особенно их сближало — стремились связать социальное переустройство с нравственным обновлением людей.

А дальше начинались разногласия.

Сам Пеги так характеризует тот период своей жизни, когда произошло знакомство Роллана с ним: «Все тогда было чисто. Все тогда было молодо. Только что родился социализм юный, социализм новый, социализм серьезный, немного ребяческий (но это и требуется для юности) — социализм молодых людей. Только что возродилось христианство пламенное, надо сказать, глубоко христианское, глубокое, пылкое, серьезное. И его с довольно большой пылкостью называли социальным католицизмом...» Молодой Пеги был в оппозиции к католической церкви, жил с женой в гражданском браке и не крестил детей, — но сочетал бунтарские настроения с особым рода отвлеченным христианством. Роллану этот «социальный католицизм» был в значительной мере чужд. А вместе с тем был чужд и литературный стиль Пеги, с его постоянным налетом проповеднического экстаза.

Кстати сказать, Роллан в письме к Э. Вольф выразился по меньшей мере неточно, когда назвал своего редактора «фанатиком разума». Философским учителем Пеги был теоретик иррационализма Анри Бергсон. Пеги глубоко воспринял идею Бергсона о превосходстве познания инту-

итивного над рациональным, научным. Обличая политику правящего класса, а заодно и всякую политику, Пеги противопоставлял ей «мистику», как понятие положительное. В основе больших народных движений, в основе всякого героизма, утверждал Пеги, обязательно лежит «мистика» — иррациональное, внеразумное начало.

В первые годы нового столетия разочарование в политике, недоверие ко всякой политической деятельности охватило немалую часть французской интеллигенции. Борьба дрейфусаров, казалось бы, увенчалась успехом — атаки реакции были отбиты, узник Чертова острова вернулся домой. Но в общественной жизни Франции не произошло ощутимых перемен к лучшему. Больше того: социалисты вошли в правительство и этим дискредитировали себя в глазах многих бывших сторонников. В 1902 году, при премьер-министре Комбе, Жорес стал заместителем председателя Палаты. Возник даже термин «комбизм», обозначающий сотрудничество социалистов с буржуазными партиями.

Роллану нравилась та прямота и резкость, с которой Пеги осуждал Жореса за соглашательство. Но в 1905 году, когда обострились отношения между Францией и Германией, Пеги поместил в очередном выпуске «Тетрадей» свой памфлет «Наша родина». В нем звучали нотки национализма, и критика парламентского режима велась скорей справа, чем слева. Роллан с тревогой почувствовал, что в публицистике Пеги «повеяло ветром войны, что он апеллирует к «инстинкту расы».

Пеги говорил о готовности народа к сражениям и жертвам и риторически спрашивал: «Какой набат войны гражданской или войны иноземной; какой набат войны социальной или религиозной; как в былые времена; какой набат войны более чем гражданской; какой набат иноземного вторжения возвестит когда-нибудь смерть всех этих людей?» В этой книге сильнее, чем в прежних работах Пеги, сказалась его склонность прославлять «мистику» подвига безотносительно к его конкретному социальному, историческому содержанию.

Здесь же, в «Нашей родине», Пеги мимоходом, не называя Роллана, слегка иронически высказался по поводу литераторов, усердно сочиняющих труды о «Народном театре»; он употребил неологизм «livresque», что можно перевести как «книжечий» или «книжнич». Пеги, конечно, не имел намерения ссориться с одним из лучших авторов

своего журнала, — по-видимому, его просто печально «занесло» в пылу обличения Третьей республики, всей ее политической и умственной жизни. Но все же насмешливое словечко было брошено неспроста. В глазах Пеги автор «Жан-Кристофа» был и оставался интеллектуалом, оторванным от народной почвы, замкнутым в мире книг.

Сам Пеги гордился своим крестьянским происхождением и утверждал, что главным его литературным наставником была неграмотная бабушка; он, по словам его биографа и почитателя Д. Галеви, «никогда не интересовался ни Шекспиром, ни Данте, ни Гёте». Идея единства мировой культуры, духовного общения наций, заложенная в самой сути творчества Роллана, и особенно его романа «Жан-Кристоф», явно не вызвала сочувствия у первого издателя этого романа.

Пеги ставил инстинкт выше разума и культуры; патриотизм он понимал как исконную, интуитивную привязанность народа к родной земле. Все это в последние годы его жизни обернулось воинствующим национализмом и католицизмом самого ортодоксального образца.

История идейных взаимоотношений Роллана и Пеги — история сложная и по-своему драматичная; у нас еще будут новоды к ней вернуться. Так или иначе, оба писателя продолжали — несмотря на нараставшие разногласия — ценить и уважать друг друга вплоть до самой смерти Пеги (погибшего на фронте в 1914 году). Но разногласия обозначились отчасти уже с самого начала, с первых лет сотрудничества Роллана в «Двухнедельных тетрадах».

В 1901—1902 годах во Франции, да и во всем мире, много говорили и писали о Толстом. Он был отлучен от церкви, потом тяжело заболел, некоторое время был почти при смерти, — все это подняло на Западе широкую волну общественного сочувствия. Французские литераторы, художники, публицисты выражали симпатию к Толстому — каждый на свой лад.

«Двухнедельные тетради» откликнулись на отлучение и болезнь Толстого специальным выпуском в феврале 1902 года. Центральное место в нем занимала публикация письма Толстого, полученного Роменом Ролланом в 1887 году, с предисловием-комментарием самого Роллана. В этом выпуске была также большая статья Пеги, по преимуществу полемическая. Она была направлена против «толстовствующих снобов» — тех французских литераторов и журналистов, которые шумно восторгаются ве-

ликим русским писателем, а по существу от него далеки. Пеги категорически заявлял: «Христианство лежит в основе Толстого», люди неверующие не могут его понять.

Роллан подошел к своей теме совершенно иначе. Толстовская христианская доктрина его не привлекала. В своей статье-предисловии к письму 1887 года он кратко и очень самостоятельно проанализировал взгляды Толстого на искусство, стараясь извлечь из документа, написанного четверть века назад, выводы, поучительные для литературно-художественного мира сегодняшней Франции.

Роллан намеренно оставил в стороне крайности и критические перегибы Толстого. Он мимоходом отметил, что не разделяет многих его конкретных оценок, не соглашается, например, с его явно ошибочной оценкой Бетховена. Роллан выдвинул на первый план, как главное в эстетике Толстого, идею народности искусства, понимая под народностью не примитивную доходчивость, а нечто гораздо более важное: близость искусства к нуждам, тревогам, чаяниям народных масс.

Толстой осуждал «господское искусство», требовал, чтобы писатели и художники творили для большинства человечества — для трудящихся и угнетенных: он исходил в этом требовании из соображений справедливости, из интересов народа. Роллан присоединяется к Толстому — исходя из нужд самого искусства. «Не только нравственность, а и само искусство заинтересовано в том, чтобы оно перестало быть исключительной собственностью привилегированной касты. Я, художник, сам первый молю о наступлении того момента, когда искусство войдет в толщу народа очищенным от своих привилегий, от пенсий, от орденов, от казенной славы. Я призываю это время во имя достоинства искусства, оскверняемого тысячами паразитов, позорно живущих за его счет. Искусство не должно быть карьерой, оно должно быть призванием».

Этот же круг проблем встает и в книге Роллана «Народный театр» и в других его работах о театре, живописи, музыке, написанных в начале нового столетия.

Еще в конце минувшего века Роллан был захвачен идеей создать театр нового типа, который обращался бы не к буржуазной публике, испорченной и пресыщенной, а к массовому трудящемуся зрителю. Вместе с другими литераторами, режиссерами, журналистами он вошел в жюри конкурса на лучший план деятельности народного театра, писал статьи на эту тему, участвовал в подготов-

ке собраний и съездов работников искусств. На рубеже двух столетий в разных концах Франции возникали любительские народные театры, — крупнейший из них был открыт в деревне Бюссане драматургом Морисом Потешером (который, как и Роллан, был почитателем Толстого и писал ему).

В такого рода попытках по-своему сказывалось влияние социалистического движения на художественную интеллигенцию. Однако поборники народного театра по-разному понимали его цели. Некоторые считали самым важным возродить во Франции старинный жанр массовых развлечений — зрелищ на открытом воздухе. Другие выдвигали задачу — дать неимущему городскому населению содержательные, художественно доброкачественные спектакли, познакомить новые круги зрителей с классическим наследием. Роллан смотрел на это дело шире, — он не хотел ограничиваться просветительством. Конечно, полезно дать трудящимся доступ к благам культуры, которых они лишены. Однако народный театр должен не просто просвещать, — он должен поднимать дух народа, внушать ему мужество и волю к действию. Значит, этот театр не может быть повторением готовых образцов — необходимы поиски новых форм такого зрелища, которое могло бы взволновать, захватить массы.

Иные реформаторы театра обивали пороги министерств, надеялись получить от государства денежное пособие на просветительские цели — и не получали. Роллан понимал, или, вернее, чувствовал, что расцвет народного театра, о котором он мечтал, при данном социальном строе невозможен. Обновление искусства неотделимо от обновления общества.

Свои мысли по этому поводу он сжато изложил в письме к Альфонсу Сеше в июле 1903 года. «В течение последних лет я убедился, что в настоящее время невозможно отделять театр от политики. Театр, как и все искусство, как и вся нынешняя интеллектуальная и нравственная жизнь, должен включиться в борьбу, рискуя умалить или даже на время утратить некоторые из прекраснейших своих привилегий: автономию мысли и чистую красоту. Необходимо прежде всего разбить то, что препятствует свободному развитию современной мысли. А потом уже постараемся восстановить спокойствие в искусстве. — Если бы даже мой разум и не соглашался с идеями социализма, меня привело бы к ним мое чутье художника. Во всем

нашем театре минувших времен нет почти ничего, что было бы способно дать пищу современным запросам... Я верю в необходимость сценического переворота, который полностью обновил бы идеи и даже формы французского театра. Этот переворот может быть осуществлен лишь благодаря революции или эволюции общества по направлению к социализму. В этом для меня — суть вопроса. Не столь важно, по-моему, появится ли еще одно или два прекрасных произведения. Речь идет о том, чтобы преобразовать искусство, чтобы спасти его от убожества. Я подробно обосновываю эти мысли в книге, которая скоро появится».

Эти строки были написаны более чем через год после того, как Роллан и Фирмен Жемье потерпели обидную неудачу в попытке утвердить на французской сцене героическую драму нового типа, «Четырнадцатое июля». Судьба этой пьесы укрепила в Роллане убеждение, что буржуазный строй ставит почти непреодолимые преграды перед искусством революционного, новаторского характера.

В книге «Народный театр» (которая появилась в конце 1903 года) Роллан ратовал за искусство, способное внушить народу сознание своей силы, заразить его энергией и волей к борьбе. Однако сам он к тому времени, когда вышла эта работа, уже несколько охладел к собственным планам преобразования театра. Он успел убедиться, что это дело несравненно более трудное, чем ему казалось ранее.

Вместе с тем Роллан в начале нового века — в кризисный, очень нелегкий период своей писательской и личной жизни — был готов с прежним упорством осуществлять то, в чем он видел свое призвание, свой нравственный, человеческий долг. Если не в области драмы, театра, то — в области художественной прозы, обращаясь не к зрителям, а к читателям.

Ведь найдутся же в конце концов читатели, которые поймут!

Еще раньше «Народного театра» — в феврале 1903 года — вышел в «Двухнедельных тетрадах» биографический очерк Романа Роллана о Бетховене. Редакция «Тетрадей» сообщила, что в дальнейшем появятся книги того же автора о Гоше Томасе Пейне, Микеланджело, Шиллере, Гарибальди, Мадзини, Франсуа Милле. Книжка о Бетховене была с самого начала задумана как первая работа в большой серии «Жизни великих людей», Роллан хотел

не просто рассказать о жизненном пути своего любимого композитора, но и раскрыть перед читателями — быть может, и уяснить самому себе — свое понимание героизма.

Что значит великий человек? Что значит герой? Этот вопрос был тогда для Роллана не столь простым и ясным, как это может показаться сегодня.

В Архиве Роллана хранится итальянская книга «Песни о Гарибальди» с авторской надписью: «Ромену Роллану, во имя культа героев, эта эпическая песнь. Г. Д'Аннунцио. Март 1901 г.». С писателем Габриеле Д'Аннунцио и его подругой, знаменитой актрисой Элеонорой Дузе, Роллан познакомился в 1899 году, не раз встречаясь с ними во время поездок в Швейцарию и Италию, переписываясь с ними. Вероятно, надпись на книге — отголосок недавних разговоров, быть может, и споров. Габриеле Д'Аннунцио был близок по духу таким французским писателям, как певец наполеоновских войн Поль Адан или как постоянный антагонист Роллана, автор трилогии «Культе Я» Морис Баррес: презирая мещанскую посредственность, они утверждали идеал сильной личности, сверхчеловека, который стоит над толпой и которому все позволено.

Сам Роллан в юности отдал дань подобным же представлениям в «Орсино» — но, как мы помним, уже в период работы над «Святым Людовиком» и «Аэртом» внутренне отмежевался от индивидуалистов ницшеанского образца.

В начале 1902 года Роллан писал Софии Бертолини: «Когда я задумывал «Орсино», я чувствовал, что сила благодетельна — в противовес вялости и трусости современной мысли. Сегодня это лекарство кажется мне столь же опасным, как сама болезнь. В нынешней Европе, которая целиком захвачена лихорадкой империализма, колониальных захватов, военного и финансового пиратства, национализма, — не следует прославлять культ энергии. Достаточно ясно видно, какое зло причиняет такой человек, как Киплинг. Все, что способно возродить наполеоновский дух, представляется мне сегодня вредным».

В дни, когда иные талантливые писатели — не только Д'Аннунцио или Баррес, но и такой действительно большой мастер стиха, как Киплинг, — своими воинственными писаниями помогали разжигать «лихорадку империализма», Роллан считал особенно важным противодейство-

вать «наполеоновскому духу». И в этом тоже он видел одну из задач своей серии героических биографий. Осенью 1902 года, перед выходом «Жизни Бетховена», он писал Мальвиде фон Мейзенбург: «Я задумал... серию жизней великих людей, на манер Плутарха (я, кажется, уже говорил вам об этом) — биографии героев новой истории, причем на первый план будет выдвигаться их нравственная сущность».

Предисловие к «Жизни Бетховена» — и авторская заявка, и обещание, и призыв, обращенный к читателям. «Мир погибает, задушенный своим трусливым и подлым эгоизмом. Распахнем же окна! Впустим вольный воздух! Пусть нас овеет дыханием героев». Роллан поясняет: «Я называю героями не тех, кто побеждал мыслью или силой. Я называю героем лишь того, кто был велик сердцем». Тут же Роллан приводит слова Бетховена: «я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты»; этим он сразу прокладывает резкую грань между собственным пониманием героизма и нищенским культом сильной личности.

Подлинно великим людям, по глубокому убеждению Роллана, всегда приходится нелегко: они наталкиваются на препятствия, нередко встречают непонимание и враждебность, они страдают сами и близко принимают к сердцу страдания других — большинства человечества. Читать жизнеописание героев — значит укреплять в себе мужество. Бетховен хотел силой своей музыки помогать людям, ободрять страдающих, поднимать дух; он писал: «музыка должна высекать огонь из души человеческой». Роллан, биограф Бетховена, хотел добиться того же своим писательским словом.

«Жизнь Бетховена» исчезла с книжных прилавков в несколько дней, ее пришлось срочно переиздать. Это был неожиданный, необычайно радостный успех — и для Роллана и для редакции «Двухнедельных тетрадей». Шарль Пеги рассказывал об этом десять лет спустя, в своей обычной «одержимой» манере:

«Наши подписчики еще помнят, каким внезапным откровением явилась эта «Тетрадь», какое возбуждение она вызвала повсюду, как она разошлась внезапно, как волна, как подземный толчок, так сказать, мгновенно, как она стала внезапно, мгновенно, откровением в глазах всех, по внезапному согласию, по всеобщему согласию, не только началом литературной удачи Ромена Роллана

и литературной удачи «Тетрадей», но и чем-то бесконечно более важным, чем начало литературной удачи, внезапным нравственным откровением, раскрывшимся, открывшимся предчувствием, взрывом, внезапным предвещанием большой нравственной судьбы».

А между тем роллановская «Жизнь Бетховена» своей трактовкой героизма не только противостояла культуре «сверхчеловека», но и сильно отличалась от того, что писал и думал Пеги.

В работах Пеги — даже в раннем варианте его знаменитой «Мистерии о Жанне д'Арк» — образ гения или народного героя вставал в иррационалистической дымке. Исторический прогресс, согласно мысли Пеги, осуществляется людьми способными или даже талантливыми, в их появлении, в их деятельности есть определенная закономерность, они образуют «линейную серию». Человек великий, гениальный — вне линейной серии. Он непознаваем и непостижим.

У Роллана Бетховен — гений, опередивший время, но вместе с тем и сын своего общества, своего времени. В очерке о Бетховене (как и в написанном несколько ранее очерке о Франсуа Милле) Роллан не боится, при всей эмоциональной приподнятости изложения, рисовать своего героя достоверно, опираясь на документы — с большой полнотой житейских, портретных деталей и без всякого ореола таинственности. На протяжении сжатой биографии сказано очень много о Бетховене как живой личности — о его трудном, униженном детстве, о его материальных невзгодах, о его несчастьях в любви, наконец, о постепенно нараставшей, терзавшей его глухоте. Никакого пьедестала, никакой преднамеренной романтизации: очень отчетливо передан гнет будничных горестей, которые сопутствовали всей жизни Бетховена. И тем ярче выступает перед читателем величие глухого страдальца, поднявшегося над горестями и болезнями, создавшего «Оду к радости» — на радость людям.

Роллановский Бетховен — человек своей эпохи; а решающее событие этой эпохи — Французская революция. (Роллан не мог отказать себе в удовольствии, описывая историческую обстановку, упомянуть мимоходом персонажей своего «Четырнадцатого июля», современников Бетховена — Гоша, Гюлена.) «Разразилась революция: она начала стремительно распространяться по всей Европе, она овладела и сердцем Бетховена». Дух великих

народных потрясений живет в музыке Героической симфонии, увертюры «Кориолан», Анпассионаты. Дух этот сказан не только в гражданском, бунтарском звучании произведений Бетховена, но и в самом его взгляде на призвание искусства, в его желании творить «ради страждущего человечества», «ради человечества будущего».

С этим утверждением общественной миссии искусства, казалось бы, не очень вяжутся слова Бетховена, которые Роллан приводит в своей книге, не раз привел потом и в письмах: «Мое царство — там, в эфире». Впоследствии Роллан в «Жан-Кристофе» как бы перефразировал эту мысль: «Высшее искусство, единственно заслуживающее этого имени, стоит над законами и требованиями дня: оно словно комета, брошенная в беспредельность». Есть ли тут противоречие с тем, что писал столько раз сам Роллан о социальном назначении искусства? Да, противоречие есть. Но оно объяснимо.

В течение всей жизни Роллан был убежден, что труд художника, писателя, музыканта — выполнение высокого гражданского и нравственного долга перед людьми. Он не раз говорил об этом и в специальных музыковедческих работах о Генделе, Глюке, Берлиозе. Он и в книге о «демократическом Микеланджело», Франсуа Милле, сочувственно привел слова Милле о том, что долг художника — «воздействовать на людей своей мыслью и своей волей». Но вместе с тем Роллан отнюдь не желал, чтобы искусство растворялось в социальности, не считал возможным, чтобы работа мастера, творца сводилась к выполнению простых утилитарных задач. Обличая эстетство и снобизм, отстаивая народность искусства, он порой как бы спохватывался и с преувеличенной настойчивостью твердил: царство художника — не от мира сего!

После того как «Жизнь Бетховена» была так сердечно принята публикой, Роллану хотелось продолжить начатую серию героических биографий. Но он ее не продолжил. Лишь после длительного перерыва — в 1906 году — вышла в «Двухнедельных тетрадах» его «Жизнь Микеланджело». А другие обещанные им биографии не появились вовсе. Роллан, щепетильно требовательный к себе, решил даже не публиковать на французском языке свой очерк о Милле, который вышел в Лондоне в 1902 году и показался самому автору не вполне удачным.

Читатели «Двухнедельных тетрадей», да и сам Пеги, не имели оснований сетовать на Роллана за то, что он

не писал биографий: ведь он начиная с 1904 года давал в «Тетради» том за томом своего «Жан-Кристофа». Понятно, что этот грандиозный труд требовал громадного напряжения сил и не оставлял времени для работ меньшего масштаба. Но Роллан не вернулся к задуманному циклу биографий и после окончания «Жан-Кристофа». В ходе подготовки этого цикла он явно столкнулся с какими-то непредвиденными трудностями. С какими же?

В письме к американскому исследователю Рональду Уилсону Роллан отчасти ответил на этот вопрос. Ему оказалось нелегко прежде всего собрать необходимый материал: он хотел строго основываться на подлинных документах, а в некоторых случаях наследники великих людей (например, Гоша и Мадзини) не пожелали допустить его к семейным архивам. Важнее другое. Каждый избранный им герой при детальном изучении оказывался личностью более сложной, подчас менее привлекательной, чем представлялся первоначально.

Надо ли рассказывать читателям об ошибках, провалах, человеческих слабостях, которые свойственны, как правило, даже самым великим людям?

В принципе Роллан был убежден: *надо*. Закончив «трагическую повесть» о жизни Микеланджело, он в кратком послесловии спросил себя: «Быть может, мне следовало, подобно многим другим, показать лишь героизм героев, набросив покрывало на всю бездну снедавшей их печали?» И сам себе ответил: «Но нет! Правда превыше всего! Я не обещал своим друзьям счастья ценою лжи, любой ценой, счастья во что бы то ни стало. Я обещал им только правду, даже ценою счастья, мужественную правду, рецом которой изваяны бессмертные души».

Из всех намеченных Ролланом работ о великих людях его больше всего захватила история жизни Микеланджело. Вот это — сын титанической эпохи! И вместе с тем эпохи в высшей степени драматической. Острые социальные конфликты, раздиравшие Италию, столкновения жизнелюбивой идеологии Ренессанса с аскетически-плебейской проповедью Савонаролы — все это отозвалось в мощном, беспокойно-напряженном искусстве Микеланджело. Но ценою какого каторжного труда и какой острой душевной боли, постоянных сомнений, можно сказать, смертных мук создавалось это бессмертное искусство! И как терзали художника-гиганта обсто-

ятельства чисто житейского порядка — вечная зависимость от сиятельных и святейших заказчиков, игра интриг в сферах высшего духовенства, да и в среде художников, а помимо того — болезни, домашние неурядицы, личное одиночество!

Роллан не скрыл от читателей того, что узнал в ходе скрупулезной исследовательской работы над биографическими документами. Но у него осталась доля неуверенности — не встревожил ли он свою публику, вместо того чтобы дать ободряющее, укрепляющее душу чтение.

Он вспомнил о работе над «Жизнью Микеланджело» в 1920 году в письме к литератору и публицисту Марселю Мартине:

«Я взялся за эту тему, надеясь найти героя, обладающего атлетическим моральным здоровьем колоссов Сикстинской капеллы, — можно сказать, флорентинского Генделя. Я был потрясен, когда увидел подлинного Микеланджело. Вначале мне просто не верилось, я говорил себе: «Да нет, не может быть, что были просто часы слабости, редкие моменты в жизни этого борца». Но по мере того, как я продвигался дальше, пропасть все углублялась. У меня голова начинала кружиться. И нельзя было отрицать существование бездн в угоду тогдашнему моему желанию — опереться на руку великого Друга. Страдание так и поднималось со страниц всех его писем и стихов, которые мне приходилось читать. Поверьте, что я буквально ходил как ошарашенный в течение тех двух лет, которые мне понадобились, чтобы изучить и воскресить эту богом проклятую душу. Ох! Мои знаменитости, мои «Великие люди» доставили мне жестокие переживания! Когда я взялся за серию, объявленную на обложке бетховенского выпуска «Тетрадей», я не подозревал, с какими причудами, с какими болезнями мне придется столкнуться. В конце концов я отказался от этого замысла, потому что нашел больше полезного (для тех, кого хотел поддержать), и даже больше здорового и подлинного героизма, у скромных и молчаливых, у «незаметных героев» — таких, как Готфрид, Шульц, Антуанетта, и даже старая мама Кристофа — а не у циклопов и полубогов. А если вернуться к Микеланджело — я написал не то, что *хотелось*, а то, что было *надо*. Он взял меня за горло и заставил передать его крик»*.

Идеальных героев не существует. Безоблачных чело-

веческих судеб не бывает. Да, исследовать жизнь великих людей, конечно, нужно, но не для того, чтобы воздвигать памятники недостижимым героям. Даже о самых светлых гениях человечества необходимо говорить всю правду, ничего не приукрашивая и не упрощая. Пройдут годы, и Роллан возьмется за многотомный исследовательский труд о Бетховене, чтобы раскрыть его облик более разносторонне, с большей глубиной, чем это было сделано в маленькой «Жизни Бетховена». Пока что ему больше хотелось писать о Бетховене XX века, Жан-Кристофе, прослеживая судьбу талантливой личности на фоне разнообразных типов и проблем современного общества.

Но все же Роллан еще раз оторвался от своего большого романа, чтобы подготовить биографическую работу «Жизнь Толстого».

Роллан сохранял любовь и благодарность к великому русскому писателю, несколько раз пытался — правда, безуспешно — возобновить переписку. В редакции «Двухнедельных тетрадей» он однажды увидел фотографию, привезенную кем-то из России: Толстой и Горький стояли рядом в саду Ясной Поляны. Какие мысли вызвал у Роллана этот снимок? Не позавидовал ли он втайне русскому сверстнику, незнакомому собрату, который может вот так, запросто, беседовать с автором «Войны и мира», быть гостем в его доме? Так или иначе, Роллан взял себе фотографию и повесил ее над своим рабочим столом на бульваре Монпарнас.

28 октября 1910 года Роллан был выбит из привычной жизненной колеи неожиданной бедой. Автомобиль, проносивший на полной скорости, сшиб его с ног. В течение нескольких недель пришлось лежать без движения, пока не срослись переломанные кости левой руки и ноги. Его перевезли на квартиру родителей, и мать ухаживала за ним.

Как только Роллан, слегка оправившись от нервного шока, смог снова читать газеты, его поразили сообщения, напечатанные на видном месте, под сенсационными заголовками: «Исчезновение Толстого», «Льва Толстого все еще не нашли», «Толстой блуждает», «Трагедия в доме Толстых»... В течение двух последних месяцев 1910 года имя Толстого не сходило со страниц мировой печати. Его внезапный и загадочный уход из Ясной Поляны, болезнь, смерть, похороны — все это широко освещалось,

обсуждалось, комментировалось вкривь и вкось. Журналисты, потакавая любопытству обывателей, пытались проникнуть в тайны семейной драмы Толстого. Реакционная печать даже в траурные дни не удержалась от нападков на русского «нигилиста» и «мятежника».

Первой работой, за которую взялся Роллан еще до окончательного выздоровления, был биографический очерк о Толстом, вначале задуманный как статья для «Ревю де Пари», потом разросшийся в книгу.

Одновременно с Ролланом книгу о Толстом опубликовал Андре Сюарес. Роллан продолжал дружески общаться с ним, нередко заботился об устройстве его литературных дел — например, привлек к сотрудничеству в «Двухнедельных тетрадах». Но между ними нарастали идейные расхождения, настолько серьезные, что они со временем разрушили их дружбу. Глубина этих расхождений становится очевидной, если сопоставить обе книги о Толстом.

Сюарес относился резко неприязненно к социализму и рабочему движению. В его статьях и лирико-философских эссе все более заметно сказывались настроения болезненного мистицизма, высокомерное презрение к «толпе». Толстого Сюарес любил с юных лет, но, в сущности, плохо понимал. Его книга «Живой Толстой» написана восторженно по тону, но поверхностно. Толстой в изображении Сюареса — величественная и таинственная индивидуальность, изолированная и от русской жизни и от русского народа.

Роллан подошел к своей теме необычайно серьезно. Он изучил все материалы и документы о Толстом, какие мог достать в Париже. В его книге сказались вместе с тем многолетние размышления над судьбой и мастерством дорогого ему русского писателя.

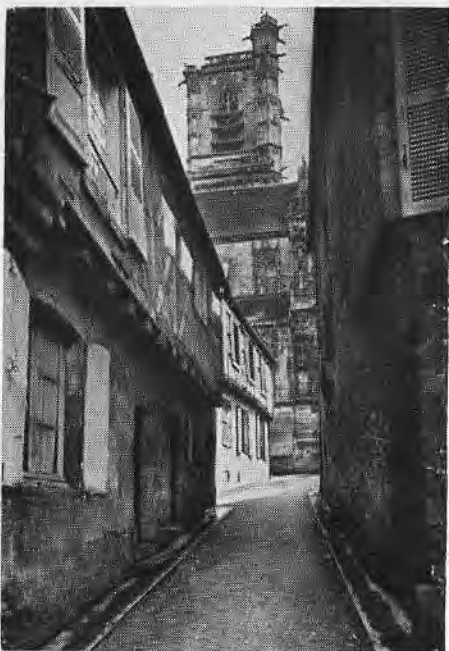
Чем объяснить, что всемирно прославленный художник, аристократ по рождению и воспитанию в последние десятилетия своей жизни резко порвал с привычными взглядами своей среды? Западные критики и журналисты терялись в догадках, ссылались на странности гения или на причуды славянской души. Роллан близко подошел к верному решению вопроса: путь Толстого неотделим от судеб России в эпоху крутого исторического перелома. Великий писатель не мог остаться равнодушным к революционному брожению, которое охватило на рубеже столетий миллионы обездоленных жителей России. «Аван-



Ромен Роллан перед поступлением в Высшую Нормальную Школу.



Мать Роллана.



Кламси. Улица.



Кламси. Церковь св. Мартина.



Студенческий билет Роллана.



Роллан (стоит третий справа) среди студентов Высшей Нормальной Школы.



София Гуеррьери-Гонза-
га (с портрета Ф. Лен-
баха).



Мальвида фон Мейзен-
бург (с портрета Ф. Лен-
баха).



Окрестности Рима (снимок, купленный Ролланом в Риме
в 1889 г.).



Ромен и Клотильда Роллан (1892).

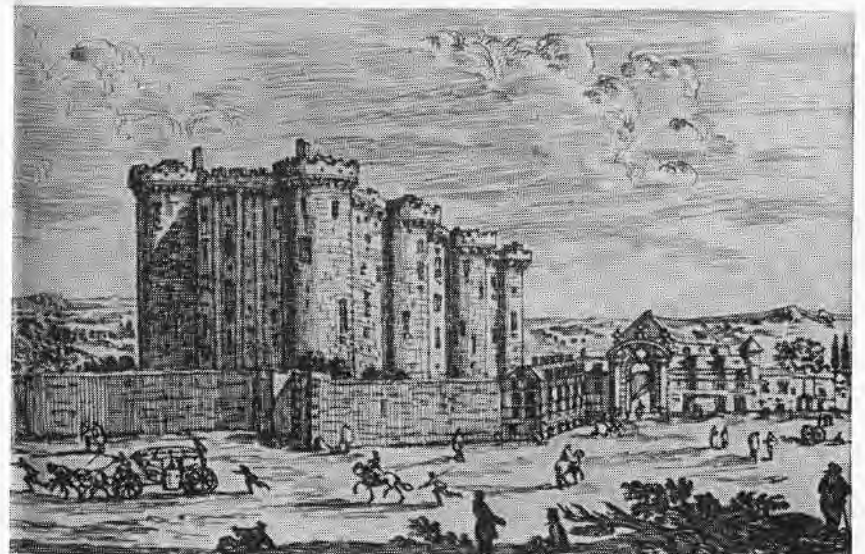


Афиша спектакля «Волки».

На пороге нового века.



Бастилия. Старинная гравюра.





В пору работы над «Жан-Кристофом».



На балконе парижской квартиры.

«Святой Христофор». Картина Сано ди Пьетро.



Au-dessus de la mêlée

O jeunesse héroïque du monde ! Avec quelle joie prodigieuse elle verse son sang dans la terre affamée ! Quelles moissons de sacrifices fanchées sous le soleil de ce splendide été ! Vous, tous, jeunes hommes de toutes les nations, qu'un commun idéal unit tragiquement aux peuples, jeunes frères ennemis — Slaves qui courez à l'assaut de vos races, Anglais qui combattez pour l'honneur et le droit, peuple belge patriote, qui oses tenir tête au colosse germanique et défendez contre lui les Thermopyles de l'Occident, Allemands qui luttez pour défendre la patrie et la ville de Rant contre le torrent des cavaliers cosaques, et vous, surtout, mes jeunes compagnons français, qui depuis des années me confiez vos rêves et qui m'avez stupéfié, en partant pour le feu, vos sublimes idées, vous en qui reflerait la lignée des héros de la Révolution — comme vous m'êtes chers, vous qui allez mourir ! A l'heure même où nous scissions ces lignes, Charles Péguy mourait. Comme vous nous vengez des années de scepticisme, de velléités jadis semées où nous avons grandi, protégeant de leurs mains notre foi, votre foi, qui triomphe avec vous sur les champs de bataille ! Guerre de revanche, a-t-on dit... De revanche, en effet, mais non comme l'entend un chauvinisme étroit ; revanche de la foi contre tous les égarements des sens et de l'esprit, des abîmes de soi aux idées éternelles...

« Qu'est-ce que nos individus, nos œuvres, devant l'immensité du but ? » m'écrivit un des plus puissants romanciers de la jeune France, — le capitaine *** — La guerre de la Révolution contre le féodalisme ne reviens. Les armées de la République vont assurer le triomphe de la démocratie en Europe et parfaire l'œuvre de la Convention. C'est plus que la guerre inexpiable au foyer, c'est le réveil de la liberté...

« Ah ! mon ami, m'écrivit un autre de ces jeunes gens, haut esprit, âme pure, et qui sera, à l'été, le premier critique d'art de notre temps, — le lieutenant ***. Quelle race admirable ! Si vous voyiez, comme moi, notre armée, vous seriez enflammé d'admiration pour ce peuple. C'est un clan de Monténégrins, un clan héroïque, grave, un peu silencieux. J'ai vu partir les trois régiments de mon corps, les premiers, les hommes de l'arrière, les jeunes gens de vingt ans, d'un pas ferme et rapide, sans un cri, sans un geste, avec l'air décidé et pâle d'éphébes qui vont au sacrifice. Puis la réserve...

« Ah ! mon ami, m'écrivit un autre de ces jeunes gens, haut esprit, âme pure, et qui sera, à l'été, le premier critique d'art de notre temps, — le lieutenant ***. Quelle race admirable ! Si vous voyiez, comme moi, notre armée, vous seriez enflammé d'admiration pour ce peuple. C'est un clan de Monténégrins, un clan héroïque, grave, un peu silencieux. J'ai vu partir les trois régiments de mon corps, les premiers, les hommes de l'arrière, les jeunes gens de vingt ans, d'un pas ferme et rapide, sans un cri, sans un geste, avec l'air décidé et pâle d'éphébes qui vont au sacrifice. Puis la réserve...

...rât été la plus belle que pût rêver une race. Elle eût couronné la vie du grand peuple des croisées. Elle eût été sa suprême victoire... Vainqueurs ou vaincus, vivants ou morts, soyez heureux ! Comme me l'a dit l'un de vous, j'en m'embrassant étroitement, sur le terrible sentier...

« Il est beau de se battre, les mains pleines et le cœur innocent, et de faire avec sa vie la justice divine... »

Vous faites votre devoir. Mais d'autres, l'ont-ils fait ?

Osez dire la vérité aux aînés de ces jeunes gens, à leurs guides moraux, aux maîtres de l'opinion, à leurs chefs religieux ou laïques, aux Eglises, aux penseurs, aux tribuns socialistes. Quel l'vous aviez, cette fois, de telles richesses vivantes, cotéteurs d'histoire ! A quoi les dépenses vous ? Cette jeunesse avide de se sacrifier quel but avez-vous offert à son dévouement magnanime ? L'égoïsme mutuel de ces jeunes héros ! La guerre européenne, cette malédiction sacrée, qui offre le spectacle d'une Europe démentie, montant sur le bûcher et se déchirant de ses mains, comme Hercule !

Ainsi, les trois plus grande peuples d'Occident, les gardiens de la civilisation, s'acharnent à leur ruine et appellent à la rescousse les Cosaques, les Turcs, les Japonais, les Cinghalais, les Soudanais, les Sénégalais, les Marocains, les Egyptiens, les Sikhs et les Cipayes, les barbares du globe et ceux de l'équateur, les âmes et les peaux de toutes les couleurs ! On dirait l'empire romain, au temps de la Tétrarchie, faisant appel, pour s'entre-dévoiler, aux bords de tout l'univers. Notre civilisation est-elle donc si solide que vous ne craigniez pas d'ébranler ses piliers ? Est-ce que vous ne voyez pas que si une seule colonne est ruinée, tout s'écroule sur vous ? Erait-il impossible d'arrêter, entre vous, sinon à vous aimer, du moins à supporter, chacun, les grandes vertus et les grands vices de l'autre ? Et n'auriez-vous pas dû vous appeler à rembourser dans un esprit de paix (vous ne l'avez même pas, sincèrement, tenté), les questions qui vous divisaient, celle des peuples annexés contre leur volonté, — et la répartition équitable entre vous du travail forcé et des richesses du monde ?

« Ces guerres, je le sais, les chefs d'Etats qui en sont les auteurs criminels n'ont en acceptant la responsabilité, chacun s'efforce tournoisement d'en rejeter la charge sur l'adversaire. Et les peuples qui suivent, dociles, se désignent en disant qu'une puissance plus grande que les hommes a tout conduit. On entend, une fois de plus, le refrain séculaire : « Fatalité de la guerre, plus forte que toute volonté ». — le vieux refrain des utopiques, qui font de leur falbalas un dieu, et qui l'adorent. Les hom-

« Etat, à la suite des armées. Dans l'élite chaque pays, pas un qui ne proclame et soit convaincu que la cause de son pays est la cause de Dieu, la cause de la liberté et du progrès humains. Et je le proclame aussi... »

Des combats singuliers se livrent en les métaphysiciens, les poètes, les historiens. Eisen contre Bergson, Hauptmann contre Maeterlinck, Rolland contre Hauptmann, Wells contre Bernard Shaw, Kipling et d'Annamis, Dehaene et de Régulier du tract des byzons de guerre, Barrès et Merimee entonnent des poèmes de héros. J'ai vu une fugue de Bach et l'orgue bristole (Deutschland über Alles ! le vieux philippe Wundt, âgé de quatre vingt-deux ans appelle de sa voix cassée les étudiants Leipzig à la guerre sacrée ». Et tous, tous aux autres se lancent le nom de « la terre ». L'Académie des sciences morales de Paris déclare, par la voix de son président, Bergson, que « la lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la barbarie ». L'histoire allemande, par la bouche de Karl Lamprecht, j'entend que « la guerre est engagée entre le germanisme et la barbarie, et que les combats présents sont la suite logique de ceux de l'Allemagne à l'égard, au cours des siècles, contre les Huns, et contre les Turcs ». L'Académie, après l'histoire, descendant du lieu, proclame, avec E. Perrier, directeur du Muséum, membre de l'Académie des sciences, que les Prussiens s'approprient pas à la race aryenne, qu'ils descendent en droite ligne des hommes de l'Age pierre, appelés Allophytes, et que « le seul soldatisme dans la base, régal de la guerre à l'origine, rappelle la mort de la crâne de l'homme journal de la Chapelle-aux-Saxons, au cas du prince de Bismarck ».

Mais les deux puissances morales, de cette guerre contrepoussée à la plus révoltée faiblesse, c'est le christianisme, et c'est le socialisme. Ces apôtres rituels de l'internationalisme religieux ou laïque se sont montrés soudain les plus ardents nationalistes. Hervé demande à mourir pour le drapeau d'Autriche. Les plus dépositaires de la pure doctrine, les socialistes allemands appellent au Reichstag les crédits pour la guerre, se mettent aux ordres du ministre prussien, qui se sert de leurs journaux pour répandre ses menaces jusque dans les casernes, et qui les expédie, comme d'agents secrets, pour tâcher de débattre le peuple italien. On a cru, un moment pour l'honneur de leur cause, que deux ou trois d'entre eux s'étaient fait tuer, refusant de porter les armes contre les frères. Ils protestent, indignés : tous achètent l'arme au bras. Non, Liebknecht n'est pas mort pour la cause socialiste. C'est le député Frank, le principal champion de l'union franco-allemande, qui est tombé sous les balles françaises, pour cause de militarisme. Car ces hommes, qui n'ont pas le courage de mourir pour le loi, ont celui de mourir pour la loi d'un tiers.

Quant aux représentants du France la Paix, prêtres, pasteurs, évêques, et par milliers qu'ils vont dans la mêlée...

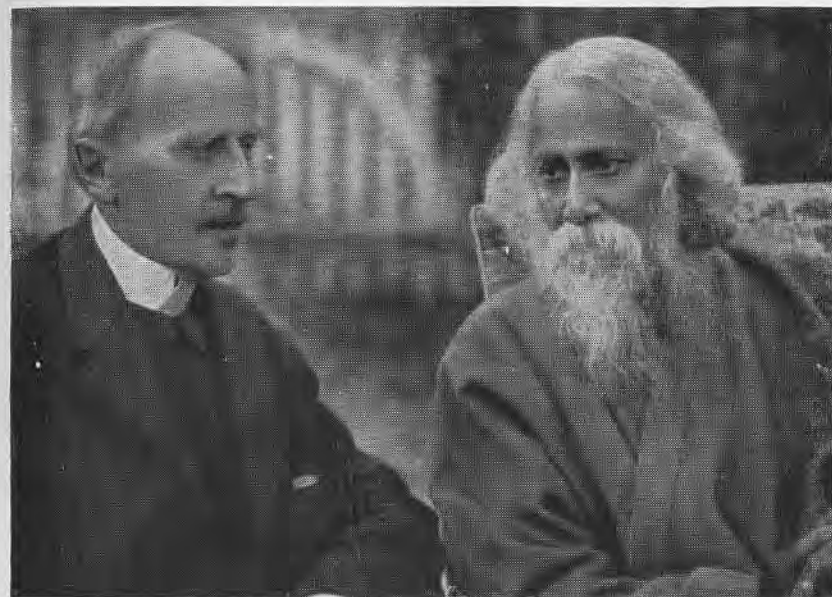


Мадлена Роллан (слева), Ромен Роллан, Рабиндранат Тагор.

«Над схваткой» в «Журнал де Женев».



Роллан и Ганди
в Вильневе.



Роллан и Тагор в Виль-
неве.



М. П. Кудашева (1929).



Иллюстрация Е. Кибрика к «Очарованной душе».



Роллан и Марсель Кашен на спектакле «Четырнадцатое июля».

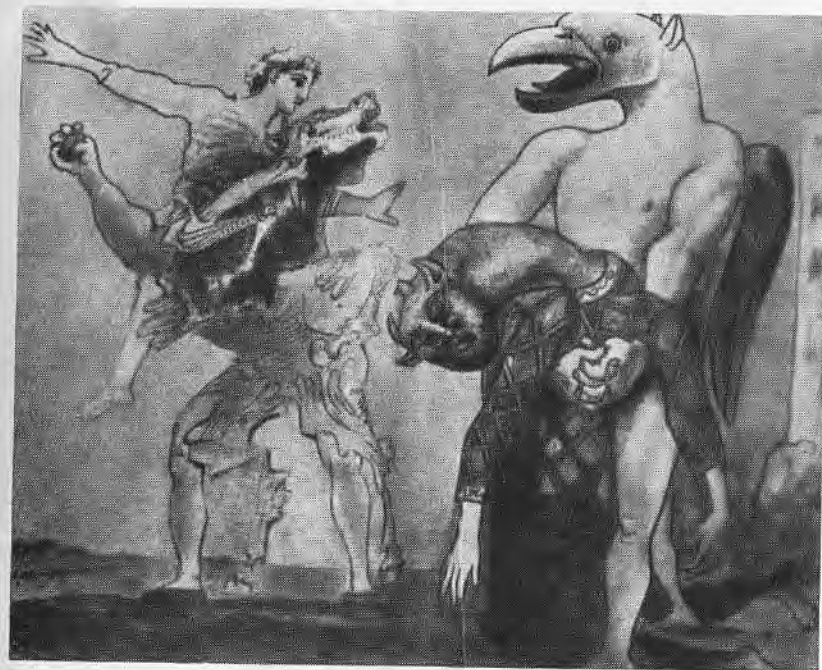


Рисунок Пикассо — занавес к постановке «Четырнадцатого июля».



гарда этой грозной армии бедняков не мог не увидеть Толстой из окон своей Ясной Поляны...»

Роллан воздержался в своей книге от критики толстовства как доктрины — хотя много раз, и до и после смерти Толстого, говорил в беседах и письмах, что не согласен с его религиозным учением. Он писал потом во «Внутреннем путешествии»: «Я... из сыновней почтительности к любимому гению обошел молчанием то, что нас разделяло». Но все же он дал понять, что всякий раз, когда «вера Толстого пытается прилепиться к его реализму», — это ведет гениального художника к противоречиям и натяжкам. Вместе с тем сила и своеобразие Толстого коренятся в его невидимых связях с трудовыми массами России. «Не только языком и приемами описания обязан Толстой народу; он обязан ему многими своими вдохновениями».

Роллан написал о Толстом, как художник о художнике, высказал немало тонких и глубоких суждений о тайнах толстовского искусства, психологическом мастерстве, пейзаже, об оригинальной структуре его романов. Накануне завершения работы над «Жан-Кристофом» Роллан особенно живо чувствовал, сколь многому он сам как романист научился у автора «Войны и мира».

Но он не считал себя — и не был — подражателем Толстого и вообще не хотел подражать кому бы то ни было.

Десятилетия спустя, в 1939 году, Роллан ответил на вопрос одного из своих корреспондентов, Пьера Лубье: не сложился ли «Жан-Кристоф» под влиянием «Вильгельма Мейстера» Гёте? «Я, конечно же, не почерпнул замысел «романа-реки» в Германии, в «Вильгельме Мейстере», которого я оценил далеко не сразу. Если бы я хотел следовать чьему-то образцу, то я нашел бы образец у Толстого. Но на самом деле Жан-Кристоф сам властно встал передо мною — в той форме, которая от него неотделима» *.

2

В картинной галерее Сиены — одного из первых итальянских городов, где молодой Ромен Роллан побывал еще до приезда в Рим, — находится картина художника XV века Сано ди Пьетро «Святой Христофор». На первом

плане — река, устремленная своим течением прямо на зрителя. Высокий мужчина с младенцем на плечах переходит реку. Он погружен в воду по колена. «Его громадное тело с богатырскими плечами, подобно утесу, возвышается над водой... Среди шума потока он слышит только спокойный голос младенца, который держит в своем кулачке курчавую прядь волос гиганта и повторяет: «Вперед!» Он идет вперед, спина его сгорблена, глаза устремлены на темный берег, крутые очертания которого начинают проступать вдали».

Слова, взятые здесь в кавычки, — из финала «Жан-Кристофа». В кратком аллегорическом эпилоге романа Кристоф-Христофор переносит через бурную реку младенца — Грядущий день. Возможно, что в этом эпилоге, написанном через тридцать с лишним лет после первой поездки Роллана в Италию, ожило одно из художественных впечатлений его молодости: некоторые детали тут близко совпадают с картиной Сано ди Пьетро. Впрочем, образ святого Христофора с младенцем на руках воплощается в европейском искусстве не раз; статуя этого святого стоит и в соборе Парижской Богоматери. Так или иначе — аллегорическая концовка «Жан-Кристофа» очень важна для понимания романа в целом, и сам Роллан придавал ей серьезное значение. Недаром он, печатая свое повествование в «Двухнедельных тетрадах», заканчивал каждую книгу латинским двустипием, высеченным на постаменте статуи святого Христофора в готических храмах. Эти строки стоят и перед эпилогом: «В день, когда ты будешь взирать на изображение Христофора, ты не умрешь дурной смертью».

Герой романа, новый Бетховен, должен был родиться немцем, — это было ясно с самого начала. Роллан дал ему фамилию Крафт (то есть Сила) и некоторое время колебался в поисках подходящего имени. Оно определилось в 1903 году — в ходе работы над первой книгой: Жан-Кристоф — «крепкое, старинное имя», как писал Роллан Софии Бертолини. А потом, видимо, вспомнилось и латинское двустипие, и герой-музыкант прочно ассоциировался в сознании автора с легендарным богатырем, олицетворяющим стойкость, деятельную гуманность.

Уже в момент первоначального «откровения» на Яникульском холме герой этот рисовался Роллану прежде всего как человек со смелым, открытым взглядом, паря-



Маленький Жан-Кристоф (илл. Ф. Мазереля).

щим «над временем». Человек, который видит и нелюбопытно судит современную Европу.

Независимый ум, находящийся в оппозиции к обществу, — это само по себе было бы не так уж ново. Западноевропейская литература разных эпох породила уже немало критически мыслящих личностей — от байроновского Чайльд-Гарольда до профессора Бержера из «Современной истории» Анатоля Франса.

Однако Жан-Кристоф — личность не только мыслящая, но и активная. Он не только видит и судит, но и — на свой лад — действует. Действует прежде всего в той сфере, которая была наиболее близка самому Роллану: в области искусства, музыки. И, подобно Роллану, он рассматривает свое искусство как *служение людям*.

Такого героя еще не было в мировой литературе.

Ромен Роллан сравнивал свой роман с четырехчастной симфонией: у каждой части — свой ритм и темп, свое господствующее настроение. В соответствии с этим Роллан впоследствии в окончательной редакции «Жан-Кристофа» поделил десять книг романа на четыре больших тома. Первая часть («Заря», «Утро», «Отрочество») говорит о юных годах Кристофа, передает пробуждение его чувств и личности. Напряжение постепенно нарастает, вторая часть («Бунт», «Ярмарка на площади») насыщена духом острой борьбы, — Кристоф восстает против общества. Третья часть, где вступают в действие французские друзья героя («Антуанетта», «В доме», «Подруги») спокойнее предыдущей, тут преобладает раздумье, душевная сосредоточенность, возникают темы дружбы и чистой любви. И наконец, четвертая часть («Неопалимая купина», «Грядущий день») — картина опустошительных душевных бурь, разрешающихся мирным, ясным финалом.

Такое сравнение романа с симфонией может показаться неоправданным и натянутым: литература и музыка — искусства очень несхожие, во многом даже несопоставимые, — у каждого из них свои законы. Однако Роллан много раз говорил о музыкальной природе своего творчества. К его признаниям стоит прислушаться — уже хотя бы потому, что в них отражены важные стороны его писательской личности.

«Если сказать правду, — сообщал Роллан критику Жану Боннеро в 1909 году, — я работаю таким образом. По духовному складу я музыкант, не живописец. У меня прежде всего зарождаются, как туманное *музыкальное* впечатление, произведение в целом, потом его главные мотивы, и в особенности ритм или ритмы, определяющие не столько ход отдельной фразы, сколько чередование томов в произведении, глав в томе и абзацев в главе. Я отдаю себе отчет, что это — закон, подсказанный мне инстинктом; он подчиняет себе все, что я пишу». А в ноябре 1911 года Роллан, посылая том «Неопалимой купины» итальянскому журналисту Дж. Преццоллини, предупреждал его: «Читая эту страницу симфонии, не забудьте, пожалуйста, что ее (как и другие страницы) нельзя воспринимать изолированно: она — переход от одного этапа к другому, модуляция, диссонансы которой, подготовленные предшествующими аккордами, разрешатся в последнем томе».

Родство «Жан-Кристофа» с музыкальным произведением — не только в «симфонической структуре», которой автор, как мы видим, придавал немалое значение. Это родство сказывается и в самой манере письма, взволнованной, приподнятой, местами даже близкой к стихотворной речи. Роллан иногда называл свое произведение героической песней, иногда — поэмой. Ему хотелось создать повествование необычного типа: не просто историю одной человеческой жизни или картину будней, но и нечто более значительное, масштабное.

Поэтически повышенный тон романа естествен уже потому, что в нем идет речь о мастере искусства, о судьбе сильного творческого духа. Однако «Жан-Кристоф» не только жизнеописание гениального музыканта, но и своего рода художественный синтез эпохи.

Мы помним, что XX век осознавался Ролланом как век великих потрясений и перемен. Уже этим диктовались поиски непривычного, неизбитого стиля, который помог бы передать духовные и общественные коллизии нового столетия. «В переломную эпоху, такую, как наша, — писал Роллан Софии Бертолини в августе 1903 года, — действие превыше всего, и первое произведение искусства, которое надо создать, это — новый Человек». Мысль о «новом Человеке», о «настоящем Человеке» одушевляла Роллана в ходе работы, определяя общую напряженную, подчас трагедийную, но вместе с тем жизнеутверждающую тональность его большого повествования.

Роллан обижался на тех французских рецензентов, которые высказывали подозрение, будто «Жан-Кристоф» был начат наудачу, без заранее обдуманного плана. «Я принадлежу к старинной породе бургундских строителей, — гордо утверждал он в послесловии к русскому изданию 1931 года. — Никогда я не начал бы произведения, не упрочив заранее его фундамента и не определив всех его основных очертаний». Он писал об этом и еще гораздо раньше, в январе 1913 года, в письме к критику-другу, швейцарцу Полю Сейпелю. «Я точно знал, каков будет порядок и ход событий; и, когда я начал публиковать «Зарю» (в феврале 1904 года в «Тетрадах»), мне уже было известно, что я пойду к «Ярмарке на площади» и к «Неопалимой купине». Естественно, что в пути мы с Кристофом встретили много разных лиц, друзей или врагов, которых мы заранее не предвидели. Или которые заинтересовали нас больше, чем можно было предполагать;

да и мир вокруг нас изменился; и мы сами тоже. Никогда мы не старались замкнуть себя в жесткие рамки; но ложе реки было уже прорыто до самого моря (перечитайте эпизод из «Зари», где маленький Кристоф мечтает на лестнице у окна). Река ни разу не отклонилась от своего русла, хотя и выходила порой из берегов»*. Любопытно и другое признание — в письме к Сейпелю от 30 декабря 1912 года: «Я старался сделать образ Кристофа как можно более живым, но он — не только индивидуальность, но и тип; я бы сказал даже символ, если бы не чувствовал отвращения к этому слову. Я не хотел создать реалистическое произведение. Я хотел, опираясь на реализм, подняться в сферы чистой мысли. Реализм — это земля, на которой можно прочно стоять. Но, как говорит Бетховен, наше царство в воздухе...»*.

Тут необходимо пояснение. Слово «реализм» в западной критике несколько десятилетий назад обычно употреблялось в гораздо более узком смысле, чем мы понимаем его сейчас. В наше время под этим термином чаще всего подразумевают искусство, которое исследует и изображает человека в его общественных связях; в этом смысле к области реализма относится, скажем, и «Шагреновая кожа» Бальзака и даже фантастические романы Уэллса, где в иноказательной форме раскрываются реальные противоречия капиталистического общества. В эпоху Роллана под термином «реализм» чаще всего понимали точное жизнеподобие, достоверность, входящую до мельчайших деталей. Сам Роллан относился к слову «реализм» настороженно и редко им пользовался. Если он и считал себя реалистом, то — особого рода (он писал Софии Бертолини в 1904 году, что хотел бы «вернуть слову *реалист* его благородство и величие»). Он не стремился к дотошному воспроизведению фактов; он хотел подняться над повседневностью — и передать вместе с тем глубокий смысл эпохи, ее динамику, направление развития.

В авторском плане «Жан-Кристофа» — даже и в том первоначальном замысле, который возник в 1890 году на Яникульском холме, — имелась известная двойственность. Герой должен был «парить над временем» — и судить *современную* Европу. Мы чувствуем эту двойственность и в той характеристике романа, которая дана Ролланом в письме к Сейпелю: с одной стороны, повествование поднимается в сферы «чистой мысли», с дру-

гой — как бы то ни было, включает факты современной жизни, опирается на реализм!

Разные страницы, разные главы «Жан-Кристофа» и в самом деле очень неоднородны. Мы нередко видим налет отвлеченности, вневременности — там, где идет речь об интимном, творческом мире героя, а подчас и в авторских размышлениях и отступлениях. А на множестве других страниц мы находим точные приметы эпохи, бытовые и политические реалии, подлинные факты современной Роллану действительности.

В письме к Марселю Мартине от 23 марта 1920 года Роллан говорит о «Жан-Кристофе»: «Я считаю, что слова «история», «историзм», «исторический» выражают — пусть не в полной мере, но лучше, чем слово «роман», — одно из основных свойств произведения и его автора»*.

Но историзм Роллана — тоже особого рода.

Когда происходит действие «Жан-Кристофа»? В первых книгах, где преломляются эпизоды биографии Бетховена (отчасти и других великих немецких композиторов) и идет речь о гениальном ребенке, обреченном услуждать слух захолустных деспотов, местами кажется, будто мы находимся в Германии начала XIX или даже XVIII века, отсталой, полуфеодальной. Но повествование движется дальше, герой сталкивается и с социал-демократатами и с кружком декадентствующей молодежи, чувствует, как нарастает в немцах дух шовинизма и агрессии, — становится очевидным, что перед нами Германия Вильгельма II. Конфликт Кристофа с немецким филлистерством и мелочной тиранией властей достигает взрыва в конце четвертой книги («Бунт»); молодой музыкант, который, заступившись за честь деревенской девушки, ввязался в драку с солдатами и вынужден покинуть свою страну, попадает во Францию, — и в пятой книге («Ярмарка на площади») встает описанный с памфлетной достоверностью литературно-музыкальный Париж начала девятисотых годов. В это время Кристофу двадцать лет с небольшим. После многих драматических перипетий и скитаний Кристоф, потерявший своего лучшего друга Оливье в уличной схватке с полицией, переживший в Швейцарии мучительную страсть к замужней женщине Анне Браун, а потом нашедший чуткую, дружескую душу в итальянской аристократке Грации, достигает широкого признания как композитор, возвращает-

ся в Париж... «Кристоф не считает более убегающих лет...» Так начинается последняя книга. И автор повествования тоже их не считает. С момента первого знакомства Кристофа с парижской «ярмаркой на площади» до его смерти проходит не менее трех десятилетий, — он умирает пожилым человеком. А роман был закончен Ролланом в 1912 году. Иначе говоря, действие последней книги перенесено в будущее.

Было ли у Роллана осознанное желание заглянуть в будущее, заставить читателя задуматься над ним? Очевидно, да. И конечно, принципиально важно, что Жан-Кристоф, «настоящий Человек», выходит за рамки своего исторического времени, шагает в «грядущий день». Но писателя интересовали не частности, не детали (конечно, и не точная хронология событий), а самые главные, общие тенденции исторического развития Западной Европы в новом столетии. Он выдвигал на первый план то, что считал действительно важным: нарастающий моральный и духовный распад правящих классов, неумолимое обострение социальных противоречий, угрозу мировой войны. И вместе с тем в далекой, неясной перспективе — грядущее революционное обновление жизни. В этих главных, решающих чертах Ромен Роллан увидел свою эпоху прозорливо, реалистически верно.

Роллан настаивал на том, что не следует предъявлять к его произведению тех требований, которые предъявляют обычно к роману. «Это поэма, своего рода интеллектуальная и нравственная эпопея современной души... Это — форма искусства столь новая для Франции, что ее примут не сразу — для этого потребуется время», — писал он Софии Бертолини в 1908 году. Очень показательно, что Роллан рассматривал своего Жан-Кристофа не просто как сильную индивидуальность — музыканта, композитора, но и как тип «современной души»: мыслящего, ищущего, творческого человека, несущего в себе дух исторической ломки, присущей XX столетию.

В критике — да и в письмах, с которыми обращались к Роллану его друзья, читатели, а затем и исследователи его творчества, — много раз поднимался вопрос о реальных прототипах персонажей «Жан-Кристофа». Не является ли, например, Оливье Жаннен, человек утонченного и хрупкого душевного склада, одаренный литератор и знаток музыки, изображением самого автора? И не похо-

жа ли Антуанетта, его преданная сестра-друг, на сестру писателя Мадлену? И не нарисована ли Клотильда Бреаль в облике Юдифи Мангейм, избалованной и властной девушки из богатой еврейской семьи? (О том, не навеян ли образ Грации Софией Бертолини, близкие писателю лица даже и не спрашивали: это разумелось само собой). Не говорим уже о различных эпизодических фигурах, литераторах и музыкантах из пятой книги эпопеи: тут любознательные читатели особенно старательно доискивались, с кого это романист писал портреты, а быть может, и карикатуры.

В 1906 году, в самый разгар работы над повествованием, Роллан утверждал в письме к Габриелю Моно: «Жан-Кристоф» не роман «с ключом»; он стремится быть правдивым в смысле общей правды, а не в смысле анекдота; он хочет рисовать типы, а не просто индивидуальности. Неизбежно, что все написанное мною питается моим опытом и что все мои портреты содержат реальные черты, заимствованные, по большей части неосознанно, у тех или иных знакомых мне лиц; но нигде у меня нет портретов тех или иных определенных людей»*. Два года спустя Роллан в письме к музыканту Э. Варезу опровергал слухи, будто он в образе Гаслера — талантливого композитора, ставшего равнодушным музыкальным снобом, — изобразил Рихарда Штрауса. «В Гаслере, как и в любом из моих персонажей, есть черты, которые я наблюдал в жизни, у определенных лиц, но Гаслер, как и все мои персонажи, — создание моего вымысла»*.

К проблемам прототипов Роллан вернулся много лет спустя, в 1925 году, отвечая на вопросы Франса Мазерля, работавшего над иллюстрациями к «Жан-Кристофу». «Очень трудно назвать вам людей, которых я имел в виду в «Ярмарке на площади». Не люблю излагать такие вещи на бумаге, хоть и знаю, насколько я могу вам довериться. На самом деле я, как правило, делал из двух предметов нечто третье, собственного производства...». Лица, подобные дельцу Кону-Гамильтону, встречаются часто, — Роллан советовал художнику оглянуться вокруг себя, чтобы найти оригинал для зарисовки. В самой действительности найден и один из главных противников Жан-Кристофа, светский скептик, литературный и политический карьерист Леви-Кэр. «Льюисен Леви-Кэр сделал блистательную карьеру. Он в Парламенте, — само собой разумеется, он и социалист, и миллионер, — само собой

разумеется, он и в министры выйдет, — кто его не знает? Тонкие черты, тонкие усики, голос как флейта и сам похож на флейту». Что до Оливье и Антуанетты — Роллан рекомендовал Мазерелю не искать подходящие лица в Кламси, а скорей присмотреться к старинным церковным скульптурам. «Изобразить Оливье — еще труднее и важнее, чем изобразить Антуанетту. — Ибо он — один из главных мотивов симфонии, вторая ее тема... Оливье представляет тип очень реальный и очень важный для Франции. Не ошибитесь насчет него! В некотором смысле он по облику оригинальнее Кристофа (ведь Кристоф — тип бетховенский, более известный)» *.

Казалось бы, ясно. Ни в одном из персонажей «Жан-Кристофа» нет прямого портретного сходства с реальными лицами и в основе любого или почти любого из примерно полутора десятков персонажей романа — реальные лица, свободно переработанные творческой фантазией автора. (Лишь в одном случае Роллан признавал непосредственное совпадение образа с прототипом: в облике француженки-актрисы Коринны, жизнерадостной, озорной, прямодушной, он нарисовал первую исполнительницу роли Аэрты, Кору Лапарсерй.)

И все же — не так уж ясно! Присутствует ли в повествовании сам Ромен Роллан как живая личность? И каково соотношение автора и главного героя, вернее, автора и двух главных героев?

Близость Роллана и Оливье, так сказать, лежит на поверхности, она очевидна. В истории жизни Оливье рядом с вымыслом много прямых автобиографических черт. Происхождение из старинного провинциального рода сельских ремесленников, писцов и нотариусов; детство, проведенное в тихом городке, омраченное болезнями и постоянным страхом смерти; напряженная внутренняя жизнь подростка, влюбленного в поэзию и музыку, пытавшегося создавать себе особый, вымышленный мир, рано ощутившего страсть к писательству; юношеский религиозный кризис и отход от католицизма; мучительные приемные экзамены в Нормальную Школу, которые удалось выдержать с великим трудом и не с первого раза; нелюбовь к педагогической работе, преподавание морали ради заработка, нелегкое начало литературной деятельности в качестве рецензента, музыкального и художественного обозревателя... Да и история женитьбы Оливье на Жаклине, их недолгое счастье и разрыв — все это

очень похоже на семейную жизнь Роллана. Еще важнее, что Оливье напоминает Роллана многими чертами внутреннего, душевного облика — сдержанностью, душевной ранимостью, отвращением ко всяческой суете, мягкостью характера. «Ненавижу ненависть» — эти слова произносит Оливье, но их можно найти и в письмах Роллана.

Но все-таки главный герой, основная тема романа-симфонии не Оливье, а Жан-Кристоф! Он превосходит своего друга не только силою творческого духа, но и силою характера, прямоотой суждений, душевной цельностью. И конечно, именно он наиболее дорог автору. Это сказывается и в стиле романа: речь Кристофа, его внутренние монологи иногда незаметно переходят в авторскую речь.

В письмах, отправленных разным лицам в период наиболее интенсивной работы над романом, Роллан говорил о Жан-Кристофе как о реальном человеке, который не только живет своей жизнью, независимой от воли автора, но порой и влияет на автора, наталкивает его на неожиданные решения. Перед выходом «Ярмарки на площади» Роллан писал Софии Бертолини: «Месяца через два брошусь в схватку. Жан-Кристоф втягивает меня в нее. Уверяю вас, что это вовсе не доставляет мне удовольствия. Я знаю, что в любом случае нарвусь на жестокие неприятности. Слишком уж много людей будет затронута моими нападками, и меня наверное будут кусать в их прессе и их салонах. Я предпочел бы спокойно мечтать. Но все же надо сказать правду. Если бы я обрек себя на молчание, Жан-Кристоф бы на это не согласился; а если бы я вовсе отказался говорить правду, он расстался бы со мною навсегда. Он — властный спутник. Но уж кто избрал его в друзья, тот должен идти следом за ним до конца».

Роллан как бы поделил свою личность между Кристофом и Оливье. В образе Жан-Кристофа кристаллизовались наиболее смелые идейные и нравственные порывы автора — те, которые в его собственной жизни, быть может, и не всегда брали верх. Герой, созданный воображением художника, развивался согласно логике своего неукротимого и самобытного характера, проходил через тяжкие испытания, крутые переломы. И Роллан в июне 1911-го — работая над «Неопалимой купиной» — писал Полю Сейпелю: «Я сейчас во власти моральных кризисов моего героя. Чуть ли не каждый том причиняет мне же-

стокие тревоги. А этот — самый мучительный из всех. Иногда я спрашиваю себя: «А может быть, я не прав, что пишу его? Стольких людей я встревожу!» Я пробовал не писать его, отложил работу почти на год. Но я не мог не написать его. Никогда я не чувствовал так отчетливо, насколько мы не являемся хозяевами того, что создаем. Пишем то, что обязательно надо писать. Вы-то меня поймете. Вы — не литературный дилетант. Вы верующая душа. За это я вас и люблю». Полгода спустя, в январе 1912 года, Роллан, обращаясь к тому же адресату, уточняет: «Жан-Кристоф в целом — это не вся моя мысль, это мир, законченный в себе, но мир, который сам со временем перестанет существовать, дав рождение другому миру»*.

Жан-Кристоф и Оливье («сиамские близнецы», как назвал их Роллан в «Прощании с прошлым»), то и дело спорят. Кристоф резок и абсолютно беспощаден в своих суждениях, Оливье гораздо более уравновешен. Кристоф одержим жаждой действия, борьбы. Оливье замкнут в сфере мысли. Кто прав? Роллан много раз объяснял своим друзьям, читателям, корреспондентам, что нельзя принимать отдельные высказывания его героев как выражение авторских убеждений. Об этом Роллан писал, в частности, Жан-Ришару Блоку в 1913 году. Именно из споров, конфликтов между персонажами, из взаимодействия их взглядов и характеров складывается «идеологическая атмосфера» произведения. «Свою собственную мысль я не выражаю посредством формул. Я выражаю ее через живые существа, которые в своих взаимных притяжениях и отталкиваниях образуют симфонию. Ритм и аккорды во вселенной душ — вот плоскость, в которой движется моя мысль».

Мысль автора, как и его героев, именно движется, а не стоит на месте. И Жан-Кристоф и Оливье непрерывно находятся в поисках истины; в суждениях каждого из них — своя относительная правота. Кристоф импонирует читателю и самому автору своим бесстрашием в поисках и отстаивании правды. В содружестве с Оливье он — старший, ведущий. Он учит Оливье — но, в свою очередь, и учится у него. Именно Оливье раскрывает перед немецким музыкантом, возмущенным низостью нравов парижской «ярмарки», подлинную, глубинную Францию и ее богатое духовное наследие, вводит его в круг тех французов, которые мыслят и трудятся. Но вместе с тем

Оливье, заражаясь мало-помалу мятежным пылом Кристофа, начинает тяготиться своим интеллектуальным затворничеством, выходит на арену социального действия...

Есть все основания доверять свидетельствам Роллана, что он заранее точно наметил план своего громадного повествования и даже написал, еще перед выходом первой книги, ряд эпизодов последующих книг. Но все же очевидно, что жизнь то и дело вносила поправки в первоначальный авторский замысел, обогащала его.

Действие «Жан-Кристофа» протекает в четырех странах: Германии, Франции, Швейцарии, Италии. Европейский масштаб романа-эпопеи был задан с самого начала; уже это придавало повествованию Роллана отпечаток дерзости, новизны, — литература XIX века почти не знала романов, где действие так свободно перебрасывалось бы из страны в страну. Сама эта широта замысла намного усложняла задачи автора. Роллан неоднократно, чаще всего во время учебных каникул, ездил за границу, уточнял, освежал в своей памяти облик тех мест, где предстояло побывать его герою. Он старался выяснить у своих зарубежных корреспондентов различные подробности, касающиеся их стран (в частности, вел обстоятельную переписку с начинающей немецкой писательницей Эльзой Вольф, которая помогала ему ближе освоиться с бытом и литературой Германии). Все это укрепляло жизненную, фактическую основу повествования о Жан-Кристофе.

Творческий путь музыканта развертывается во взаимодействии с обществом, в столкновении с буржуазным, мещанским миром, — это тоже было задумано с самого начала. Но сама картина общества, в котором живет и действует Кристоф, становилась по мере работы над романом все более сложной и пестрой, и это выдвигало перед Ролланом непредвиденно трудные вопросы.

Сколько бы ни была монотонной в эти годы жизнь писателя — отшельника и домоседа, замкнутого в течение долгих учебных месяцев на узком пространстве, между клетушкой на бульваре Монпарнас и аудиториями Сорбонны, — он необычайно чутко реагировал на то, что происходило в окружающем большом мире.

Письма Роллана говорят о большой остроте его общественно-политических интересов даже и в то время, когда он, казалось бы, был далек от политики и всецело погружен в проблемы искусства. Проблема революции

неотступно стояла перед ним и после того, как он отложил в сторону неоконченный цикл «Драм революции».

«В наше время, — писал Роллан Софии Бертолини в апреле 1904 года, вскоре после выхода первой книги «Жан-Кристофа», — большие человеческие потоки значительнее и сильнее, чем отдельные личности. Под оболочкой видимого хаоса чувствуются мощные движения народов и классов, подобные движениям планетных миров». Итогом этих движений, полагал Роллан, будет — после многих потрясений и кризисов — создание «Социалистической Федерации Европы».

Роллана глубоко взволновала русская революция 1905 года. Он писал Софии Бертолини 29 декабря: «Я со страстной заинтересованностью слежу за событиями в России. То, что происходит в Москве, — одно из величайших явлений в истории. Какая сила народной революции в самом сердце старой России, которая, казалось, спит непробудным сном! Она оставила позади Парижскую Коммуну. Такого, наверное, еще мир не видел, — целую неделю идет борьба бесчисленного, но недостаточно вооруженного народа против войск, которые обстреливают его из пушек и не могут взять город в свои руки, не разрушая его. Не пройдет и десяти лет, как в Европе совершится революция: в России, Германии и Франции, наверное, одновременно...»

В свете этой перспективы международных революционных боев Роллан оценивал классовые бои частного, местного значения, происходившие в его собственной стране. В марте—апреле 1909 года, готовясь к работе над книгой «Подруги» — наиболее камерной, наименее связанной с политикой частью «Жан-Кристофа», — романист живо отзывался на забастовку почтовых служащих.

«Дорогой друг, — писал он Эльзе Вольф, — дойдет ли это письмо? Сколь ни неудобна для меня лично забастовка почтовиков и нарушение моей эпистолярной жизни (а для меня это — добрая часть моей жизни в целом), не скрою от вас, что мои симпатии на стороне бастующих. Прежде всего я всегда за трудящихся, против политиканов и бездельников. А помимо этого я считаю, что в данном случае почтовики правы». К этой теме Роллан возвращается и в следующем письме: «Вы должны понять, что рабочие профсоюзы и Всеобщая конфедерация труда борются не только ради того, чтобы по крохам

вырвать у нынешнего государства те или иные льготы, но и ради того, чтобы завоевать государственную власть и преобразовать республиканскую конституцию в более живом и демократическом духе, в пользу организаций трудящихся — против парламентской, узкобуржуазной республики. Именно это меня и занимает, и хоть мне лично, быть может, и придется худо в обстановке кризиса, все мое сочувствие на стороне профсоюзов. Я всегда и всюду буду с организованными и сознательными трудящимися — против их антагонистов: ибо где труд, там и жизнь».

В мае 1909 года Роллан поделился с Эльзой Вольф размышлениями по поводу исхода этой забастовки: «Я вижу, вы не хотите простить почтовиков. И я тоже. По разным причинам. Вы находите непростительным, что они бастовали, а я — что они сдались. Вот горемыки! Я их понимаю: они, в сущности, захудалые буржуа, привыкшие к домашнему уюту, как все чиновники: угроза революции их страшит: что они будут делать, разнесчастные, если у них отнимут стулья с кожаным сиденьем? У них не хватит сил найти себе иное место в жизни. Значит, придется рабочим совершить революцию одним, и, видимо, в недалеком будущем. Тем хуже для них и тем хуже для нас! Ибо великое общественное движение, которое готовится в настоящее время, нуждается в объединенных силах всех трудящихся, чтобы не выродиться в кровавую и бесплодную классовую войну. Но пусть будет то, что должно быть; нам надо постараться это понять и, если нужно, переделать самих себя. Неужели вы думаете, дорогой друг, что можно «законным способом» преобразовать правительства, которые отжили свой век? Когда система законов обнаруживает свою несостоятельность и когда люди, стоящие у власти, отказываются ее изменить, что же остается делать? Сломать — и законы, и власть... Я ненавижу грубую силу: Но чтобы добро восторжествовало на практике, сила необходима; она, как говорил Наполеон, условие всех добродетелей; она прежде всего условие прогресса. Нельзя сделать ни шага вперед без того, чтобы выиграть ожесточенное сражение со всякого рода эгоизмами и частными интересами, пустившими глубокие корни. Конечно, при этом поднимается много пыли и дыма, и я понимаю, что мечтателей это смущает — ведь в наше время не осталось монастырей, куда можно спрятаться. Но нужно устроиться

так, чтобы пыль и дым, уносимые ветром, попали в глаза наших противников, а не в наши: ведь и это тоже — часть военного искусства».

Политика вторгалась в сознание писателя — и расширяла рамки повествования о музыканте. Советский исследователь В. Балахонов, внимательно изучивший в Архиве Роллана рукописи «Жан-Кристофа», различные черновые варианты и редакции, пришел к выводу: роман по мере работы автора над ним все теснее сближался с современной эпохой. И это на самом деле так, мы это можем проследить и по письмам. Конкретные факты жизни Франции — и не только Франции — вставали перед Ролланом, тревожили или радовали его, прямо или косвенно отражались на страницах «Жан-Кристофа». Музыкальный роман перерастал в роман социальный.

Но вместе с тем Роллану далеко не полностью удалось овладеть сложнейшим материалом европейской общественной действительности начала XX века. Больше того: чем чаще, глубже, взволнованнее задумывался он над происходившей вокруг него политической борьбой, тем яснее ему становилось, как слабо он, в сущности, в ней разбирается. Именно это побудило его отказаться от намеченной книги «Жан-Кристофа», где композитор-бунтарь должен был оказаться в кругу революционеров.

В этой ненаписанной книге, сохранившейся лишь в виде черновых набросков, у Жан-Кристофа появляется новый друг — молодой итальянец, человек мятежной души, совершивший политическое убийство (в основе этого образа, по всей вероятности, реальная личность, сильно занимавшая Роллана еще на исходе прошлого века, — молодой рабочий Казерио, который в 1894 году убил президента Сади Карно). Кристоф, подозреваемый в сообщничестве с террористами, покидает Францию, живет то в Швейцарии, то в Англии; он встречается в Лондоне с видным революционным деятелем, который духовным обликом напоминает Мадзини. Вокруг этого человека группируются изгнанники-заговорщики; он руководит организацией восстаний в разных странах. Кристоф втягивается в революционную борьбу, подвергается преследованиям, бежит в Швейцарию. За этим следует драматический эпизод его личной жизни, описанный в «Неопалимой купине».

Пересказывая содержание этого неосуществленного тома, В. Балахонов замечает: «В нем причудливо пере-

плетаются сведения о революциях и революционных деятелях, почерпнутые из книг, в частности мемуаров Р. Вагнера, записок П. Кропоткина, из воспоминаний М. фон Мейзенбург, и реальные явления французской социальной и политической жизни (террористические акты анархистов и т. п.). Роллан сам чувствовал шаткость своих построений и понимал, сколь недостаточно его знание материала»¹.

Шаткость построений чувствуется и в окончательном тексте девятой книги «Жан-Кристофа» — «Неопалимая купина», там, где идет речь о попытках Кристофа и Оливье найти контакт с французским рабочим движением.

Оба друга не могут быть равнодушны к страданиям трудящихся и эксплуатируемых, оба они понимают, насколько закономерно стремление рабочих к социальной справедливости, к достойной человеку жизни. Но оба они видят во французском пролетариате по преимуществу грубую и невежественную массу, а в его лидерах — честолюбцев, карьеристов.

Роллан видел реальные слабости французского рабочего движения накануне первой мировой войны: разобщенность различных фракций и групп, оппортунизм одних, анархическое фразерство других. Однако эти слабости отчасти затемнили в его глазах действительную историческую роль пролетариата. Те верные мысли о необходимости, исторической справедливости борьбы за социализм, которые мы находим в письмах Роллана, не воплотились в образной системе «Жан-Кристофа». Насколько точными и меткими были картины литературно-артистического Парижа в «Ярмарке на площади» — настолько приблизительно, местами торопливо-поверхностно обрисована рабочая среда в «Неопалимой купине».

После первомайской демонстрации, столкновения с полицией, гибели Оливье Жан-Кристоф отходит от политической жизни, — навсегда. В последней книге мы видим его постаревшим и утратившим свой мятежный пыл. Больше того, теперь он со спокойной иронией, без видимого гнева прислушивается к речам молодых французов, у которых жажда действия выливается в яростный национализм и милитаристский культ Энергии.

¹ В. Е. Балахонов, Роллан и его время. («Жан-Кристоф»). Ленинград, 1968, стр. 66.

Такой поворот в духовном развитии Кристофа может показаться неожиданным и странным. Но для Роллана в этом была своя логика.

В сознании Роллана — по крайней мере на первых порах работы над романом — непримиримый мятежник Жан-Кристоф связывался не только с создателем Девятой симфонии, но и с тем французским современником, который, казалось бы, в максимальной степени воплощал в себе дух моральной непреклонности, стойкости, искания правды, — с Шарлем Пеге.

Впоследствии Роллан вспоминал об этом периоде в истории французской интеллигенции: «Стоическая, бескорыстная любовь к правде и чистоте опьяняла, жгла своим белым пламенем лучших людей Франции, носивших на себе печать Бетховена и «Воскресения». «Двухнедельные тетради» бесстрашно призывали идти в атаку против лжи политики и преступлений цивилизации... Изю всех сил трубили Жан-Кристоф и Пеге о мистике Действия, о героической религии Жизни-Жертвы и самопожертвования ради веры, какую бы она ни была».

В 1905 году — в момент, когда начали резко обостряться отношения Франции и Германии, — Пеге, как мы помним, повернул к национализму, опубликовал памфлет «Наша родина». Этот поворот вправо стал еще более очевидным в 1910 году, в его книге «Наша молодежь». Былой социалист и дрейфусар превратился в глашатай войны.

Личная независимость, честность, бескорыстие — таковы качества, которые Роллан особенно высоко ценил в Пеге. Таким — по свидетельству многих современников — и был Пеге на самом деле, таким он остался до смертного часа. Но личная честность, личное бескорыстие не предохранили Пеге от глубоких политических заблуждений. Более того, идея самопожертвования ради веры, *какую бы она ни была*, оказалась идеей коварной, таящей возможность перехода на реакционные позиции.

Когда-то Роллан восхищался тем, что Пеге хочет «обуздать социализм в духе индивидуализма». Теперь Роллан на примере Пеге убедился в том, насколько неустойчиво отвлеченное индивидуалистическое бунтарство (над этим уроком он еще будет немало размышлять в последующие годы). Бунт Кристофа при всей его искренности непрочен: это показано в романе правдиво.

Un fragment de ces pages fut publié dans la revue Le Partisan, Paris, 5 novembre 1913. | Recopie IV

Pourquoi j'ai fait de moi Jean-Christophe un Allemand

... je révélaient en Europe, en attendant le moment d'en venir au combat, ce que j'ai fait de moi d'un héros Allemand. — Pourquoi j'ai voulu, comme les vœux de l'homme, faire entrer le même que de "Français, Allemands, vous êtes frères".

Pourquoi, dans une époque où tous les nationaux se regardent, on la France et l'Allemagne se regardent, on attend le moment d'en venir au combat, ce que j'ai fait de moi d'un héros Allemand.

— Pourquoi j'ai voulu, comme les vœux de l'homme, faire entrer le même que de "Français, Allemands, vous êtes frères".

Начало статьи Роллана «Почему я сделал Жан-Кристофа немцем».

Однако политическое кредо старого Кристофа — сколь бы оно ни было туманным — отнюдь не совпадает с воинственным национализмом его молодых друзей. Обращаясь в мыслях от лица французского народа, с которым он сжился, к своим бывшим соотечественникам, немцам, Кристоф утверждает: «Мы два крыла Запада. Кто подбивает одно, нарушает полет другого. Пусть грянет война! Она не разомкнет пожатия наших рук, не остановит взлета нашего братского гения».

Ни Роллан, ни его герой не отказываются от убеждения, что перед человечеством стоит задача — «переделать мир во всей его совокупности». Так и говорится в предисловии к последней книге. Автор обращается к молодежи с призывом: идти вперед, дальше, совершить то, что не смогли сделать отцы. С мыслью о будущем, с устремленностью в будущее заканчивал Роллан свою эпопею.

Вскоре после завершения своей работы — в начале 1913 года — Роллан обратился с письмом к критику Сувбуа, автору одной из первых серьезных статей о «Жан-Кристофе».

«Вы затронули те глубинные пласты произведения, которых критика до сих пор не касалась: то, что связует

жизнь героя с жизнью земли, с таинственными силами, которые движут вселенной». «...Говорят, надвигается Эра Драмы? Нет, надвигается нечто более значительное: Эра Эпопеи, новых мифов, нового человечества, которое создаст себе новых богов. За последние полвека наш духовный мир преобразился больше, чем за предшествующие двадцать веков; меняются основы науки и верований: головокругительные открытия современной физики и химии колеблют представления, на основе которых люди жили прежде, сдвигают ось мира, и получают в истории человечества гораздо более глубокий резонанс, нежели ссоры политических партий и наций... Мы вступили в героический век».

Здесь — как это нередко бывает у Роллана — смелые и глубокие мысли перемешаны с представлениями отвлеченными и ложными. Восхищаясь успехами точных наук, Роллан подчас склонен был недооценивать значение социальных, политических конфликтов в жизни человечества. Он мудро определял новый век как век «героический», но временами переводил свои размышления о великих перспективах столетия в отвлеченный космический план. С этим связана особая политическая атмосфера последних глав и страниц романа-эпопеи, — умирающий Кристоф как бы вливается в бесконечный Океан вечно движущегося человечества.

Если социальная, философская проблематика «Жан-Кристофа» к концу повествования расплывается, размывается во вселенской безбрежности, то «Жан-Кристоф» как роман о судьбах мастера искусства, о музыкальном творчестве стоит на почве реальной жизни от начала и до конца. Здесь Роллан чувствовал себя наиболее уверенно, здесь он мог предоставить своему герою широчайшее поле деятельности.

В своих социальных исканиях Кристоф не достигает успеха, — но в сфере музыки остается победителем. Он не склонил головы перед снобами и торгашами «ярмарки на площади», он завоевал для своего новаторского искусства широкий круг слушателей и друзей. Он знает, что и после его смерти его музыка будет приносить людям радость — «высекать огонь из души человеческой», как сказал бы Бетховен.

Роллану удалось показать сам процесс внутренней, невидимой творческой работы композитора с такой художественной наглядностью, как это не сделал в мировой лите-

ратуре никто до него. Кристоф облекает в звуки разнообразные впечатления живого бытия. Он прислушивается к звону колоколов, пению птиц, гудению пчелиного роя, к шумам повседневной жизни. Он находит «музыкальную пищу» в интонациях человеческой речи, ритме движений, гармонии улыбок. Одиночеству человека в эгоистическом мире Жан-Кристоф противопоставляет счастье человеческого общения, солидарности, братства. Творчество невозможно для него вне постоянного контакта с людьми — теми, для кого и во имя кого он пишет. Именно в созидательной энергии Жан-Кристофа, в его непрерывной радостной самоотдаче, готовности жить и работать для других, для людей, в его упрямом сопротивлении силам стяжательства и буржуазного распада наиболее отчетливо сказывается связь произведения Ромена Роллана с героическим духом века двадцатого.

Роллан на многих страницах своего большого романа передал то состояние духовного подъема, которое испытывает мастер искусства в минуты успешной работы. Он сам, работая над романом, не раз испытывал такое состояние. Об этом есть прямые свидетельства в его письмах и дневниках.

Осенью 1919 года, когда у Роллана вспыхнул туберкулезный процесс, он вспомнил — и записал в дневнике, — как он тяжело болел еще в начале века, в тяжелые дни после развода, и как творческая работа помогла ему встать на ноги. «У меня и в последующие годы были серьезные приступы болезни, — тогда ее называли бронхитом, катаром, а это был туберкулез, который иногда обострялся. Чем я тогда лечился? Ничем — разве только смазывал себя йодом. Я проводил целые дни, целые вечера до полуночи взаперти, склонившись над столом в моей крошечной квартирке на бульваре Монпарнас, где я мог достать рукой потолок. По ночам я часами задыхался от неукротимого кашля...» «И тем не менее я выжил. Десять лет подряд я работал, как каторжный, — занимался каждый день тремя разными делами. Именно работа и спасла меня. Жан-Кристоф был моим врачом. Я написал его целиком за эти годы, а также и биографии, статьи о музыкантах и т. д. — Вот почему я и теперь, находясь в состоянии кризиса, знаю, что моя судьба зависит прежде всего от моей внутренней жизненной силы...»

Летом 1906 года, находясь в Германии и работая над книгой «Бунт», Роллан писал в дневнике:

«В течение пяти недель я почти ни с кем не разговаривал, я питаюсь кое-как, я плохо сплю, устаю, я редко разрешаю себе работать вольготно и без спешки; и при всем том я испытываю совершенную радость. Я не знаю, хорошо ли у меня получается; может быть, и нет; но я счастлив, что могу свободно быть самим собой и что достиг зрелости; все, что мне хочется, я делаю без усилий; плод сам отделяется от дерева у меня в руке; и все, что я вижу, все, что я слышу, все, что живет и трепещет вокруг меня, оставляет во мне следы. Все зародыши жизни, которые доносятся до меня ветром, я с удовольствием принимаю, и они растут дальше во мне. Боже! Как жизнь прекрасна!»

Начиная работу над восьмой книгой — «Подруги», Роллан снова испытывал необычайный прилив творческих сил, — и писал Софии Бертолини 26 апреля 1909 года: «Я погрузился в новый том по шею. Словно плаваю в полноводной реке. Не знаю, что это со мной происходит. Жизнь приливает, персонажи сами ко мне прибегают со всех сторон. Меня прямо захлестывает. Это очень счастливое состояние».

Разумеется, Роллана очень ободряло и поддерживало то, что «Жан-Кристоф», начиная с первых книг, находил дружеский прием у публики.

Необычность замысла, психологическая глубина, а главное, высокий нравственный строй романа-эпопеи — все это привлекало интеллигенцию, особенно молодежь, во Франции и за ее пределами. «Жан-Кристоф» побуждал читателей задуматься над собственной жизнью и своим человеческим назначением, давал моральную опору для противостояния эгоистическим, собственническим нравам. Друзей «Жан-Кристофа» становилось все больше. Они охотно прощали Роллану длинноты и погрешности стиля: одних увлекал драматизм судьбы героев, других — взволнованные авторские размышления о смысле эпохи, о судьбах современной Европы.

Критика приняла роман не сразу. У «Жан-Кристофа» были и остались противники среди лиц, имеющих вес в литературном, журналистском мире (например, Поль Судэ, обозреватель газеты «Тан», отзывался на выход каждого тома высокомерно-неприятной статьей). Отклики во французской печати были, особенно вначале, очень разногласны и не столь уж многочисленны. Но зато приходили читательские письма — взволнованные, благодарные. Вы-

пуски «Двухнедельных тетрадей» с главами «Жан-Кристофа» расходились быстро, к большой радости Шарля Пеги и его сотрудников.

Зимой 1904/05 года издательство Оллендорф повело с Ролланом переговоры о приобретении авторских прав на «Жан-Кристофа». Пеги попытался было протестовать: он считал, что произведения, которые он печатает в «Двухнедельных тетрадях» (не платя гонорара авторам), должны оставаться исключительной собственностью журнала. Возникший спор скоро уладился. Роллан продолжал предоставлять рукописи новых книг «Жан-Кристофа» в редакцию «Тетрадей», а издательство Оллендорф выпускало роман том за томом вслед за журнальной публикацией. «Я был этим весьма доволен, — писал впоследствии Роллан. — Наконец-то! Мое «сочинительство» начало меня кормить. Давно пора! Мне тогда было уже тридцать девять лет...»

Новым свидетельством успеха неоконченного романа была премия «Счастливой жизни», присужденная Роллану в 1905 году. (Эта литературная премия, в жюри которой входят только женщины, существует и в современной Франции, — теперь она называется «Фемина».)

Пора бедности и непризнанности кончилась. Роллан иногда с грустной усмешкой вспоминал, как горевала когда-то Клотильда по поводу его писательских невзгод. Под конец их совместной жизни она вовсе перестала верить, что он, с его болезненно независимым характером, с его несветскостью и неуживчивой гордостью, может чего-либо добиться в литературе. Как она оказалась не права! «Жан-Кристоф» завоевал симпатии читателей в немалой степени именно тем, что они угадывали в вымышленной истории музыканта отражение несгибаемой, непокорной личности автора. А теперь Роллану было не с кем разделить радость успеха. Разве только с матерью, сестрой или с друзьями-корреспондентами.

В августе 1908 года Роллан писал Эльзе Вольф: «Я сам не знаю, как это получилось, — сейчас поднимается волна симпатии к моим книгам. В течение последних месяцев в Италии, и особенно во Флоренции, идет целый поток похвал «Жан-Кристофу». За две недели появилась целая куча статей в итальянских газетах и журналах — все очень подробные, и написаны с чисто южным пылом. То же — в Англии и Швейцарии. Во Франции все это сказывается не так сильно, особенно в литературном мире (хо-

ты и там в последнее время находятся у меня необычайно горячие сторонники); что до публики, то я с удивлением убеждаюсь, что известен почти повсюду. Это пришло как-то вдруг, без шума, почти без причины. Сам не пойму, что это такое».

Особой радостью для Роллана было, когда он встречал музыкантов, близких по духу и ему самому и его герою. Молодой композитор-самоучка Поль Дюпен, которого Роллан поддержал в его трудных творческих дебютах, написал два квартета на мотивы «Жан-Кристофа», — они были исполнены в Париже и хорошо приняты публикой. В начале 1909 года к Роллану обратился за советом и помощью другой одаренный композитор, Эдгар Варез. Рассказывая об этом Софии Бертолини, Роллан замечал: «Жан-Кристоф» привлекает к себе братьев, которые борются во всем мире... Вот что самое забавное в моей встрече с этим Варезом: он сейчас пишет «Гаргантюа» (симфоническую поэму). А в это же время и мой Жан-Кристоф пишет такую же вещь. Скажите после этого, что моя книга «роман»! Моя книга не роман. Жан-Кристоф существует на самом деле. Он повсюду вокруг нас. Я только рассказываю то, что есть на самом деле. Я ничего не выдумываю».

В других письмах к Софии Бертолини Роллан сообщал о новых откликах на его произведение. «Кристоф» скоро появится на английском языке, — писал он в апреле 1910 года. — Так как на испанский он уже переведен, то он, значит, проникнет и в Новый Свет. Рассказывал ли я вам уже, что он нашел самых пламенных почитателей среди вулканических чилийцев и среди негров в Гаване? (Это мой издатель мне сказал.) Любопытно, как они представляют себе Кристофа: наверное, в облике негра». А в июне того же года Роллан сообщал: «Кажется, мой последний том идет очень неплохо, и я вижу, что «Жан-Кристоф» приобрел много друзей также и в северных странах, в Польше, в России. Я получаю чудесные письма отовсюду. Одни благодарят, другие — поверяют мне свои тайны. Пишут мне всяческие люди: молодые женщины, 17-летний школьник, который делится своими горестями и напоминает мне мою собственную душу в 17 лет, молодой офицер, который тяготится своей средой, вынужденной бездеятельностью и нетерпеливо грызет удила, старые дамы (это не так уж весело), молодые литераторы, которые ссылаются на Кристофа, стремясь противопоставить «ярмарке на пло-

щади» — подлинную Францию. Я и сказать вам не могу, какое удовольствие мне доставляют некоторые из этих писем. Я чувствую, что жизнь моя, значит, не прошла даром и что я написал то, что надо было написать».

В начале 1910 года Роллан получил орден Почетного легиона. Это вызвало новую лавину дружеских читательских посланий. При этом Роллана немало позабавило, что среди первых горячих поздравителей оказались некоторые влиятельные лица парижского артистического и журналистского мира, — по сути дела, именно те, кого он заклеивал в пятой книге своего романа. Автор «Жан-Кристофа» мог чувствовать гордость: подобно своему герою, он не подчинился парижской «ярмарке», не захотел даже скрыть своей неприязни к ней — и заставил ее склониться перед ним.

Однако его противники вовсе не сложили оружия. В 1913 году, вскоре после выхода последней книги «Жан-Кристофа», во Французской академии разгорелись жаркие споры в связи с кандидатурой Роллана на Большую премию. Писатели консервативно-националистического толка во главе с Бурже и Барресом яростно сопротивлялись награждению Роллана. Но его приверженцы (среди которых самым активным был старый доброжелатель, редактор «Ревю де Пари», историк Лависс) все же одержали верх. Большая премия Французской академии была присвоена писателю, абсолютно чуждому духу «академизма», предельно равнодушному к разного рода официальным почестям.

Одному из неизвестных читателей, выразивших радость по поводу этого награждения, Роллан написал 28 июня 1913 года:

«Спасибо, мосье. Жан-Кристоф не менее вас удивлен своим академическим успехом. Он весело посмеивается и говорит мне: «Вот и доказательство, что я умер!»

Но так как я не умер, то постараюсь подарить ему новых братьев.

С сердечным приветом — Ромен Роллан» *.

3

У каждой медали — говорят французы — есть своя оборотная сторона.

Слава. Это значило: назойливое любопытство журна-

листов, идиотские пересуды в прессе. Это значило: вереница непрошенных визитеров, в том числе и предпринимчивых почитательниц, искавших встречи с «дорогим мэтром». Это значило: ежедневная груда почты на столе, бесчисленные приглашения и просьбы, рукописи и книги, присылаемые для просмотра, настойчивые предложения редакций и издательств. Это значило: полная невозможность работать дома спокойно.

Но слава — это вместе с тем и значило: поток добрых писем от читателей, знакомых или незнакомых, но, так или иначе, в немалой своей части искренних, благодарных, понимающих. Это значило — все более прочное сознание важности, ценности выполненной работы. И это значило вместе с тем возможность некоторое время не думать о хлебе насущном, уверенность в завтрашнем дне, досуг, необходимый для дальних поездок, для размышлений, для общения с близкими по духу людьми.

После длительных колебаний Ромен Роллан летом 1912 года окончательно отказался от профессорской кафедры в Сорбонне. Конечно, было жаль терять контакт с молодой любознательной аудиторией, но что поделаешь? Пусть те, кто хочет знать его мысли, читают его книги! Фактически он прекратил преподавание еще за полтора года до официальной отставки. После автомобильной катастрофы осенью 1910 году ему пришлось взять длительный отпуск для лечения, — это ускорило его работу и над биографией Толстого и над последними томами «Жан-Кристофа».

С молодых лет Роллана влекло к новым впечатлениям и странам. С Бельгией, Голландией, Швейцарией он познакомился, еще будучи юношей. В Италии, Германии, Австрии он бывал не раз. В 1906 году он совершил поездку в Англию (тогда он еще не отказался от мысли ввести Жан-Кристофа в вымышленный центр заговорщиков в Лондоне); в 1907 году побывал в Испании.

Теперь Роллан, освободившись от оков университетского учебного плана, мог ехать когда угодно и куда угодно. Во многих странах, где ему еще ни разу не доводилось бывать, его бы встретили с великой радостью читатели, переводчики, издатели, комментаторы его произведений. Семья Л. Н. Толстого звала Роллана в Россию, — ему и самому хотелось бы побывать в Москве и Ясной Поляне, но смущала дальность такой поездки, ее

физические тяготы, и он откладывал ее на лучшие времена, когда удастся поправить здоровье. Вольготнее всего Роллан себя чувствовал в Швейцарии, среди гор, в тихих уголках, вдали от космополитической светской публики и шумной толпы туристов. Там ему легко дышалось и хорошо работалось.

Немало времени проводил он и в Париже, в своей квартирке на бульваре Монпарнас, заваленной нотами и книгами. И тесно там было, и неудобно — а долго не хотелось расставаться с привычным жильем, где столько было и передумано, и пережито, и написано (только в начале 1914 года он переехал в более просторное помещение на улице Буассоннад). Прежде, в годы работы над «Жан-Кристофом», Роллан старался поменьше отвлекаться и бывать на людях. К столичной «ярмарке» он и теперь относился с прежней непримиримостью и не давал себя затягивать в водоворот литературной суеты. Однако он не мог быть равнодушен к судьбе собственных произведений, перечитывал их заново для повторных изданий, следил за их выходом: иногда это требовало его присутствия в столице. А помимо того, ему бывало приятно воспользоваться своим возросшим влиянием в литературном и музыкальном мире для доброго дела, чтобы помочь одаренным молодым людям, продвинуть книгу начинающего автора или сочинения способного малоизвестного композитора. Посетителей такого рода он встречал приветливо.

За годы созидания «Жан-Кристофа» Роллан постепенно пересматривал отношение к некоторым прежним близким товарищам. Он мало-помалу отдалялся от «Двухнедельных тетрадей» — все труднее было находить общий язык с Пеги из-за его националистической одержимости и тем более с Сюаресом — из-за его болезненного эгоцентризма.

А вместе с тем в течение этих лет все расширялся круг друзей, почитателей, корреспондентов Роллана и за рубежом и в самой Франции.

Молодой австрийский прозаик и критик Стефан Цвейг отозвался на выход «Жан-Кристофа» восторженной статьей в газете «Берлинер тагблатт»; он приехал в Париж, появился на бульваре Монпарнас, — так было положено начало многолетней дружбе двух писателей-гуманистов. Стефан Цвейг отлично говорил и писал по-французски, он был, подобно Роллану, человеком разно-

сторонней культуры, влюбленным в музыку, живопись. В «Жан-Кристофе» его захватило утверждение могучего творческого духа, противостоящего варварству буржуазного, мещанского мира. Однако Цвейг по натуре и привычкам был человеком артистической «элиты»: демократические, бунтарские начала, заложенные в сознании и творчестве Роллана, ему были в значительной мере чужды. Между ними нередко вставали разногласия — у нас еще будут поводы убедиться в этом; но их духовный контакт, по большей части заочный, не ослабевал на протяжении почти трех десятилетий, пока их не разделили вторая мировая война и трагическая смерть Цвейга в 1942 году.

Еще за несколько лет до окончания работы над «Жан-Кристофом» завязалось общение Роллана с замечательным бельгийским поэтом Эмилем Верхарном. Стихи Верхарна — как и поэзия его американского учителя и предшественника, «океанического» Уолта Уитмена — привлекали Роллана масштабностью, романтикой открытых просторов, ощущением неразрывной связи личности с народом, с человечеством в его историческом поступательном движении. Роллан был тронут, когда Верхарн написал ему, что учится по его героическим биографиям «быть сильным». Получив в 1907 году от бельгийского поэта его сборник «Многообразное сияние», Роллан сердечно ему ответил: «Спасибо за вашу превосходную книгу. Она обновила воздух в моих легких. Подобно ветру, который вы прославили в гимне, знакомом и полюбившемся мне, — ваша книга принесла с собой вольное дыхание мира, над которым она промчалась. Я не раз к ней вернусь, чтобы очиститься от спертго воздуха, которым поневоле приходится дышать в парижской литературе...» *

В личности Роллана было нечто такое, что могло привлекать к нему симпатии людей, абсолютно между собою несхожих. Он умел выслушивать, входить в круг интересов разнообразных своих собеседников, если находил в них то, что достойно внимания. У него бывали в Париже и подолгу с ним разговаривали и Райнер Мария Рильке — крупный австрийский поэт, тонкий лирик, человек хрупкой и уязвимой души; и Эптон Синклер, завоевавший своими «Джунглями» громкую славу как дерзкий «разгребатель грязи», обличитель нравов капиталистической Америки.

Незадолго до начала первой мировой войны у Ролла-

на установился заочный контакт с Гербертом Уэллсом. Знаменитый писатель-фантаст высоко оценил «Жан-Кристофа», как образец «свободного романа в новом духе». Роллан поделился радостью с Софией Бертолини (28 июня 1911 года): «Случайно мне попался на глаза литературный манифест, с которым выступил весьма известный английский романист Уэллс от имени новой школы английского романа (Арнольд Беннет, Конрад, Голсуорси, Форстер). Он объявляет войну концепциям искусства для искусства и искусства для забавы: он отстаивает право и долг искусства вообще, и романа в частности, обращаться не только к сердцу, но и к мысли, занимать свою позицию по главным проблемам эпохи, разоблачать ложь, — и пробуждать Англию, уснувшую в лицемерном и блаженном самодовольстве. И я с радостным изумлением вижу, что он приписывает мне решающее влияние на новую английскую школу именно в этом смысле...» И Роллан не без горечи добавлял: «Вот так за границей встречаешь большой отклик и симпатию, чем у себя дома. В Англии я, оказывается, глава школы, а парижские литераторы меня замалчивают. Как забавно!» А Герберту Уэллсу Роллан написал: «Я рад чувствовать, что мы вместе участвуем в одном из наиболее прекрасных умственных движений современной Европы — в своего рода крестовом походе против догм литературных — и моральных — и социальных, — обреченных на гибель, как вся та ложь, которая еще живет в наших расах. Во всех наших старых странах Запада небольшие братские армии сражаются за обновление жизни и мысли».

Поддержка со стороны зарубежных литературных соотечественников, будь то Стефан Цвейг, Верхарн или Уэллс, была особенно дорога Роллану отчасти потому, что «спертый воздух» литературного Парижа ему был и оставался противен, а немалая часть французской критики, со своей стороны, продолжала относиться к автору «Жан-Кристофа» недоброжелательно или равнодушно. Показательно, что первым профессиональным критиком, который решил написать книгу о Ромене Роллане, был не француз, а швейцарец, Поль Сейпель (не раз уже упоминавшийся выше). Книга Сейпеля «Ромен Роллан — человек и творчество», вышедшая в 1913 году, не отличалась особой глубиной, автор понимал и толковал Роллана в духе отвлеченного буржуазно-либерального прекрасодушия. Но любовь к французскому писателю, выраженная в этой

книге, была, безусловно, искренней. Роллан ценил внимание Сейшеля, переписывался с ним часто и откровенно.

В самой Франции к Роллану постепенно начинали тянуться младшие собратья по перу, которые видели в нем литературного наставника и более того — нравственную, духовную опору.

Ромен Роллан сердечно привязался к Альфонсу де Шатобриану, одаренному прозаику «областнического» направления, певцу патриархальной старины. Их обоих сближала неприязнь к парижской литературной сутоловке, любовь к музыке и к природе. Роллан, обычно сдержанный, чувствовал себя непринужденно в обществе веселого, разговорчивого «Шато» и охотно проводил с ним свободное время.

В 1910 году Роллану впервые написал письмо почти еще неизвестный тогда литератор Жан-Ришар Блок. Он в это время начал выпускать журнал «Эффор» («Усилие») — антибуржуазного, социально-критического направления. В журнале принимали участие Роже Мартен дю Гар и некоторые другие, по преимуществу молодые прозаики и поэты — Шарль Вильдрак, Рене Аркос. Блок привлек к сотрудничеству Романа Роллана, которого весь этот круг литераторов глубоко читал.

Уже в первом письме Блок горячо благодарил Роллана за его роман, за то «моральное освобождение», которое он совершил в молодых французских интеллигентах. «Жан-Кристоф», как и «Жизнь Бетховена», — писал он, — создает для тех, кто его прочитал, своего рода идеальное франкмасонское братство, о могуществе которого вы сами, несомненно, и не подозреваете». Жан-Кристоф», — утверждал Жан-Ришар Блок в одном из следующих писем, — это не роман, и не исповедь, и не памфлет, и не пророчество. Это произведение, которое словно бьет фонтаном из нас самих...» «То, что вы пишете, — напоминал Блок Роллану, — необходимо, как воздух, нашему Обществу». Сильный душевный отклик вызвала у редактора «Эффор» и роллановская «Жизнь Толстого». «Ваша книга заставила меня понять, что Толстой — первый и, во всяком случае, самый могучий из апостолов, которые обращались, как *современные люди*, к страждущим *современного мира*. Вот уже два века, как существует пролетариат, состоящий из людей, которые считаются *свободными* (в договорном, законодательном смысле этого слова), но впервые появился человек, кото-

рый подумал об условиях, необходимых для того, чтобы привести в наш мир хоть немного добра, справедливости, «достатка». И в этом смысле ваша книга — событие духовной жизни».

Роллан был не столь чувствителен к похвалам. Но он всегда бывал счастлив, когда находил единомышленников. Читая произведения Жан-Ришара Блока и других идейно близких ему литераторов, он убеждался, что выдвинутые им в «Жан-Кристофе» принципы интеллектуального бесстрашия, общественного служения искусства находят отклик в новой французской прозе. И в первом романе Ж.-Р. Блока «...И компания» и в еще большей мере в романе Роже Мартена дю Гара «Жан Баруа» Роллан высоко оценил правдивость, дух безбоязненного социального исследования. Он писал Блоку о «Жане Баруа»: «Великолепно по искренности. Ни тени литературщины. Первостепенный документ нашего времени...»

В группу творческой интеллигенции, объединившуюся вокруг журнала «Эффор», входил и живописец Гастон Тьессон. Роллан с оттенком юмора — но и вполне серьезно — описал Блоку свою первую встречу с ним: «Бедный Тьессон был чуточку разочарован: он надеялся встретить живого Жан-Кристофа. Он не понимает, что, если бы я сам был Жан-Кристофом, я не мог бы написать Жан-Кристофа, а тем более — толпу его спутников, друзей и врагов. Можно быть художником, только если вкладываешь себя целиком в то, что создаешь, а потом полностью отделяешься от созданного, со всей той способностью охлаждения и забвения, которая заложена в человеческой природе...» Сам Тьессон Роллану понравился («Какой умный, живой человек, сколько в нем великодушия!»), и они стали близкими приятелями.

Глубокие духовные связи соединяли Роллана с другом, который находился далеко от него — в джунглях Экваториальной Африки. Роллан писал о нем Эльзе Вольф еще в октябре 1906 года: «Я на этих днях виделся с человеком, который задыхается на Западе и собирается покинуть Европу. Это — пастор из Страсбурга, директор Семинарии Св. Томаса, автор очень оригинального труда об И. С. Бахе (появившегося 2 года назад) и книги по истории изучения жизни Иисуса — эта книга вызывает сейчас немало шума в Германии. Зовут его Альберт Швейцер, ему 30 лет, это высокий, сильный, красивый парень, глаза у него светлые и веселые, и ду-

па такая же светлая и веселая. Он отказывается от прекрасного положения, которое создал себе в такие молодые годы, подал в отставку с поста директора «Томас-штифта» и занимается медициной, чтобы найти способ существования, независимый от богословия; и он собирается через Протестантскую миссию отправиться в Африку. Он испытывает отвращение к богословию, отвращение к писцам Храма, отвращение к той непрерывной лжи, в какой его заставляют жить не только его коллеги и начальники, но и его паства — стадо, которое ни во что не верит и не имеет мужества сознаться, что не верит, — апатичное и равнодушное стадо, в котором нет ни веры, ни безверия, ни жизни. Я недавно познакомился с ним в Страсбурге, где был у него в гостях. Так как я — искренний нехристианин, он легче находит взаимопонимание со мной, чем с теми христианами, которые сами не знают, христиане они или нет. И он убежден, что в моем неверии больше истинной религиозности, чем в их верованиях...» Идеальная общность Ромена Роллана и Альберта Швейцера подтвердилась и укрепилась впоследствии — в годы первой мировой войны.

Неизменно теплыми — несмотря на различия во взглядах — оставались отношения Роллана с умной и чуткой Софией Бертолини, в доме которой он бывал во время поездок в Италию и с которой часто обменивался содержательными, откровенными письмами.

Обилие и разнообразие дружеских привязанностей скрашивало одинокую жизнь Роллана. Оно отчасти возмещало ему отсутствие собственной семьи.

Но — лишь отчасти.

Весной 1909 года Роллан писал Софии Бертолини, делясь своими планами на будущее: «Я не собираюсь жениться снова, но и не отказался вовсе от этой мысли...» В декабре 1909 года он сообщал ей: «Кстати, скажу вам (абсолютно между нами), что я в течение последнего года серьезно думал о женитьбе. Я имел в виду молодую англичанку, подругу моей сестры. ...Я люблю ее глаза, ее черты, ее моральный облик. Но я почти что раздумал. Между подлинно английской и подлинно французской душой — завеса туманов, за которую трудно проникнуть».

К выбору новой спутницы жизни Роллан подходил необычайно взыскательно, поэтому и было ему так трудно сделать выбор. В браке он искал глубокой душевной

близости, полного взаимопонимания — и не хотел опять ошибиться. Он тактично, но решительно отводил попытки матери «устроить» его семейную жизнь. Вопросы, касающиеся его лично, он хотел решать сам и только сам.

В представлении иных парижских кумушек Роллан был то ли женоненавистником, то ли рано состарившимся ученым педантом. И мало кто подозревал, что автор «Жан-Кристофа» и на исходе пятого десятка мог страстно влюбляться, обольщаться надеждами, терзаться ревностью — и таить переживания такого рода даже от самых близких ему людей. Его многолетнее одиночество было вызвано не холодностью, не душевной сухостью, а скорее особого рода нравственным максимализмом, высотой требований, которые он предъявлял и к себе, и к тем, кого любил. Наверное, не только об авторе Девятой симфонии, но и о самом себе написал Роллан еще в начале века: «В натуре Бетховена было нечто пуританское; вольные разговоры и мысли внушали ему ужас, любовь была для него святыней, и тут он оставался непримирим... Такие люди словно созданы для того, чтобы стать жертвой обманщицы-любви. И это оправдалось на Бетховене. Он без конца влюблялся до безумия, без конца предавался мечтам о счастье, затем наступало разочарование, он переживал горькие муки».

В 1913 году Роллан пережил недолгое и сильное увлечение — об этом глухо, в безымянной форме говорится в его дневнике. «Любовь — недуг, который чувствуешь каждым нервом. Уже около двух недель я испытываю ее действие. И однако я трезво сужу о себе и о той, кого люблю. Но что из того? Разве здравый смысл может помочь тому, кто наелся ядовитых грибов?» Он писал своей возлюбленной: «Вы знаете, что я хотел бы видеть вас женщиной выше других женщин. Я этого хочу непременно. Я скорей соглашусь лишиться вашей дружбы, чем увидеть, что пламя вашей души угасло среди пошлой и бесцельной суеты светского общества». Та, которой были адресованы эти строки, очевидно, не была намного выше других дам из светского круга — Роллан с горечью сознавал это — и о литературе у нее были вполне определенные суждения. Она не желала, чтобы он писал книги, способные своей правдивостью восстановить общественное мнение против него. А посягательств на свою духовную независимость он ни от кого не хотел терпеть.

После окончания «Жан-Кристофа» Роллан — как и за

двадцать лет до того, в ту пору, когда он встретил Кло-тильду, — считал самым важным в своей жизни литературное творчество и не мог допустить, чтобы любовь заставляла его идти на сделки со своей писательской совестью.

Писать, работать в полную силу — вот чего ему хотелось больше всего теперь, как и два десятилетия назад.

Окончание многолетнего труда над «Жан-Кристофом» Роллан воспринял как раскрепощение. Теперь можно было приняться за новое, опять, пробовать, рисковать, идти дальше. Обо всем этом очень выразительно говорится в письме к Альфонсу де Шатобриану от 9 ноября 1912 года:

«С тех пор, как я закончил «Жан-Кристофа», я словно сбросил с себя громадный груз прошлого. Я выпрямляюсь, глаза мои видят, уши слышат, я всеми чувствами вбираю в себя новую реальность, которую я до сих пор мог только представлять себе, угадывать, чувствовать. Мне кажется, что я на пороге нового (эстетического и нравственного) мира. Я в состоянии подъема. Я все жадно впитываю в себя — книги, картины, музыку, живые души. Я чувствую, что мир обновляется, и я сам обновляюсь вместе с ним. Я ничего еще не написал, ровно ничего! Я только теперь начну...» *.

В тот момент у Роллана уже было многое задумано. Новые пьесы; новое большое произведение (еще неизвестно в какой форме), где должны были встать проблемы современной семьи, где главной героиней предстояло быть женщине, которая переживает «пору загадочной и трагической ломки»... Но все это откладывалось на будущее. Было необходимо осмотреться, перевести дух. Хотелось наверстать то, что поневоле было упущено за годы сосредоточенного писанья романа-эпопеи, — прочитать книги современных авторов, стоявшие на полке неразрезанными, побывать после долгого перерыва в картинных галереях, на художественных выставках.

В 1912 году Роллан (по просьбе Поля Сейпеля) согласился написать несколько «Парижских хроник» для женевского журнала «Библиотек юниверсель э ревю сюисс»: работа над серией обзорных статей могла помочь ему уяснить себе общее состояние французской литературы и искусства, давала ему повод в чем-то подтвердить или дополнить, а в чем-то, быть может, и пересмотреть

те суждения, которые были произнесены в «Жан-Кристофе».

Размышления Роллана над судьбами искусства отразились в двух письмах, которые он написал в октябре — ноябре 1912 года Г. Тьессону. Продолжая незаконченный личный разговор о Рембрандте и Сезанне, Роллан высказывает здесь свое мнение по общим, принципиальным проблемам. Письма эти настолько интересны, что их стоит привести полностью.

«Мой дорогой Тьессон,

Когда вы говорили мне вчера об освещении в «Добром самаритянине», я подумал, что вы не видели освещение Лондона: а вы и там нашли бы световые эффекты, подобные тем, какие запечатлелись в дымах и туманах рембрандтовского Амстердама.

Что до вашего пристрастия к Сезанну и Курбе, то я думаю, что у всякого подлинного художника есть в глубине души пристрастие (открытое или невысказанное) к мастерам, которые в наивысшей степени владели техникой своего искусства. Это техническое совершенство — так сказать, *предпосылка* для того, чтобы могло проявиться совершенство в области интеллекта или чувства (поэтическое воображение, мощь общего замысла). Но ставить технику на первое место — нет, не согласен! Так могут поступать лишь аристократы от ремесла, влюбленные в само ремесло и считающие самоцелью то, что на самом деле есть лишь средство. Техническое совершенство — отличный инструмент, но вовсе не безразлично, находится ли он в руках великого поэта, каким был Рембрандт, или идиота, каким был Курбе. А если нужно во что бы то ни стало выбирать, то я предпочитаю несовершенную (и все же гениальную) технику Делакруа, с его великолепными видениями, пусть даже часто незаконченными, не развернутыми до конца, — а не совершенство, венчающее собой ничтожество (или, что еще хуже, посредственность души).

Изображать босяков и кретинов — не значит еще быть «народным» художником (в настоящем смысле слова). Им может стать лишь тот, кто дойдет до глубинных основ человеческих душ, кто сумеет говорить языком, идущим от сердца и могущим быть понятым всеми. В среде художников такого рода много разных ступеней; наиболее велики те, кто проникают дальше, кто умеют видеть то, что скрыто в глубине глаз, во внутренней сути пред-

мета, те, кто способны открывать истоки жизни (радости, горести, грозы страстей, бездны гения или безумия), ускользающие от взгляда людей обыкновенных, неведомые подчас даже тем, кто носит их в себе. Портрет папы Панфилия замечателен (помимо чудодейственной виртуозности выполнения) именно тем, что он, будучи безукоризненно правдивым, заключает в себе *больше жизни, больше правды*, чем мог заключать в себе оригинал. Беласкес проник в основы жизни своей нации, — как и Тициан в своем «Аретино», или в портрете папы Фарнезе с двумя племянниками. И это было совершенно молниеносной вспышкой, мощью волевого, гениального зренья, овладевающего предметом, как орел овладевает своей добычей. *Nemo additus naturae*¹ — это старое определение искусства остается верным. *Натура* — да, конечно. Но не *натура*, какою ее видит тупица. *Натура*, которую овладел царственный человеческий дух. Вся суть — в равновесии обоих понятий. Не годится, если *натура* давит на художника, если он сгибается под ее тяжестью, как бедняк под непосильной ношей, — или если орел калечит свою добычу, сжимая ее в когтях. Но, сказать по совести, из двух этих крайностей я всегда предпочту орла или даже орленка вроде Делакруа. Это прекрасная птица.

Ну вот! Мне надо было излить то, что некогда было сказать вам вчера в Салоне. А теперь, дорогой Тьессон, до свиданья. Бегите прочь из Парижа. Здесь интересно, но здесь больше умствуют, чем творят. И пусть ваша «Ева» выставит, наперекор кубистам, свое славное лоно! Дружески ваш — Ромен Роллан.

В следующем письме Роллан, продолжая спор, приводит выдержки из ответа Тьессона — и тут же высказывает свои возражения:

«Мой дорогой друг,

«Нужно, чтобы живопись была живописью, скульптура скульптурой».

Согласен — и добавляю: «...чтобы проза была прозой, поэзия — поэзией, музыка — музыкой».

Но, скажите: разве вы любите «Жан-Кристофа» за то, что это «проза», или даже — «хорошая проза»?

Так почему же вы удивляетесь, что я, не будучи живописцем, требую от живописи, чтобы она была не толь-

ко живописью, но и чем-то более значительным? Разве вы пишете картины только для живописцев? И что бы вы сказали, если бы я вам возразил: «Я пишу не для вас, я пишу для писателей»?

«Курбе мог быть ограниченным существом, а Рембрандт великим поэтом, но это мне безразлично, поскольку их картины меня волнуют».

Перефразируем:

«Жан-Кристоф может быть идиотом и его автор кретином, но мне это безразлично, поскольку стиль этой вещи хорош».

Или, может быть, вы думаете, что ум и поэтичность необходимы только литераторам? Как же вы не видите, что красивая картина, лишенная духовности, сердечности, может взволновать только людей ремесла и никогда не взволнует рядового человека, здорового духом и сердцем? Разве вы вовсе пренебрегаете рядовыми людьми?

«Нас не интересует ни туша быка, ни добрый самаритянин, но только Рембрандт».

А меня интересует добрый самаритянин, увиденный глазами Рембрандта и пережитый его сердцем.

Приравнивать сезанновские яблоки или «тушу быка» к «Поцелую Иуды» Джотто или к «Странникам в Эммаусе» — значит рассуждать как эстет, а не как человек. Одна душа не равна другой. Одна жизнь не равна другой. Есть жизни, каких дюжины, тысячи, миллионы. И есть жизни *уникальные*. Кто мог хоть час жить во взгляде Иисуса или в муках Гроба господня — тот сам приобщился к возвышенному.

Если гений сердца, если поэтическое воображение — явление иного порядка, чем гений чистой живописи, то я назову великим живописцем того, кто обладает этим последним качеством; но я могу признать великим художником, великим человеком лишь того, кто обладает гением и в первом, и во втором смысле слова. Есть с десяток музыкантов, которые в области чистой музыки не ниже Бетховена. Но нет ни одного музыканта, кто обладал бы столь великой душой, как он. Поток этой души увлек за собою целое столетие.

Дружески ваш — Ромен Роллан.

Я не сужу о Сезанне в целом. Я сужу только о том, что знаю. Я даже не сужу о портрете, который видел в тот день. Я высказал не свое суждение, а свое впечат-

¹ Человек, приверженный природе (латин.).

ление (это не одно и то же). Да и то я высказал лишь потому, что вы меня спросили. Лгать — не умею»*.

Нам вовсе не обязательно соглашаться здесь с отдельными оценками Роллана. Здесь ставятся общие вопросы, выходящие за пределы творчества Сезанна и даже вообще за пределы живописи. В этих письмах с большой энергией выражена неприязнь Роллана к эстетству, к культуре художественной виртуозности, техники, превращенной в самоцель. Роллан здесь — как и во многих печатных работах — отстаивает содержательность искусства, его народность — в высоком, серьезном смысле этого слова. Искусство не изысканная пища для пресыщенных и праздных людей; но оно и не плоское воспроизведение будничных предметов. Роллан был убежден, что художник должен воспринимать действительность активно, творчески — осмысливать ее, а не просто копировать. (Отчасти именно из этих соображений он неприязненно, по сути дела несправедливо, относился к Курбе, чьи картины казались ему приземленными и духовно бедными). «Гений измеряется силою жизни, которую стремится пробудить искусство, этот несовершенный инструмент». Так написал Роллан в «Жан-Кристофе», так продолжал он думать и в последующие годы.

Однако в «Жан-Кристофе» Роллан увидел и показал художественную жизнь Франции глазами своего героя, через его простодушно-возмущенное восприятие. На первом плане там — фокусники, фигляры, прихлебатели, превращающие искусство в предмет коммерции и моды. От имени молодого и непримиримого Жан-Кристофа Роллан высказал ряд обобщенных и беспощадных оценок современной французской культуры. Теперь, после окончания работы над романом, ему хотелось разобраться в литературно-художественной жизни страны более спокойно, конкретно.

В «Парижских хрониках», которые Роллан опубликовал в швейцарском журнале, содержится серьезная критика по адресу апостолов морального нигилизма, таких, как Андре Жид, или духовных лидеров националистически-охранительного лагеря, таких, как Морис Баррес. Но здесь сказано и немало добрых слов по адресу одаренных, гуманных по духу французских писателей и особенно художников.

Любопытно, что, работая над этими «Хрониками», Рол-

лан советовался с Тьессоном, задавал ему вопросы: что можно прочитать «для самообразования» о Гогене, Ван-Гоге, Сезанне? Он впервые прочитал письма Ван-Гога и нашел их «замечательными». В дневнике за последние месяцы 1912 года много записей о посещении выставок: Роллан как бы заново открывал для себя современную французскую живопись, всматривался — с любопытством, а порой и с восхищением — в полотна Гогена, Дега, Сезанна, Ренуара. Особую симпатию ему внушал Клод Моне. Роллан хорошо понял, что эксперименты Моне, стремившегося запечатлеть прихотливую игру света, меняющиеся оттенки воздушной среды, — это не просто поиски новой техники, но нечто гораздо более значительное: стремление расширить возможности живописи, по-новому передать на полотне многообразие, богатство красок реального мира. Моне, писал Роллан Тьессону, больше всех других современных художников способен «заразить радостью бытия»*.

Роллан был и оставался непримиримым к декадентству, эстетству, к тем литераторам и живописцам, которые самодовольно любовались собственными душевными изломами и пытались создавать искусство для избранных, для немногих. Он часто и охотно выдвигал перед современными художниками примеры великих мастеров прошлых эпох, будь то Рембрандт в живописи или Шекспир в драматургии.

Однако Роллан ясно отдавал себе отчет, что подлинное искусство — всегда искание нового: если оно утрачивает творческое беспокойство, дух поисков, оно вовсе перестает быть искусством. А в такую сложную, бурную эпоху, как век двадцатый, ни литература, ни музыка, ни живопись тем более не могут быть простым повторением испытанных образцов, даже и самых совершенных. Настоящий художник впитывает в себя опыт предшественников — и всегда чем-то не похож на них. Ведь и Жан-Кристоф представлен искателем, новатором. Стремление к новизне в искусстве, по мысли Роллана, законно и необходимо не только в смысле тем и сюжетов, но и в смысле средств художественного выражения. С этих позиций он подходил и к живописи конца XIX — начала XX века. Французские художники этого периода намного обогатили искусство — и свое, национальное, но и мировое. Роллан укрепился в этом убеждении, изучая в 1912—1913 годах картинные галереи и выставки.

На серьезные размышления натолкнула его выставка работ живописца-самоучки Анри Руссо, бедного чиновника городской таможни, который после смерти приобрел громкую славу в художественном мире. «Очень своеобразное впечатление, — писал Роллан в дневнике. — Есть вещи, словно принадлежащие кисти ребенка... Порой уродливо-безобразное человеческое лицо. И наряду с этим — картины, которые потрясают вас величием, уверенностью, простотой стиля, правдивым и непосредственным отражением поэтического, здорового и глубокого чувства». Роллан догадывался, что тут не просто случайная судьба, случайная удача стихийного и не отшлифованного ученьем таланта. Наивно-свежее восприятие мира, сочетание бытового примитива со смелой фантастикой — все это таило в себе новые возможности развития живописи. Роллан, разумеется, не знал о младшем собрате Анри Руссо, грузине Нико Пиросманишвили; он не мог с точностью предсказать, что полтора-два десятилетия спустя в различных уголках Европы, отдаленных от больших культурных центров, — например, в югославской деревне Хлебине — расцветут новые яркие таланты живописцев-самоучек. Однако он сопоставил «естественную манеру» Анри Руссо с известными ему рисунками деревенских школьников, и это подсказало ему важный вывод. В современную эпоху — по мере того как трудящиеся получают доступ к начальному образованию — раскрываются новые перспективы перед народным самодеятельным искусством. Мастера-самоучки, вносящие в свое искусство большой запас конкретных жизненных наблюдений, не связанные артистическими канонами, стоящие вне распрей художественных течений и групп, могут внести в искусство оригинальный творческий вклад. «Скоро народ догонит опередившую его буржуазию — и перегонит ее. Он покажет, что он одареннее и художественно и умственно».

Чуткость к новому Роллан проявлял и в области музыки. Разумеется, Бетховен и Моцарт были ему во сто крат милее Дебюсси или Штрауса. Однако Роллан, критикуя современных композиторов (критикуя, в частности, Рихарда Штрауса, с которым он был хорошо знаком, за то, что тот поддавался «исступленным силам декаданса самоубийства»), умел уважать их таланты, видел элементы нового, плодотворного даже и в тех музыкальных

произведениях, которые не соответствовали его собственным художественным вкусам.

Любопытен в этом смысле, например, отзыв Роллана о Стравинском (в письме к парижской приятельнице Луизе Крюппи, написанном в апреле 1914 года): «Слушал «Весну священную» Стравинского (у Монте), — это было для меня самым сильным музыкальным потрясением с тех давних времен, когда я открывал для себя Вагнера. У меня было впечатление, что варвар попирает ногами всю святую музыку прошлого, все то, что мы чтим, — но прорубает топором ворота в новый мир... Ах, друг мой! Как вся наша дорогая музыка, классическая и вагнеровская, внезапно устареет, уйдет в торжественное полузабвение библиотек и музеев, когда свершится музыкальная революция, по-видимому, неизбежная!» Знакомство с творчеством новейших композиторов, конечно, не поколебало Роллана в его коренных музыкальных пристрастиях — и он сам делал все возможное для того, чтобы «музыканты прошлых дней» не ушли в музейное полузабвение, — но он не был консерватором в искусстве и не отвергал с порога того, что было для него непривычно.

Судьбы искусства, его место в жизни людей, взаимоотношения творческой личности и народа — весь этот круг вопросов продолжал глубоко занимать Роллана и после завершения «Жан-Кристофа». Он встает и в повести «Кола Брюньон», написанной в 1913 году.

Естественно, что Роллан после гигантского, очень утомительного труда над романом-эпопеей взялся за произведение небольшого объема, очень не похожее на «Жан-Кристофа» и по материалу, и по стилю, и по жанру. Сам этот резкий переход к новой теме, новой художественной манере заключал в себе возможность несколько освежиться и отдохнуть от того почти каторжного напряжения, с которым была связана работа над «Жан-Кристофом». Сам писатель говорил о «Кола Брюньоне» как об «интермедии» между большими трудами. После «Жан-Кристофа», произведения глубоко серьезного, отчасти даже трагедийного по своему характеру, Роллан с удовольствием писал веселую повесть, после романа о современности охотно взялся за вещь из эпохи позднего Ренессанса.

В дневнике и письмах Роллана имеется много свидетельств, что процесс работы над «Кола» необычайно бод-

рил и радовал его. И все же это был, конечно, не просто отдых. Повесть «Кола Брюньон» заключает в себе свое, вполне серьезное содержание. И при всем ее отличии от романа-эпопеи о Жан-Кристофе тут есть и нечто общее — в смысле проблематики и общей моральной настроенности. Перед нами опять, на новый лад — повествование о настоящем Человеке.

О сложном сходстве-несходстве обоих героев у Роллана есть примечательные высказывания в письмах. В мае 1912 года Роллан радостно расставался с Жан-Кристофом и писал Шатобриану: «Мы, пожалуй, слишком расположены расточать нашу любовь собственным созданиям. Я-то это знаю, — я дошел до конца 10-го тома «Кристофа» и сыт по горло сентиментальной франко-германской идеологией. Сам себе обещаю теперь, для разнообразия, несколько ломтей хорошего хлеба, сухого хлеба, на сендалевский манер, не смоченного слезами. Плохим бы я был отцом, наверное! Мой старший сын, этот мой Кристоф, — с каким удовольствием я говорю ему «Прощай»! Теперь, в конце концов, я ему больше не нужен»*. А год спустя, в мае 1913 года, Роллан писал тому же адресату: «Я погрузился в работу, я облекся в новую кожу, которая мне впору, как перчатка — я теперь совсем другой зверь. Я уже не Жан-Кристоф, я Кола Брюньон. Да, я, конечно, когда-то был им; и все бургундцы, которые дремали в моих костях, теперь проснулись и выставляют на солнышко свои красные рожи...»*

В начале 1914 года — когда повесть была уже в основном закончена и готовилась к печати — в литературном мире пошла сплетня о том, что Роллан написал «игривую книгу». Роллан говорит об этом в письме к Полю Сейпелю: «Если и до вас, дорогой друг, дойдут какие-нибудь злые пересуды в таком роде — можете ответить, что я не иду по стопам старых господ — шалунов из Академии, что мой Кола Брюньон — это Жан-Кристоф в галльском и народном духе, — я желаю, чтобы во Франции было побольше таких людей. Если публика будет ошарашена несколькими озорными словечками, взятыми из разговорного языка, — это значит, что в ней много тупоголовия и ханжества. Наперекор этой публике я обращаюсь к моим славным предкам»*. В другом письме Роллан продолжает: «Боюсь, как бы моя новая вещь вас не разочаровала. Кола Брюньон вовсе не интересуется потусторонним миром...» Роллан пишет далее, что

всегда бывает поглощен своими героями, как бы перевоплощается в них. «Так обстоит дело и с Кола Брюньоном. Этот славный малый завладел мною. Мне теперь нужно идти за ним до конца. Впрочем, я на это не жалею, — он человек крепкий, живой, держится свободно; Кристоф бы его полюбил; но я не вполне уверен, что и друзья Кристофа его полюбят. Ведь это настоящий галльский тип. Что поделаешь! Для меня это, так или иначе, интермедия...» И Роллан добавляет: «Вот закончу — и вернусь к нашим страшным современным вопросам. Слава богу, будет еще время и побиться над ними, и подраться ради них! Пока я смеюсь вместе с Брюньоном, другая часть моего существа стоит, как сторож, на башне, смотрит вдаль сквозь тьму и видит, как приближаются всадники из Апокалипсиса»*.

За годы работы над «Жан-Кристофом» Роллан выслушал немало упреков от соотечественников по поводу, его якобы немецких пристрастий. Иной раз и иностранные читатели романа-эпопеи высказывали мнение, что эта вещь «не во французском вкусе». Роллан не без раздражения писал по этому поводу Эльзе Вольф в 1908 году: «Итак, вам говорили, что я, наверное, не француз? Вот вам еще один пример, который показывает (вместе с тысячей других), насколько поверхностны и превратны ходячие представления о французах: я как раз и стараюсь опровергать такие представления в своих книгах. Нет во Франции ни одного француза, более чистокровного, чем я. Поднимаясь к дальним истокам моей родословной, вплоть до XVI века, я нахожу людей, осевших в том же уголке французской земли, в самом сердце Франции, в той же провинции, где я родился...» Быть может, споры вокруг «Жан-Кристофа» впервые заронили в сознание Роллана замысел повести, где действие развертывалось бы в его родной провинции, в ту самую эпоху, к которой восходят истоки его родословной. На страницах «Жан-Кристофа» — там, где действуют Оливье и Антуанетта, — Роллан стремился показать, что и в этих интеллигентах замкнутого, вдумчивого склада по-своему выразился характер нации, породившей Паскаля и Декарта. Однако в «Кола Брюньоне» его, словно по контрасту, привлекла задача: нарисовать, так сказать, классический тип француза, тот тип, который запечатлелся в средневековых фавлю, в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле, в комедиях Мольера.

Осенью 1913 года Роллан приехал в свой родной Кламси, где не был более двадцати пяти лет. Встреча с земляками, с хорошо знакомыми местами воскресила в нем воспоминания детства, помогла завершить работу над книгой. Конечно, Кламси в «Кола Брюньоне» — это не тот скучный захолустный городок, с которым юный Роллан в свое время распрощался без особого сожаления. В повести этот городок овеян драматизмом бурных событий, расцвечен поэзией народных преданий. Но Роллану было необходимо соприкоснуться с землей своих отцов, чтобы оживить в себе эту поэзию.

Через десять с лишним лет Роллан, работая над книгой «Внутреннее путешествие», обратился в мыслях к своему прадеду, якобинцу Боньяру:

«Портрет его вызовет недоумение добрых читателей, которые привыкли думать, что Ролланы — это плакучие ивы, бледные идеалисты, ригористы, пессимисты. Но меня это мало тревожит!.. Я знаю, чем я обязан тебе, старик: ты за многое брался, много пытался, хватал, смаковал, расточал и никогда жить не уставал; эту жажду борьбы и знания, жадную любовь к жизни, несмотря ни на что, ты метнул мне в день моего появления на свет, словно камень из пращи, который ничто не заставит уклониться с неведомого для него пути; и я поймал его, невзирая на все испытания, на слабое здоровье, на христианскую скорбь, влитую в меня вместе с другим потоком крови: крови Куро. Это твоя сумасшедшинка, смешавшись с их трезвой мудростью, позволила мне жить и выпекать хлеб жизни из зерна, взятого в ваших амбарах».

Эти строки, даже по интонации напоминающие вольный поэтический строй «Кола Брюньона», говорят, как естественно сочеталась в сознании Роллана веселая повесть из времен Возрождения с памятью о предке-вольномдумце, бравшем Бастилию. И они говорят о том, какое важное значение придавал Роллан жизнелюбивым «галльским» началам, заложенным в его собственной сложной натуре.

Работая в разные периоды жизни над произведениями, где затрагивались острые социальные проблемы — будь то драма «Побежденные» или пьесы о Французской революции, «Народный театр» или главы «Неопалимой купины», где речь идет о рабочем движении, — Роллан отдавал себе отчет, как трудно ему самому, художнику-

демократу, борцу за новое искусство, справиться с темой народа. Облик парижской толпы, не только в «Дантоне», но и в «Четырнадцатом июля», даже в лучших эпизодах этих драм, оставался суммарно-обобщенным. Фигуры современных французских рабочих у Роллана явно не получались: не хватало знания пролетарской среды, живых контактов с нею.

«Кола Брюньон» знаменовал в этом смысле нечто новое: тут бессмертный Народ воплощен в живом образе. Сплавив воедино свой жизненный опыт, свои мысли о великом будущем, ожидающем трудящиеся массы в новом столетии, с семейными преданиями и старым французским фольклором, переработав на новый лад демократическое наследие отечественной культуры, Роллан создал необычайно самобытную, полнокровную фигуру труженика — Француза с большой буквы и Человека с большой буквы: одаренного, мудрого, великодушного, неунывающего, непочтительного к господам и к церковным авторитетам.

В «Кола Брюньоне» по-своему отозвались размышления Роллана об оригинальности и силе народного самодетельного искусства. Кола Брюньон, столяр «из братства святой Анны», — не только ремесленник, но и художник, умеющий радоваться красоте цветка или женской улыбке и воссоздавать эту красоту в своих деревянных скульптурах. Народный умелец Кола не одинок, как бывал нередко одинок Жан-Кристоф: он свой человек среди простых людей Кламси, он живет в эпоху, когда художественный талант и народ могли составлять единое целое. Дух национального народного творчества торжествует и в самой манере повествования: язык народных песен, легенд, поговорок помогает создать тот просто-душно-жизнерадостный колорит, который гармонирует с характером главного героя.

Действие повести охватывает ровно год, события личной судьбы Кола и его земляков соотносятся с календарем природы: весна, лето, осень, зима. Этот год жизни Кламси насыщен разного рода тревоблениями: разорительные нашествия войск, эпидемия чумы, грабежи, пожары, смуты. За короткий срок Кола Брюньон испытывает множество бедствий и обнаруживает разные грани своего далеко не простого характера. Скептик и насмешник, словно нарочно построивший себе хату с краю — дом вне городских стен, — он в трудный мо-

мент проявляет энергию и решимость, сплачивает своих растерявшихся сограждан, организует защиту их жизни и достоинства от бандитской шайки. Трусливым соседям, которые испуганно бормочут: «У нас нет вождей», — Кола Брюньон возражает: «Будьте ими сами». От имени жителей Кламси он смещает недостойного правителя города: «Мы сами берем в руки кормило и весло».

Повесть была закончена осенью 1913 года. Роллан отдал ее не в «Двухнедельные тетради», а в журнал «Ревю де Пари», куда она была заранее обещана. Однако вольнодумное произведение смутило редакторов. Лависс предложил несколько поправок, на которые Роллан не согласился. Он решил вовсе отказаться от журнальной публикации и напечатать повесть сразу отдельной книгой в издательстве Оллендорф. Весной 1914 года «Кола Брюньон» был с радостью принят этим издательством, но выходу книги помешала война. Повесть появилась лишь в 1919 году.

Работая над «Кола Брюньоном», Роллан отчетливо сознавал, что Европа находится накануне грозных событий: ведь он сам предсказал в «Жан-Кристофе» близость мирового пожара, ведь он сам в письме к Сейцелю говорил о приближающихся «всадниках из Апокалипсиса».

И тем не менее война нагрянула неожиданно-негаданно.

1

Год тысяча девятьсот четырнадцатый начался для Ромена Роллана необычайно радостно. Впервые за много лет в его жизнь вошла большая любовь.

Молодая женщина, которая упоминается в его дневнике под инициалом Т., на самом деле носила имя Элена Ван Брэг де Кэй. Роллан называл ее — Талия, муза комедии.

Он несколько раз писал о ней Альфонсу де Шатобриану. В первый раз 8 января 1914 года. «Я, наконец, встретил эту американскую актрисочку, о которой я говорил вам, кажется, в Шенбрунне, как об одной из моих самых умных корреспонденток. Она обворожительна, чутьточку взбалмошна на англосаксонский манер, — преспокойно разговаривает с Господом Богом и потом переводит на английский язык, о чем шла речь (своего рода «Божественный разговорник»). И вы себе не представляете, как необычен контраст между этой непоколебимой крепостью веры — и юным личиком, шепелявой речью, вольным образом жизни и мысли, и особенно — карьерой этой маленькой Талии. В ней есть какое-то улыбочивое бесстрашие, она не сомневается в успехе, за что бы ни бралась, вплоть до того, что она написала пьесу и хочет добиться ее постановки в Париже. И ни на минуту она не допускает возможности неудачи (заметьте, что у нее нет никаких средств и очень мало связей). Все это комично и прелестно. Я скоро прочитаю ее сочинение, и мне яснее будет, чего стоит она сама. Если сочинение

и в самом деле хорошо — это будет прямо волшебная сказка...» *

30 января: «Я снова виделся с моей маленькой американской Психеей. Она очаровательна, и ее ум и дарование очень приятны. В том, что она написала и что я прочел, есть подлинные находки, много чувства и поэтичности, и тут же рядом — комичная наивность и громадные недостатки...» *

1 марта: «Я еще не рассказывал вам, с какими интересными американцами я встречался в последнее время. Не говорю уже о моей милой маленькой Талии, об этом — в другой раз, если вообще возможно говорить об этом в письме...» *

5 апреля: «Я живу неплохо, дорогой мой Шато. Но я весь захвачен горячей волной любви, которая уносит меня, как камешек. Пока что не грущу (еще придет время грустить). Это — страсть, в которой я нашел взаимность, мне самому в это не верится, я провожу день за днем в каком-то полусне. Не могу больше говорить, — об этом и не расскажешь, сердце плавится...» *

8 мая: «Не считайте, что я мало о вас думаю, если пишу мало. Думаю о вас постоянно, с отцовской нежностью. Но вы знаете, что я сейчас во власти совсем другого чувства. Оно поглощает много сил и времени. Но я не жалею. Мне была необходима эта новая весна» *

В июне Роллан поехал отдыхать в Швейцарию. Он поселился в Веве. Талия была рядом с ним. «Весь мир сосредоточился для меня в глазах любимой», — вспоминал он потом.

28 июня во всех странах Европы появились экстренные выпуски газет под большими тревожными заголовками. Убийство в Сараеве!

Наследник австро-венгерского престола Франц-Фердинанд и его жена были убиты выстрелами из револьвера в главном городе Боснии — славянской области, незадолго до того аннексированной империей Габсбургов. Журналисты сообщали подробности. Стрелял юноша, Гаврило Принцип, член подпольной организации «Млада Босна». Террорист не мог быть подвергнут смертной казни, так как был несовершеннолетним. Он ни в чем не раскаивался. Он заявил на следствии: «Мы любили свой народ».

В другое время Роллана, быть может, заинтересовала

бы личность юного мятежника, как заинтересовал за двадцать лет до того итальянец-анархист Казерио: не такого ли склада персонажи должны были появиться в неосуществленной книге «Жан-Кристофа»? Однако известие о выстреле в Сараеве пришло в момент, когда Роллан был предельно далек от мыслей о политике. Окружавшая его курортная публика была взбудоражена сообщениями газет. Обстановка становилась с каждым днем все более напряженной. Как поведет себя Австро-Венгрия? Сербия? Россия? А Роллан читал в глазах Талии «счастливое безразличие». Ему и самому хотелось бы побыть хоть еще немного в том блаженном, умиротворенном состоянии, в каком он прожил последние полгода. Но война стояла на пороге. И она разразилась.

Впоследствии Роллан писал (в автобиографическом очерке «Кругосветное плаванье»), что он и до начала войны был внутренне подготовлен к разрыву с обществом, со всем господствующим строем жизни. В 1912—1914 годах у него складывались замыслы новых произведений, в которых он «намеревался приступить к полной переоценке социальных и моральных ценностей эпохи».

И вот — разрыв действительно оказался неизбежен.

Ни по возрасту, ни по состоянию здоровья Роллан не подлежал мобилизации. Возвращаться во Францию, являться на призывной пункт не было необходимости. Роллан лихорадочно вчитывался в газеты, старался понять, что происходит. 1 августа он был потрясен известием об убийстве Жореса, которого он по-настоящему уважал и, единственного из социалистических лидеров, знал лично. Националисты Жореса ненавидели — это было всем хорошо известно. В памяти Роллана ожила фраза, слышанная от Пеги еще несколько лет назад: «Как только будет объявлена война, надо будет расстрелять Жореса...» Вспоминать об этом теперь было мучительно, — Роллан сохранял остатки добрых чувств к редактору «Двухнедельных тетрадей» (немного позже, в середине сентября, узнав о смерти Пеги на фронте, он отозвался на это событие коротким взволнованным некрологом). Так или иначе — гибель Жореса воочию показывала, как страшен военный психоз, охвативший Европу. Жорес, быть может, сумел бы поднять голос против этого психоза, — кто это сделает теперь?

В нейтральную Швейцарию приходила пресса из всех

воюющих государств. Французские журналисты зывали к патриотизму сынов Республики, немецкие истопно вопили о защите ценностей германской Культуры. Французские газеты грозились сокрушить империю кайзера, немецкие — уничтожить деспотизм русского царя. Руководители социал-демократических партий разных стран покорно проголосовали за военные кредиты. Священнослужители католической, протестантской, православной церковей призывали верующих на поле брани, восклицая: «С нами Бог!»

Роллан читал — и приходил в отчаяние.

Третьего августа он записал в дневник: «Я подавлен. Я хотел бы умереть. Ужасно жить среди этого обезумевшего человечества и видеть банкротство цивилизации, сознавая свое бессилие. Эта европейская война — самая большая катастрофа в мировой истории на протяжении веков, это крах наших самых святых надежд на братство людей».

Первые недели войны Роллан прожил в состоянии тягостной нерешительности. Как жить теперь? Как действовать? На кого опереться?

Европейское побоище внушало ему отвращение и ужас. Но он помнил, что он француз, ему трудно было поставить на одну доску обе воюющие стороны. Соотечественники, которые с готовностью шли на бойню, вызывали в нем симпатию, смешанную с жалостью. Однако он не мог ощущать себя солидарным с ними.

Вся эта мучительная путаница мыслей и чувств отразилась в письме к Полю Сейпелю от 17 августа:

«Все письма, которые я получаю из Франции (они отправлены до 4 августа), показывают, что все мои друзья, независимо от партии и расового происхождения, охвачены одинаковым энтузиазмом и одинаковой воинственной яростью. Словно пробудился снова дух революционных войн; и, надо думать, он приведет к таким же сокрушительным результатам. Конечно, та единодушная воля, которая толкает на битву все нации Европы, — проявление сверхчеловеческой, космической силы, с которой тщетно спорить. Судьба заговорила. Быть может, и вправду были необходимы великие гекатомбы, чтобы избавить мир от германской тирании и закалить свободу в крови героев. Но, если я и чувствую, что бунтовать против Судьбы бесполезно, я знаю также, что я ей не покорюсь. Даже если она и увлечет за собой всех людей, меня

она не затянет в этот кровавый циклон. Я не способен чувствовать ненависть к какой бы то ни было расе; и знаю, что, кто бы ни вышел победителем, побежденной будет Европа, наше подлинное отечество. В первые дни, когда надо было найти свою дорогу посреди поля битвы, я пережил жестокие муки. Теперь я стал спокойнее, мне яснее, в чем мой долг»*.

Именно в эти дни у Роллана складывалось решение: выступить открыто, вмешаться в ход событий. Он писал Сейпелю 20 августа:

«Думаете ли вы о том, что, быть может, в этот самый момент кто-нибудь, подобный Ламартину или Альфреду де Виньи, убивает кого-нибудь, подобного Канту или Шиллеру? Чудовищно и абсурдно! Нет сомнения, что сама Судьба обрушивается в эти дни на человечество. Но долг человека — бороться с Судьбой. Ведь и человек — тоже Судьба»*.

Роллан в тот момент не вдавался в анализ социальных и исторических причин войны. Он готов был на первых порах довольствоваться самым примитивным иррационалистическим объяснением: мир сошел с ума, непонятные роковые силы толкнули миллионные армии друг на друга. Ему и в последующие месяцы не раз приходило в голову, что человечество поддалось какому-то наваждению, коллективному безумию, — эта мысль проскальзывает у него и в дневнике, и в письмах, и в некоторых статьях.

Понимание подлинных глубоких причин войны, ее тайных классовых пружин пришло к Роллану позднее, постепенно, в итоге трудной работы мысли.

На первых порах он воспринимал все происходящее в плане эмоциональном и нравственном скорей, чем в плане социальном. Ведь он был художником, а не политиком. И не столь легко ему было ввязаться в политику. Но он не мог иначе.

«...Надо было говорить, — вспоминал он годы спустя. — Почему? Потому, что никто не говорил».

2 сентября 1914 года в газете «Журналь де Женев» появилась статья Ромена Роллана «Открытое письмо Гергарту Гауптману». Здесь с большой прямоотой и силой ставился вопрос об ответственности интеллигенции за злодеяния военщины. «Кто вы, — спрашивал Роллан, обращаясь к немецким собратьям по перу, — потомки Гёте или потомки Аттилы?»

Роллан и прежде, в годы работы над «Жан-Кристофом», присматриваясь к общественной и культурной жизни Германии во время своих коротких поездок, с болью подмечал в нации Гёте и Бетховена укоренившиеся навски мящанского чиновничества, казарменной дисциплины. Он писал об этом в 1905 году одной из своих корреспонденток, Кларе Колле: «Каждый раз, когда я бываю в Германии, я восхищаюсь и немного боюсь этой великолепной машины, какою кажется мне немецкая нация. Вся она способна есть, думать, хотеть и действовать, как один человек. Я спрашиваю себя, как могут существовать индивидуальности в этом поразительном Государстве. Эти люди могут в заранее назначенный день и час по указанию Государства проникнуться энтузиазмом во имя какой бы то ни было цели».

Но Роллан все же до войны не предполагал, что немецкие писатели, художники, ученые могут «проникнуться энтузиазмом» во имя империалистической агрессии до такой степени, как это произошло в действительности. Гергарт Гауптман ответил на его «Открытое письмо» в корректно-самоуверенном тоне — по существу вполне в духе официальной пропаганды. А в конце сентября появился в печати «Манифест 93» немецких деятелей культуры. Среди подписавших были Гергарт Гауптман и другие известные писатели — Герман Зудерман, Рихард Демель, ученые с мировыми именами — В. Оствальд, Э. Геккель, М. Планк, В. Вундт, сын знаменитого композитора Зигфрид Вагнер, режиссер Макс Рейнгардт: все они без колебаний одобряли образ действий кайзеровской армии, которая ворвалась в нейтральную Бельгию, разрушила архитектурные сокровища старинного города Лувена.

Роллан был возмущен всем этим. Но он не мог быть слеп и глух к тому, что творилось в те же дни у него дома, во Французской республике. И там тоже волна воинственного психоза поднималась все выше. К хору ура-патриотов примкнул в числе других прославленный философ Анри Бергсон; в духе оголтелого милитаризма высказались в первые же дни войны не только литераторы консервативного лагеря, такие, как Морис Баррес, но и такие рафинированные эстеты, как Анри де Ренье; семидесятилетний Анатолий Франс даже демонстративно попросился добровольцем на фронт... Для Роллана становилось все очевиднее, что необходимо обратиться ко всем

мыслящим людям, особенно к молодежи, обеих воюющих сторон, с призывом не поддаваться военному угару. В этом духе и написал он статью «Над схваткой», — она появилась в «Журналь де Женев» 22—23 сентября. (Это же название Роллан дал сборнику антивоенных статей, который вышел через год с небольшим.)

Сохранился корректурный лист: печатный заголовок «Над ненавистью» зачеркнут и заменен словами «Над схваткой». Роллану казалось, что эта формулировка точнее выражает его мысль. Он вовсе не считал, что следует перед лицом военных событий сохранять нейтралитет и бесстрастно умыть руки. Заголовок «Над схваткой» меньше всего был задуман как формула равнодушия. В условиях взрыва шовинистических страстей он звучал вызывающе. Сказать «нет» войне означало, по сути дела, вступить в схватку с глашатаями ненависти, захватов, убийств.

Много лет спустя, в 1926 году, Роллан писал в послании к швейцарским студентам: «Меня ошибочно почитали нейтральным, потому что я стал «над схваткой» наций, но каждому должно быть ясно теперь, что я боролся больше, чем кто бы то ни было, и только заменил одну схватку другой, более обширной, более плодотворной». Еще раньше, в июле 1919 года, он писал об этом же Бернарду Шоу: «Я вовсе не нахожусь «над схватками», над всеми схватками. Я был, есть и всегда буду «над схваткой» наций и стран. Но я участвую в борьбе против наций, каст, против всех барьеров, разделяющих людей».

Выступить в дни войны против милитаризма и национальной вражды значило вызвать к себе вражду правящих классов и партий обеих воюющих сторон. Так и случилось с Ролланом. После первых же его статей против него поднялась дикая травля и в немецкой и во французской печати. И так продолжалось до конца войны.

«Сообщаю вам, — писал Роллан Софии Бертолини 2 ноября 1914 года, — что ваш друг Роллан объявлен во Франции врагом народа. Статьи, которые мы читали, особенно «Над схваткой», навлекли на меня самые подлые оскорбления со стороны парижской прессы. В этой кампании ненависти шовинистические страсти сомкнулись со старыми обидами моих врагов, персонажей «Ярмарки на площади». Вы не можете себе представить, каким низким поношением я подвергаюсь. И невозможно ответить этим бешеным. Все французские газеты для меня закрыты.

Мне не могут простить моих слов, что ничто меня не заставит отречься от бывших немецких друзей, и в особенности — что я выразил сожаление по поводу использования африканских и азиатских войск в Европе. Со мной обращаются, как с врагом отечества. Во Франции я конченный человек на много лет. Впоследствии мне воздадут должное и поймут, что я действовал во имя чести Франции. Но пока что придется худо. И так как немецкие газеты поносят меня не меньше — я стал изгоем в масштабах Европы. Нелегко приходится тому, кто не захотел поддаться всеобщей ненависти. — Я ни о чем не сожалею. Я должен был поступить именно так, и знал, на какой риск я иду. Я давно уже предчувствовал приближение великого испытания. И вот великое испытание пришло. Я выйду из него более крепким — или вовсе сломленным».

С несогласием, непониманием Роллан столкнулся даже и в собственной семье. Правда, и мать и сестра Мадлена были на его стороне. (Мадлена, находясь в Париже, поддерживала брата, как могла, помогала готовить к печати сборник «Над схваткой».) Старик отец — ему исполнилось к началу войны 78 лет — не сочувствовал антивоенным взглядам сына, но и не вступал с ним в серьезный спор, — разве только изредка мягко журил его. Зато некоторые из родственников сильно всполошились, прочитав первые статьи Роллана. 28 декабря 1914 года он в письме к Максиму Куро — дяде с материнской стороны — постарался объяснить свою позицию:

«Если я во всех этих статьях противопоставляю старую Германию — нынешней, если я обличаю те несправедливости в мыслях и поступках моих соотечественников, которые могут повредить правому делу, защищаемому ими, если я среди сражений напоминаю девиз Красного креста, девиз человечности, — то я, по моему убеждению, делаю дело честного человека и хорошего гражданина... Пусть я и взял на себя неблагоприятную роль. Она вызывает ненависть ко мне со стороны многих — это неизбежно. Но столь же неизбежно, по-моему, что когда-нибудь Франция оценит мои действия по заслугам»*.

Роллан, как мы видим, в первые месяцы войны склонен был думать, что война Франции против кайзеровского империализма — дело по существу правое (и это психологически понятно, — ведь боевые действия велись тогда на французской территории, куда вторглась

немецкая армия). Но он в то же время горячо протестовал против зверств, насилий, разрушений, разжигания шовинистических страстей.

Ему трудно было связать концы с концами, он и не пытался найти ответ на вопрос — каким образом положить конец войне. В этом смысле его позиция была, конечно, политически шаткой. Но уже в том, что Роллан в первые же недели войны, наперекор всем и всему, поднял одинокий голос сторонника мира среди оглушительного шума битв, сказалось его громадное гражданское мужество.

Роллан в то время был, казалось бы, совершенно один. Но он говорил не только от своего имени. Он предвещал те смутные, стихийные антивоенные настроения, которые поднимались и нарастали в миллионах людей — в солдатах империалистических армий, терпевших тяжкие лишения, раненых, изувеченных, пленных, в их семьях, находившихся в непрерывной мучительной тревоге за мужей и отцов, в их женах и детях, лишившихся кормильцев, подчас угнанных из родных мест, оставшихся без хлеба и крова...

Упоминание о Красном Кресте в письме Ромена Роллана к дяде не было риторической фразой. Он еще осенью 1914 года решил включиться в работу Международного Красного Креста, чтобы практически участвовать в помощи жертвам войны. Его отговаривали: стоит ли ему, известному писателю, браться за будничные дела, которые с тем же успехом могли выполнить другие? Но Роллан чувствовал душевную потребность — не только выступать в печати против войны, но и быть в повседневном контакте с теми, кто пострадал от нее. И по мере возможности облегчать их судьбу.

В октябре 1914 года Роллан перебрался из Веве в Женеву (там же на время поселились его родители, которые и в последующие годы несколько раз к нему приезжали). Вместе с другими сотрудниками-добровольцами — всего их было около 150, а потом стало свыше пятисот — он начал работать в Агентстве помощи военнопленным, организованном Международным Красным Крестом. Роллан беседовал с множеством разнообразных людей, которые обращались в это агентство; он читал тысячи писем солдат, офицеров, лиц из гражданского населения, интернированных в различных воюющих странах.

Он записывал в дневник:

«Бедные гражданские пленные, никак не подготовленные к таким испытаниям, были внезапно уведены из дому, — им не дали взять ни одной вещи или даже смены белья. Где они теперь? Никто не знает. Брали людей разного возраста, женщин, детей, стариков. Угоняли население целых деревень. Из одного Амьена угнали 1500 человек. Бельгия еще больше пострадала. Оттуда никак не получишь известий. Уже два месяца, как ничего нельзя выяснить. Матери разыскивают дочерей, которые воспитывались в монастыре. Монастырь исчез, — где же дочери?»

Не следует думать, впрочем, что только немцы прибегают к таким варварским мерам, напомиающим обычаи древних рабовладельцев. Сразу же после объявления войны все немцы, мужчины, женщины, дети, которые находились во Франции (а их было много) были задержаны и отправлены по разным местам в концентрационные лагеря. С ними там не обращаются грубо; но образованные девушки, мужчины выдающихся дарований, старики вынуждены вот уже два месяца спать на соломе (знаю это из писем), и количество взятых в плен примерно одинаково с обеих сторон. Агентство постарается организовать обмен. Оно надеется скоро добиться репатриации, по крайней мере, женщин и детей до 17 лет, ибо все те, кто старше этого возраста, считаются в Германии подлежащими мобилизации. Это само по себе говорит о том, с каким упорством она намерена воевать».

Письма и еще письма. Самые диковинные адреса: «В Агентство путешествий», «В Агентство справок», «В Институт информации», «Г-ну директору тюрьмы Красного креста», «Г-ну директору мира», «Г-ну директору войны», «Г-же начальнице, Всеобщее бюро, Берн»... Письмо французского солдата невесте, нацарапанное карандашом перед атакой: он постарается захватить вражеское знамя, а если умрет, то — с мыслью о ней. Рассказ молодой бретонки о том, как она искала труп брата на полях сражений и нашла изуродованное тело через два месяца после его смерти. Просьба пожилого бельгийца — разыскать его пропавшую жену и других членов семьи, всего двадцать два человека. Короткое письмо от русского, сын которого служил санитаром в бельгийском Красном Кресте и пропал без вести: «Сын мой, где ты, во имя Бога? Напиши! Твой несчастный отец». Обращение в Агентство от француженки, муж которой интерни-

рован в Праге: она, как и вся семья, в ссоре с ним, но просит переслать ему молитвенник. Написанное каракулями письмо тяжело раненого французского солдата: он умирает в немецком госпитале и пытается утешить родителей. Послание некоей Сюзанны Б. из Лиона «немецким матерям, сестрам по несчастью». Пакет из Ганновера: немецкий солдат нашел у убитого француза измятые, испачканные кровью листки, последний привет родным, и просит Красный Крест переслать его по назначению.

Письма и еще письма. Роллан читал, отвечал, разыскивал, хлопотал, утешал, поддерживал, вбирая в себя муки и тревоги неизвестных ему людей. И все очевиднее для него становилось, что он не один, что он призван бороться, призван говорить от имени многих.

Он писал в январе 1915 года парижскому литератору Габриелю Сеайлю — в ответ на упрек, что он «изолирован» от событий войны и не может верно судить о них:

«Я не изолирован. Я никогда не был изолирован: это легенда, которую я не старался развеять, так как она мне удобна и облегчает мою работу. Думаю, что очень немногие люди в течение последних двадцати лет находились в духовном общении с большим количеством лиц, чем я. А тем более — с начала войны. Если я сейчас поселился в Швейцарии, то именно потому, что здесь мне можно, как нигде, быть в контакте с умами всех наций. Здесь я могу держать руку на пульсе воюющей Европы...»

И в самом деле. Здесь, в Швейцарии, люди, которые приезжали из стран, где шла война, фронтовики, получившие отпуск для лечения, друзья и родственники военнопленных, обратившиеся в Красный Крест, могли высказываться гораздо более откровенно, чем у себя дома. Здесь, в Швейцарии, было особенно очевидно, что о настроении народов воюющих стран, и особенно о настроении армий, нельзя судить на основании крикливых газетных передовиц. Возвращаясь домой после ежедневной многочасовой работы в Агентстве, Роллан обдумывал прочитанное и услышанное за день. И в дневнике появлялись записи:

«Из письма французского солдата, — оно получено в Агентстве 23 мая: он просит сообщить о судьбе его брата и родителей, о которых он ничего не знает с самого начала этого проклятого похода. «Если это будет еще долго длиться, я лишу себя жизни...»

Француженка, медицинская сестра, которая приехала

с Восточного фронта, говорила два дня назад д-ру Ферье-ру, что французы, и раненые, и врачи, почти все устали от войны и жаждут мира».

В первые недели войны Роллан склонен был думать, что международное социалистическое движение потерпело полный крах, целиком подчинилось милитаристским силам; отчасти именно поэтому он так настойчиво обращался к «интеллектуальной элите», возлагал надежды только на нее. Но уже в конце октября 1914 года он узнал о заявлении против войны, которое подписали Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Франц Меринг и Клара Цеткин. А немного времени спустя он записал в дневник:

«В Рейхстаге (начало декабря). Отважный Либкнехт, единственный, отказывается голосовать за военные кредиты. Его партия от него отрекается. Вся Германия оскорбляет и поносит его. Ему бросают в лицо, как ругательство, клички — «отщепенец» и «чужак». Да будет это для него впоследствии почетным званием!»

Карл Либкнехт внушал Роллану уважение и живейшую симпатию: ведь и он сам на собственном опыте постиг, что это значит — отстаивать свои убеждения наперекор бойкоту и травле. Каждое новое антивоенное выступление Роллана в «Журналь де Женев» вызывало бурю откликов. Вся официальная французская пресса обрушивалась на него с грубыми нападками. За оскорбительными статьями в печати следовали письма, чаще всего анонимные — одно яростнее другого.

Роллана подозревали в том, что он не француз, а швейцарец, а может быть, и немец. Его обвиняли в том, что он всегда предпочитал родной Франции чужие страны. И в том, что он, никогда не покидавший пределы Франции, после начала войны бежал в Швейцарию от воинской повинности. Утверждали, что он вовсе и не был в штате Сорбонны, а за лекции ему платили слушатели в частном порядке. И что он, как профессор Сорбонны, получал «жирный оклад» от Французской республики, которую теперь предает. Ему издевательски советовали перейти в иностранное подданство, сменить имя Ромен на Жермен (германец).

Но приходили и другие письма — добрые, растроганные. Читатели благодарили Роллана и за роман «Жан-Кристоф», проникнутый идеями дружбы народов, и за мужественные статьи в «Журналь де Женев». Солдаты и офицеры-фронтовики, пленные, интернированные в ла-

герьх, просили писателя прислать его книги и номера женевской газеты с его статьями. Эмбло, директор издательства Оллендорф, сообщал, что, к его удивлению, — хоть спрос на художественную литературу, вообще говоря, резко упал с начала войны, — «Жан-Кристофа» все время требуют в книжных магазинах, приходится выпускать том за томом повторными тиражами.

Редактор провинциальной газеты «Комба сосиаль» (из города Монлюсона) выразил благодарность Роллану за его смелые строки, которые он перепечатал в своей газете. Монлюсон не так далеко от Кламси; приятно сознавать, писал редактор, что «апостол братства» — почти земляк! Роллан был тронут, — ему вспомнился прадед Боньяр, носивший в дни якобинской диктатуры звание «апостола свободы».

Отрывки из статьи «Над схваткой» перепечатала и профсоюзная газета «Батай сендикалист»; это вызвало приток сочувственных читательских писем в редакцию. «Скажите товарищу Ромену Роллану, — говорилось в одном из писем, — что мои друзья и я думаем, как он». Товарищ Ромен Роллан! Автора «Жан-Кристофа» еще никто не называл так...

Подобные свидетельства солидарности радовали и ободряли Роллана, но на первых порах их было не столь много. Более чем когда-либо ему было нужно доброе слово близких по духу людей. Он был доволен, что его младшие литературные собратья, находившиеся на фронте, — и Альфонс де Шатобриан и особенно Жан-Ришар Блок — часто и дружески с ним переписывались, хотя далеко не во всем были согласны с его антивоенными статьями. Эмиль Верхарн, охваченный яростной ненавистью к немцам, которые залили кровью его родную Бельгию, не разделял взглядов Роллана на войну, но тем не менее до самой своей смерти (в 1916 году) проявлял к нему самую искреннюю симпатию.

Зато глубокую обиду нанес Роллану Луи Жилле, давний почитатель и ученик. Перед войной он составил сборник избранных статей Роллана и написал к ним обширную вступительную статью. Теперь Луи Жилле, ставший капитаном генерального штаба, потребовал от издательства Оллендорф, чтобы тираж сборника с его предисловием был уничтожен: статья о Роллане, которую он не так давно писал со старанием и любовью, казалась ему несовместимой с его нынешним офицерским достоинством.

Поступок Жилле, который с такой легкостью отрекся от двадцатилетней дружбы, явился для Роллана, по собственным его словам, одним из сильнейших огорчений, какие он когда-либо испытал.

За годы войны Роллану пришлось пережить и другие разочарования в людях, которых он привык ценить. Ему было горько, что среди деятелей культуры, поддерживавших пропаганду войны «до победного конца», оказались и его любимый наставник Габриель Моно и великий скульптор Огюст Роден. Ему было обидно читать статейки в милитаристском духе, которые писал его старый литературный соратник, критик Альфонс Сеше.

По немногим скудным записям дневника мы можем судить и о горестях более скрытого, личного характера, которые осложняли жизнь Роллана в то время.

Талия осенью 1914 года уехала в Нью-Йорк к родителям. Роллан тосковал по ней, писал ей длинные влюбленные послания. Но французская цензура беззастенчиво контролировала его личную корреспонденцию. Письма Талии и даже каблогаммы, которые она посылала из Нью-Йорка в Швейцарию, перехватывались по дороге, доставлялись с большим опозданием, а иногда и вовсе не доставлялись. Все это причиняло Роллану массу тревог.

Талия пыталась, находясь в Америке, поддержать Роллана в его борьбе, переводила его статьи и старалась — правда, без успеха, — опубликовать свои переводы (только после войны ей удалось напечатать свой очерк о Роллане, написанный в весьма восторженном тоне, в «Нью-Йорк иннинг пост»). Она рвалась обратно в Европу, и Роллан ждал ее, собирался даже летом 1916 года познакомиться с матерью и сестрой. В 1917 году у Талии возник план поездки в Рим (у нее были в Италии друзья и родственники), и Роллан заранее попросил Софию Бертолини оказать покровительство молодой американке: «Это добрая, прелестная, поэтически одаренная натура, из очень хорошей нью-йоркской семьи... Я думаю, что вы ее полюбите и сможете ей помочь советами; она, по своему юному простодушию, нуждается в некотором руководстве, причем так, чтобы она сама этого не заметила...» Но приезд Талии в Европу в военное время наталкивался на разного рода препятствия. Роллан крайне тяжело переносил разлуку с любимой женщиной, с которой ему пришлось расстаться

как раз в момент, когда она была ему особенно необходима.

В течение первого года войны у Роллана не раз возникали сомнения: стоит ли продолжать борьбу, в которой он так одинок? Будет ли его голос когда-нибудь по-настоящему услышан? Во Францию его статьи проникали лишь в виде извлечений и отрывков, подчас с большими искажениями. Выход сборника «Над схваткой» в издательстве Оллендорф долгое время задерживался из-за цензурных трудностей.

Зато цензура передала текст одноименной статьи Роллана его давнему противнику, реакционному журналисту Анри Массису, который использовал ее как обвинительный материал в своей брошюре, носившей характер доноса, — «Ромен Роллан против Франции». Травля Роллана в прессе становилась день ото дня более разнузданной, и ни он, ни его друзья не имели возможности дать отпор клеветникам.

Больше того. Роллану становилось все труднее сохранять ту трибуну, которой он в течение почти года пользовался в Швейцарии. Ваньер, редактор «Журналь де Женев», отказался опубликовать его статью памяти Жюреса. Роллан проявил настойчивость, и статья появилась. Но стало очевидным, что руководители газеты не расположены портить отношения с правящими французскими кругами — с теми, кто хотел бы обречь неудобного им писателя на молчание.

В июле 1915 года Роллан был встревожен слухами о сепаратных переговорах царской России с кайзеровской Германией. Ему хотелось бы поднять этот вопрос в печати, но печататься было практически негде. Он был надломлен физически и душевно — и записал в дневник 22 июля: «Я уезжаю из Женевы, где прожил десять месяцев. Нервы истощены до предела. Помимо тревоги за общественные дела, помимо опасностей, о которых во Франции не знают и скрывают, и невозможности о них сигнализировать (поскольку я лишен какой бы то ни было трибуны) — я измучен личными переживаниями...»

Но и в горном селении Шато д'Экс, куда Роллан уехал на отдых, он продолжал интенсивно вести дневник, откликался и на важнейшие международные события и на письма, которые получал в изобилии.

У него постепенно укреплялись контакты с небольшой группой французских социалистов и профсоюзных

деятели, которые остались верны идеям интернационализма. Эти люди — Мергейм, Монатт, Росмер, Амеде Дюнуа — не пользовались большим влиянием, но они видели в Роллане ценного союзника и, насколько могли, старались помочь распространению его статей во Франции.

Мало-помалу расширялся и круг единомышленников Роллана среди писателей, деятелей культуры разных стран. Он познакомился, в частности, с Германом Гессе, немецким прозаиком и поэтом, жившим постоянно в Швейцарии. Еще в конце 1914 года Гессе попытался в свойственной ему мягкой, сдержанной манере усюветить своих соотечественников, охваченных военной истерией. Роллан вступил с ним в переписку, они встретились — и нашли общий язык.

25 августа 1915 года Роллану написал Роже Мартен дю Гар, призванный в армию и находившийся в автомобильных войсках. Оказалось, что он впервые узнал об антивоенных статьях Роллана... благодаря пасквилью Анри Массиса! Обвиняя Роллана в антипатриотизме и прочих смертных грехах, Массис вместе с тем, сам того не желая, помог многим французским читателям (конечно, не одному только Мартен дю Гару) познакомиться с полным текстом статьи «Над схваткой», которую он дал в виде приложения к своей брошюре.

«Какой глоток свежего воздуха, наконец-то, наконец-то! — восклицал Роже Мартен дю Гар. — Я преобразился, помолодел, мне больше чем когда-либо захотелось жить, и дожить до будущих времен! Я сейчас не в состоянии рассуждать и спорить. И не хочу. Скажу одно: первый глоток чистого воздуха, пожалуй, единственный за целый год, если не считать нескольких писем от очень малочисленных друзей, я снова получил благодаря вам. Я почувствовал потребность сказать вам спасибо и еще раз заверить в моей почтительной симпатии».

И в тот же самый день, 25 августа, с письмом к Роллану обратился доктор Альберт Швейцер, интернированный французскими властями в Ламбарене, в Экваториальной Африке. «Я — в гуще джунглей, но газеты до меня доходят, и ваши мысли — одно из редких утешений в это грустное время. Вы понимаете сами, поскольку знаете меня, как много общего в наших взглядах. Мне было необходимо сказать вам, как я восхищаюсь мужеством, с которым вы восстаете против мерзости, одурманившей массы в наши дни... До свиданья, — когда? Бо-

ряйтесь хорошо, я всем сердцем с вами, хоть и не могу в нынешнем моем положении деятельно вам помочь. Всем сердцем с вами».

Получив от Роллана дружеский ответ, Швейцер 10 ноября снова писал ему:

«Я чувствую, что вы потеряли много друзей, на которых, как вы думали, можно было положиться. Значит, те, кто понимают и любят вас еще больше за то, что вы остались человеком, должны вдвойне доказать вам свою привязанность и преданность. Нам надо будет провести громадную работу, чтобы создать у людей новый образ мыслей... Спасибо за новости о композиторах. Каждое слово от вас звучит и для меня, в моем уединении, как хорошая органная музыка».

Большой радостью для Роллана была моральная поддержка, которую оказал ему в дни войны Альберт Эйнштейн. Он еще в марте 1915 года написал Роллану:

«...Хочется выразить вам мое горячее уважение. Пусть ваш пример поможет другим отличным людям пробудиться от непонятого для меня ослепления, постигшего немало умов, которые до того мыслили верно и чувствовали здраво, а потом поддались какой-то злокачественной эпидемии. Смогут ли будущие века по-настоящему чтить нашу Европу, где три столетия усиленной культурной работы ни к чему не привели, кроме перехода от безумия религиозного — к безумию национальному? Даже ученые в разных странах беснуются, словно бы им восемь месяцев назад ампутировали мозг. Предоставляю в ваше распоряжение мои слабые силы на тот случай, если я могу быть вам полезен, либо благодаря моему положению, либо благодаря связям с немецкими и иностранными членами Академии наук».

В сентябре 1915 года они впервые встретились: Эйнштейн приехал в Веве, где находился в то время Роллан. Об их беседах в роллановском дневнике сохранились подробные записи:

«16 сентября. Профессор А. Эйнштейн, гениальный физик и математик из Берлинского университета, который писал мне еще прошлой зимой, приехал из Цюриха меня повидать... Мы проводим послеобеденные часы на террасе гостиницы Моозер, в глубине сада, окруженные роем пчел, которые садятся на цветущий плющ. Эйнштейн еще молод, невелик ростом, у него широкое и длинное лицо, обильная грива, волосы — сухие, немного

курчавые, подчерченные сединами, — поднимаются над высоким лбом; нос мясистый и насмешливый, рот маленький, толстые губы, коротко подстриженные усы, полные щеки и круглый подбородок. Он говорит по-французски с трудом, то и дело вставляя немецкие слова. Он человек очень живой и веселый и не может удержаться от того, чтобы даже самые серьезные мысли облекать в шуточную форму».

Роллану особенно понравилась в Эйнштейне «абсолютная, счастливая и единственная в своем роде независимость духа»:

«Эйнштейн невероятно свободно судит о Германии, где он живет. Ни один немец не обладает такой внутренней свободой. Другой на его месте страдал бы от ощущения духовной изоляции в течение этого страшного года. А он — нисколько. Он смеется. И он сумел в военное время написать свой важнейший научный труд. Я у него спрашиваю, высказывает ли он свои идеи немецким друзьям, спорит ли он с ними. А он говорит, что нет. Он довольствуется тем, что на манер Сократа задает им вопрос за вопросом, чтобы нарушить их спокойствие. Он добавляет, что людям «это не особенно нравится!» Все, что он сообщает мне, вовсе не радостно, ибо доказывает, что с Германией нельзя будет заключить прочный мир, пока ее не раздавят. Эйнштейн говорит мне, что сейчас положение гораздо менее благоприятно, чем несколько месяцев назад. Победы над Россией взвинтили немецкие аппетиты и тщеславие. «Изголодавшиеся» — так говорит Эйнштейн о Германии. Повсюду сказывается жажда власти, иступленная религия силы и решимость добиваться захватов и аннексий. Правительство более умеренно в своих требованиях, чем нация. Если бы даже оно и хотело эвакуировать Бельгию, то не могло бы. Офицеры уже грозили бунтом. Крупные банкиры, промышленники, коммерческие объединения всемогущи; они хотят получить возмещение своих затрат; кайзер — просто орудие в их руках и в руках офицерства...»

«17 сентября утром (в 8 часов) пришел на перрон вокзала проводить Эйнштейна, который с саквояжем в руках возвращался в Берн. Обменялись еще несколькими словами. Эйнштейн говорит, что настроение в Германии изменилось за последние лет пятнадцать, с тех пор, как началось сближение Франции и Англии. До тех пор военная каста еще не верховодила всеми так, как теперь.

Присматриваясь к Эйнштейну, я замечаю, что он — как и другие немногочисленные умы, оставшиеся свободными среди всеобщего сервилизма — из духа противодействия пришел к тому, что видит прежде всего худшие стороны своей нации и судит ее почти так же сурово, как и враги его страны. Я и во французском лагере знаю людей подобного склада мыслей...»

Все яснее становилось Роллану, что у него нет оснований чувствовать себя покинутым и обреченным на молчание. Разные люди в различной форме высказывали ему горячее одобрение и благодарность.

Верный друг, художник Гастон Тьессон, обратился ко многим французским деятелям культуры с предложением высказаться в поддержку Роллана; он собрал ряд коротких статей и заметок, которые постепенно размещал в швейцарской печати. Среди авторов этих статей были известные писатели — главным образом те, кто сотрудничал до войны в журнале «Эффер»: Жан-Ришар Блок, Шарль Вильдрак, Люк Дюртен, Жорж Шенневьер, Леон Базальжет. Очень искренне написал известный художник старшего поколения Поль Синьяк: «От всей души восхищаюсь Роменом Ролланом, который сумел устоять против грозы и сказал те слова, какие надо было сказать, — подлинно человеческие слова...»

До Роллана доходили сведения о внутренних расприх, которые все время шли — отчасти и в связи с его выступлениями — в среде французских социалистов и синдикалистов. Представители революционного меньшинства опирались на Роллана в своей борьбе против социал-патриотов. Два его горячих приверженца, Марсель Капи и Фернан Дёпре, были вынуждены уйти из редакции журнала «Батай синдикалист», но остались верны своим убеждениям. Роллан писал в сентябре 1915 года: «Я, без моего ведома и помимо собственного желания, стал невидимым руководителем целой партии — всех тех, кто противостоит бешеным сторонникам «войны до победного конца». Правители и рабочие лидеры, занявшие с самого начала позицию в пользу войны, теперь совместно пытаются уничтожить меня во мнении народа, который был моей лучшей опорой».

В ноябре 1915 года сборник «Над схваткой» после долгих проволочек, наконец, появился. Читательский успех этой книги — несмотря на враждебное молчание прессы — был неожиданно большим. Книга выдержала три

французских издания за короткий срок; ее вскоре после выхода перевели на английский, шведский, итальянский, испанский, датский языки. Издательство Оллендорф получило много одобрительных писем от «пуалю» (так называли в то время во Франции солдат-фронтовиков).

И все же Роллан 29 января 1916 года не без горечи записал в дневник:

«Мне пятьдесят лет. Гордиться нечем. Хорошо бы, с нынешней моей душой, оказаться на двадцать лет моложе! Любопытное дело — сердце у меня теперь более молодое, чем двадцать лет назад. Жизнь коротка до смешного. Чувствую, что я только еще начинаю, а мне уже исполнилось полвека!

Телеграммы от Стефана Цвейга, Райнера Мариа Рильке, д-ра Альфреда Г. Фрида, Нидерландского антивоенного союза и т. д. Письма от Сейпеля, А. Фореля, д-ра Ферьера; от молодого студента-юриста из Лозанны, сына швейцарца, родившегося во Франции, и немки; он рассказывает мне, что мои статьи счастливым образом воссоединили распавшуюся семью, различные члены которой находятся в противоположных воюющих лагерях. Фиалки из Цюриха, розы из Берна, ландыши и подснежники из Женевы... Увы! Почему нет возле меня никого, кому бы все это доставило удовольствие».

Международный моральный авторитет Ромена Роллана, как художника-гуманиста и борца против войны, становился все более очевидным и общепризнанным. В ноябре 1916 года ему была присуждена Нобелевская премия по литературе, как говорилось в решении Шведской академии — «отмечая возвышенный идеализм его литературного творчества и проникнутую симпатией точность, с какою он сумел обрисовать различные человеческие типы».

За известием об этом награждении сразу последовал поток поздравительных писем и телеграмм из разных стран, от знакомых и незнакомых людей.

В ответ на приветствие «Кружка союзников» — группы французских и английских солдат, интернированных в Швейцарии, — Роллан писал:

«Эта награда присвоена не мне, а нашей стране, именно в этом смысле я ее и принимаю, и счастлив, что она может способствовать распространению тех идей, за которые Францию любят во всем мире. Я смею говорить так, сознавая, что эти идеи принадлежат не только мне,

но и ей, это идеи Монтеня, Вольтера, «миллой Франции» прошлого — а также и будущего, как я надеюсь и желаю».

Всю сумму Нобелевской премии Роллан роздал различным общественным благотворительным организациям — в Швейцарии, в Париже и в его родном Кламси. Самое крупное пожертвование досталось Международному Красному Кресту.

2

Статья «Убиваемым народам», опубликованная Ролланом в ноябре 1916 года, по его собственным словам, открыла собою «новый период» в его антивоенной деятельности: она прозвучала «как некая декларация полного разрыва не только с войной, но и со старым обществом, с капиталистическим и буржуазным строем, породившим войну. Я больше никого не щадил. Судил нации. Обвинял главного преступника — деньги».

За два года Роллан многое узнал и передумал. Он все дальше отходил от простодушных представлений о войне как непостижимом стихийном бедствии, возникшем по велению слепой Судьбы.

Кто развязал войну, кому она выгодна? Кому принадлежит реальная власть в воюющих странах? Роллан никому не хотел верить на слово. Конечно, он с интересом прислушивался к живым рассказам разнообразных своих собеседников; ему было любопытно, скажем, услышать от Эйнштейна, что в кайзеровской Германии крупные банкиры и промышленники, вкуче с генеральской кастой, более могущественны, чем сам кайзер. Но Роллан хотел сам дойти до корня, докопаться до истины. В нем заново проснулась исследовательская страсть историка, привыкшего доверять только фактам и документам. В его дневнике за 1915—1916 годы много страниц заполнено выписками из политических и экономических журналов, финансовых бюллетеней, статистикой прибылей крупного капитала, полученных благодаря войне. Немало записей в таком роде:

«Любопытные сведения о военных прибылях заводов Круппа (157.763.688 фр. в 1914—1915 гг., т. е. рост чистой прибыли почти на 77 миллионов) и о доходах американцев. Подсчитано, что за первые восемь месяцев

1915 г. Соединенные Штаты поставили на 2 с половиной миллиарда товаров...»

«Скандалное обогащение Соединенных Штатов благодаря войне. По сообщению из Лондона (от 12 августа) сумма военных заказов союзных держав достигает 600 миллионов фунтов стерлингов (15 миллиардов). Один лишь завод «Бетлеем стил корпорейшн» получил заказов на 60 миллионов фунтов. «Дюпон компани» на 40 миллионов, «Болдуин локомотив уоркс» на 30 миллионов и т. д. Эти громадные заказы оживили американскую промышленность и отодвинули громадный кризис. Пока еще они выполнены лишь наполовину («Аванти», 13 августа). Высшая степень злодейства: эти нейтралы спекулируют на продолжении побоища в Европе, а сами потихоньку благодушно поговаривают о мире, чтобы успокоить свою совесть».

И в дневнике и в статьях Роллана последних лет войны еще не раз промелькнут привычные наивные фразы о «космическом кризисе» и «коллективном безумии». Но факты и документы давали ему основу для таких обобщений, какие он не мог бы сделать летом 1914 года. В статье «Убиваемым народам» он писал:

«В том неудобоименуемом вареве, какое представляет собой нынче европейская политика, самый большой кусок — это Денги. Кулак, который держит цепь, связующую общественное тело, — кулак Плутуса. Плутуса и его шайки. Это он — истинный хозяин, истинный глава государств... Народы, жертвующие собою, умирают за идеи. Но те, которые приносят их в жертву, живут ради корысти... Несчастные народы! Можно ли себе представить жребий более трагический! Никогда ни о чем не спрашиваемые, всегда приносимые в жертву, ввергаемые в войны, принуждаемые к преступлениям, которых они никогда не хотели совершать...»

Роллан и теперь в своих антивоенных статьях выступал не как экономист и политик, а как художник. Его главной сферой исследования были не материально-хозяйственные и даже не социальные, а прежде всего нравственные, психологические процессы, происходившие в людях. Вместе с тем для него становилось все более очевидным то, о чем он писал своему другу Сейпелю еще в самом начале войны. Человек — это тоже Судьба! Силы, породившие войну, заинтересованные в ее продолжении, не столь уж таинственны. Их можно распо-

знать, — значит в конечном счете можно и побороть. Роллан призывал «убиваемые народы» объединить свои усилия, чтобы не только положить конец войне, но и добиться коренного социального обновления. А деятелей культуры, людей творческого труда он (в частности, в статье «Писателям Америки») призывал к тому, чтобы они помогли угнетенным массам осознать свою мощь и обрести голос.

8 ноября 1916 года Роллан ответил на анкету «Литература и будущее», организованную французским журналом «Бонне руж»:

«Вы спрашиваете, какую позицию должны будут занять писатели после войны. У них был и есть один долг, и до нее, и после: правда. Но я надеюсь, что после войны будет больше людей, познавших правду и знающих ей цену. Они встречались с ней лицом к лицу, в несчастье и ужасе. Ну и что же — пусть говорят, пусть говорят все! Пусть каждый расскажет, что видел, что переживал, все до конца! Пусть каждый посмеет заглянуть в глубины своего сознания, пусть вытащит наружу, осветит беспощадным и здоровым светом реальности все то, что он старательно прячет в тени своего сердца: истинные или ложные верования, условности, предрассудки, мелкие, обязательные и не безвыгодные светские «кредо»! Пусть он все заново поставит под вопрос: те чувства, те идеи, которые были когда-то великими и животворными, но теперь в значительной части омертвели, превратились в пышные и заплесневелые идола! Нужно избавить общественное сознание от лжи, в которой погрязла современная жизнь в силу казенного воспитания, корыстных традиций, привычной и ленивой гордыни, косности, трусости. Перед нами задача: очистить дом, впустить туда чистый воздух, свет, дыхание будущего. Наш лозунг: «Долой ложь!» Я знаю немало французов, которые последуют этому призыву».

Роллан к концу войны — еще больше, чем в начале, — чувствовал себя своего рода рупором миллионов угнетенных, которые поднимают среди бойни «крик боли и мятежа». В июле 1917 года он писал женевскому пастору Луи Ферьеру:

«Я слишком хорошо был знаком с «Ярмаркой на площади» в мирное время, чтобы не распознать ее в военное время, в разных странах — теперь она в тысячу раз опаснее, чем была, потому что держит в своих руках и

меч, и кляп Прессы, порабощенной во имя «общественного спасения».

Я не из тех пацифистов, которые по слабости характера боятся опасностей битвы. В течение трех лет я веду битву, вовсе не безопасную. Я всем сердцем с теми, кто осуждает и обличает беззакония кайзеровской Германии. Но — именно потому, что это беззакония, а не потому, что они исходят от Германии. И если я вижу беззакония, совершаемые другой стороной, я тоже не могу их терпеть.

А я их вижу и с другой стороны. Я вижу их в самой основе цивилизации Европы (и Америки), в политике всех государств, в социальной системе; и худшее из беззаконий, по-моему, в том, чтобы бороться с одними и прославлять другие, тогда как надо бороться с системой в целом...

В течение трех лет я выслушиваю доверительные излияния множества угнетенных, я слышу крик боли и мятежа, который поднимается во всем мире, и говорю: рано или поздно этот крик будет услышан всюду, потому что превратится в оглушительный взрыв. И тогда — горе миру! Он будет залит новым потоком человеческого страдания...» *

Роллан надеялся на торжество нового общественного строя, более справедливого и более достойного человека. И он считал святой обязанностью писателей — участвовать силою своего творчества в деле социального обновления. Его статьи 1916—1918 годов, объединенные им впоследствии в сборнике «Предтечи», одушевлены своеобразным пафосом собирания сил. Роллан сочувственно отмечал, поддерживал, делал достоянием широкой гласности разнообразные выступления против империализма и войны, от кого бы они ни исходили. Он пронизательно увидел в романе Барбюса «Огонь» не только большую удачу талантливого и мужественного писателя, но и отражение важных жизненных процессов — тех больших сдвигов, которые происходили в сознании рядовых солдат, «пролетариев фронта». Он нашел горячие и точные слова для оценки заслуг Горького — писателя и гражданина. Он отметил революционную публицистику молодого Джона Рида. А наряду со всем этим Роллан говорит в своих статьях и о многом другом: о пьесе Стефана Цвейга «Иеремия», написанной на библейскую тему, но заключавшей в себе антивоенный смысл, о деятельности

немецкого биолога-антимилитариста Г. Ф. Николаи, о возникновении в Швейцарии социалистического студенческого общества... В тех оценках, которые Роллан давал различным книгам, журналам, общественным начинаниям, была подчас доля чрезмерной восторженности и доверчивости (на короткое время он поверил было в искренность демократических и миролюбивых намерений американского президента Вильсона, но быстро в нем разочаровался). Однако главной идеей, которая одушевляла всю деятельность Роллана в последние годы войны, была идея коренного преобразования жизни. И в свете этой идеи, этой перспективы он рассматривал и собственную работу и задачи своих литературных собратьев.

Уже в конце 1915 года Роллан писал одному из своих младших друзей, поэту Пьеру-Жану Жуву, который был близок к толстовским идеям непротivления: «... Я хочу разорвать завесы мистицизма, которыми старик Толстой, как бы то ни было, любил себя окутывать, и говорю: «Смотрите. Вслед за национальными битвами предстоят битвы социальные. Готовы ли вы?» Дать ответ на этот вопрос — дело совести каждого».

Готовя себя к социальным битвам, грядущим и неминуемым, Роллан внимательно присматривался к событиям в международном рабочем движении. Его глубоко радовало растущее сплочение революционного меньшинства социалистов, стоявших на позициях международной солидарности. Он с остро заинтересованным вниманием отнесся к Циммервальдской, а затем к Кинтальской конференциям: о той и о другой имеются обстоятельные записи в его дневнике.

О Международной конференции социалистов в Кинтале Роллану подробно рассказывал ее участник, поэт и журналист Анри Гильбо, который с 1916 года издавал в Швейцарии журнал «Демэн» («Завтра»). Этот журнал с начала своего выхода сделался главной печатной трибуной Роллана: там, в частности, появилась статья «Убиваемым народам». Там могли появляться такие материалы, о помещении которых в «Журналь де Женев» или других буржуазных органах нечего было и думать.

Вокруг «Демэн» объединялись писатели и публицисты — противники войны. Там печатались французские поэты П.-Ж. Жув и Марсель Мартине, английские публицисты Бертран Рассел и Э. Д. Морель, австрийский прозаик А. Лацко, голландские литераторы Фредерик

ван Эйден и Генриэтта Роланд-Гольст; туда давал свои рисунки талантливый бельгийский художник Франс Ма-зерель. Постепенно журнал «Демэн» приобретал все более открытую революционную ориентацию, близкую к идеям Циммервальда и Кинтала. В 1917—1918 годах в журнале было опубликовано несколько статей В. И. Ле-нина.

Работать с Анри Гильбо Роллану было не столь легко. «По природной своей горячности, — вспоминал он потом, — Гильбо постоянно позволял себе чрезмерно резкие слова или даже неосмотрительные поступки, risking серьезно скомпрометировать дело, взятое нами под защиту». Гильбо был человеком неуживчивым и склонным к доктринерству; ему не хватало не только такта, но и ясности, трезвости мысли, его революционные взгляды, как показало время, были неустойчивы (впоследствии Гильбо стал троцкистом, откололся от коммунистического движения и в своих писаниях яростно нападал не только на СССР, но и на Ромена Роллана). Однако в годы первой мировой войны Гильбо тяготел к русским большевикам и старался сблизить с ними Роллана, почитателем которого был еще с довоенных лет.

В годы войны Роллан много размышлял о России, русской культуре, русской общественной жизни. Это видно и по его статьям и по дневнику.

В дневнике его, особенно в первые военные дни, не раз встречается имя Толстого. Не сочувствуя толстовскому «мистицизму», Роллан видел в великом русском писателе пример интеллектуального бесстрашия, нравственной непримиримости, не поддающейся ни нажиму властей, ни тирании общественного мнения. Об этом говорится в его письме к дочери Толстого, Татьяне Львовне (февраль 1915 г.): «Никогда я еще не любил и не уважал память вашего отца, как теперь. Уверю вас, его образ был со мной в эти месяцы. Он мой советчик, мой руководитель; он вдохновляет меня». Роллан опирался на авторитет русских классиков в своей полемике с немецкими писателями, вставшими на сторону империализма. Осуждая сервиллизм и моральное оскудение многих немецких интеллигентов, поддавшихся идеологии пруссачества, Роллан напоминал о величии русской литературы, о свойственном ей духе гуманности и свободолюбия. «Где в продолжение более сорока лет искали мы

вашу духовную пищу и наш насущный хлеб, когда нашего чернозема уже не хватало, чтобы утолить наш голод? Кого можете вы, немцы, противопоставить этим желоссам поэтического гения и нравственного величия — Толстому, Достоевскому?.. Если бы презрение, испытываемое мной к прусскому империализму, я не почерпнул в своем латинском сердце, я почерпнул бы его у них: двадцать лет назад Толстой высказал его по отношению к вашему кайзеру».

Мы помним, как живо реагировал Роллан на русскую революцию 1905 года. Теперь, по мере того как развертывались события военных лет, он возвращался к мысли о больших революционных возможностях России. В сентябре 1915 года он записал впечатления Луизы Крюппи, которая побывала с мужем в Москве, Петрограде, Одессе, Киеве. «Кажется, по всей России идет волна свободолюбия, непокорного и угрожающего. Оно чувствуется всюду, вверху и внизу, — и в народе, который одержим пламенной жаждой просвещения, и в высших классах».

Еще раньше, в январе 1915 года, Роллан познакомился с А. В. Луначарским (который пришел взять у него интервью для газеты «Киевская мысль») и отметил в дневнике: «Визит Анатолия Луначарского. Он производит впечатление человека искреннего, умного, без иллюзий». Роллан прислушался к словам русского гостя о том, что «социалисты решили осуществить революцию в конце войны»; он подробно записал ход разговора, во время которого обнаружились немалые разногласия.

Над проблемами социализма Роллан стал впервые серьезно размышлять еще лет за двадцать до того — в середине девяностых годов. Да, человечество идет к социализму — эта мысль много раз отчетливо вставала перед ним. Но в разговоре с русским революционером у Роллана выкристаллизовались сомнения, — те самые, которые возникали у него и в последующие годы. Не сведется ли социализм лишь к более целесообразной экономической организации общества, не оставит ли он без внимания запросы человеческой индивидуальности? И можно ли прийти к социальной справедливости через насилие, кровопролитие?

Разногласия остались неустраненными. Но оба участника беседы почувствовали уважение друг к другу.

Впоследствии, в статье «Прощание с прошлым», Роллан так вспоминал об этой встрече с Луначарским: «Он был для меня, можно сказать, послем будущего — вестником грядущей русской революции, спокойно, как нечто решенное, предсказавшим мне ее приход в конце войны. Легко понять, что я ощутил почву под ногами, ощутил, что возникает новая Европа, новое человечество, и поступь моя стала уверенней, тверже».

Годом позже, в начале 1916 года, Роллан впервые встретился с известным русским писателем-библиографом Н. А. Рубакиным, который жил в то время в Швейцарии. Роллана заинтересовал этот своеобразный и ярко одаренный человек. «Оригинальный ученый, великий труженик, поглощенный главным образом исследованием психологии и биологии в связи с языкознанием, он чрезвычайно много написал... У него семь миллионов читателей, больше, чем у Горького и у других популярных романистов. Он, как мне кажется, энциклопедический ум, или, лучше сказать, сам по себе — Энциклопедия современной России». Н. А. Рубакин был далек от идей большевизма. Но его рассказы об общественной и культурной жизни России были для Роллана новым свидетельством, что русская революция близка и неминуема.

Дружеское общение с Луначарским и Рубакиным помогало Роллану разобраться в проблемах русской действительности, делало облик далекой, во многом загадочной для него страны более осязаемым и близким.

Сразу же после Февральской революции Роллан по просьбе Луначарского написал для «Правды» краткое обращение к «Русским братьям». Потом он переработал, расширил эту маленькую статью и напечатал ее в «Демэ» от 1 мая 1917 года под названием «Привет свободной и несущей свободу России».

«...Русские братья, ваша революция пришла разбудить нашу старую Европу, усыпленную горделивыми воспоминаниями о своих прежних революциях. Идите вперед! Мы последуем за вами. Для каждого народа наступает черед вести человечество...»

Наши отцы хотели в 1792 году принести свободу миру. Это им не удалось, возможно, они не очень хорошо взяли за дело. Но намерения у них были высокие. Пусть же и у вас они будут столь же высокими. Несите Европе мир и свободу!»

Сопоставление русской революции с французской, убеждение, что русский народ призван теперь вести человечество, — все это были для Роллана мысли выношенные, выстраданные, он к ним и в последующие годы возвращался не раз.

В апреле 1917 года впервые появляется на страницах роллановского дневника военных лет имя Ленина. Появляется — и уже не сходит с этих страниц. Русская революция, ее развитие, судьба, будущность, ее значение для других народов мира — все это вплоть до самого конца войны занимало центральное место в дневнике, письмах, размышлениях Роллана.

Гильбо сообщил Роллану, что русские большевики во главе с Лениным намерены вернуться в Россию через Германию. Этот проект показался Роллану рискованным: не навлекут ли большевики на себя подозрение в сотрудничестве с врагами России? Однако он не мог не оценить мужества русских революционеров, которые рвались на родину, в гущу борьбы, навстречу смертельным опасностям. «Нам понятна их горячность, — записал он в дневнике. — Они охвачены желанием броситься в пекло. И ведь они знают, что с первых же шагов в России они могут быть арестованы, заключены в тюрьму, расстреляны... Их вождь — Ленин, как говорят — мозг всего революционного движения».

Роллан, конечно, знал от Гильбо, что В. И. Ленин читал его антивоенные статьи. Более того, в «Прощании с прошлым» Роллан вспоминает: «Ленин, как мне передавали, выразил желание, чтобы я вместе с другими отправился в Россию в марте 1917 года, и Гильбо сообщил мне об этом». Но Роллан отказался: уважая героизм большевиков, он не считал себя их единомышленником и не хотел принимать прямого участия в их борьбе.

В письмах В. И. Ленина военных лет имя Ромена Роллана встречается несколько раз. В переписке с большевиком В. А. Карпинским упоминаются номера газеты «Журналь де Женев» со статьями Роллана, которые Карпинский посылал из Женевы Ленину в Зёренберг. В ноябре 1915 года Владимир Ильич просил Карпинского купить ему только что вышедшую книжку Роллана «Над схваткой». Известна также — и не раз уже цитировалась — телеграмма Ленина от 6 апреля 1917 года, адресованная Анри Гильбо. Там содержатся слова: «Выез-

жаем завтра в полдень в Германию... Привезите Ромен Роллана, если он в принципе согласен»¹.

Как понять слова «Привезите Ромен Роллана»? Сопоставляя эти слова со свидетельством Роллана из «Прощания с прошлым», можно было подумать, что речь шла о поездке Роллана в Россию (такое предположение я и высказала десять лет назад в книге «Творчество Романа Роллана»). Однако это предположение неверно (как показала советская исследовательница З. Гильдина). Речь шла о другом. В. И. Ленин хотел, чтобы несколько занадоевропейских социалистических деятелей присутствовали при отъезде русских революционеров и подписали бы протокол о причинах и условиях их отъезда, чтобы помочь им защититься от клеветы. В пятом издании Собрания сочинений В. И. Ленина впервые напечатано его письмо к В. А. Карпинскому и С. Н. Равич, где сказано, в частности, следующее: «Мы хотим, чтобы перед отъездом был составлен подробный протокол обо всем... Было бы очень желательно, чтобы участие приняли и французы... Если Гильбо сочувствует, то не сможет ли он привлечь для подписи и Ромен Роллана»².

Следует ли отсюда, что В. И. Ленин вовсе и не предлагал Роллану приехать в Россию? Конечно, не следует. Роллан мог, вспоминая прошлое, ошибаться в деталях, датах, — но не в таких важных фактах. Если бы Роллан хотел посетить Россию, ему и в самом деле не было необходимости путешествовать в plombированном вагоне с русскими революционерами. Он мог приехать самостоятельно, и его присутствие могло бы, при определенных условиях, оказать важную моральную поддержку большевикам, хотя бы в их борьбе за немедленный справедливый мир. Но Роллан вовсе не стремился в тот момент ехать в Россию — и не хотел подписывать протокол, одобряющий отъезд большевиков. Он считал нужным в то время — как вспоминает он сам — сохранять позицию «беспристрастного наблюдателя».

Беспристрастного, но — вовсе не беспристрастного! Он с напряженным, заинтересованным вниманием следил за ходом событий в России, подробнейшим образом заносил в дневник все, что узнавал о них. Он чувствовал притягательную силу личности Ленина и писал о нем 12 ап-

реля: «С Лениным спорить бесполезно. Если он чего-либо хочет, никто его не заставит отступить. По словам Луначарского, это человек выдающейся энергии, пользующийся необычайным влиянием на массы, — он единственный среди социалистических вождей способен так действовать на них, благодаря ясности целей, которые он ставит, и заразной силе своей воли». 7 мая Роллан снова записывал после разговора с Луначарским о Ленине: «Он, по-видимому, излучает необычайную нравственную силу, раз он и в такой момент, пойдя навстречу такой опасности, оказался неуязвим для клеветы».

1 мая, выписав большие выдержки из статьи Ленина «Прощальное письмо к швейцарским рабочим», отметил свойственную этой статье «суровую энергию и грандиозную искренность», Роллан приходил к выводу: «В самом деле, можно сказать, что эти слова Ленина — первый призыв к оружию мировой Революции, которая, как мы чувствуем, созревает в человечестве, пылающем лихорадочной войной. Заседание открыто. Революция началась». И через страницу добавлял: «Призыв Ленина нашел отклик. Из Парижа ему отвечает зычный голос Мергейма и синдикалистов меньшинства, которые провозглашают мировую революцию...»

Вместе с тем Роллан много раз, по разным поводам — и до Октябрьской революции и особенно после нее — напоминал об идейной дистанции, отделяющей его от русских большевиков и от близких им деятелей на Западе. (Можно предположить, что его подчас вынуждали к таким заявлениям нетерпимость и фанатическое усердие Гильбо, которому было лестно числить большого писателя не только среди авторов, но и среди безоговорочных приверженцев журнала «Демэн».)

«...Я отношусь вполне благоприятно к циммервальдскому движению, — писал Роллан 26 мая 1917 года, — если я не принял в нем личного участия, то потому, что я себя считаю отдельной личностью, не получившей мандата ни от какой партии, а тем более — от своей страны, и представляю только самого себя. Я сочувствую социализму, с условием, чтобы он не заимствовал у классов, с которыми борется, их деспотические методы, не подавлял индивидуальную свободу».

Гильбо категорически требовал от Роллана, чтобы тот сделал выбор: за большевиков он или за буржуазию и социал-патриотов? Решительно отвергая такую ульги-

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 49, стр. 429.

² Там же, стр. 428.

мативную постановку вопроса, Роллан в то же время (9 января 1918 г.) высказывал свои застарелые убеждения против социализма:

«Свобода, которой я отдаю целиком свою любовь и энергию, — это свобода нравственная. Она гарантируется социализмом или большевизмом так же мало, как капитализмом. Социализм или большевизм выполняют дело, необходимое в области материальной, но недостаточное в области духовной. И они слишком часто попирают ту нравственную свободу, в которой для меня заключена единственная ценность жизни. Меня не может удовлетворить идеал хорошо организованного трудового улья, в котором каждый человек-насекомое утратит даже сознание своей несвободы... Хорошо быть приверженцем новой веры. Однако я неверующий...»

Но когда буржуазные журналисты, прослышавшие о разногласиях Роллана с большевиками, делали неуклюжие попытки использовать его всемирную славу в интересах антисоветских сил, Роллан возмущался. Он писал 13 сентября 1918 года:

«Что до моего «большевизма», то любой из моих друзей знает, что я не с этой партией, и не с какой-либо другой. Политика — не мое дело (самое нелепое, что она навлекает на меня столько ненависти, а я-то сам ею не занимаюсь: я придерживаюсь «духовной» точки зрения). Но я не могу терпеть ложь и лицемерие, откуда бы они ни исходили, — а я вижу, как их широко пускают в ход против самой молодой, самой искренней и самой смелой демократии мира. Хоть бы, по крайней мере, против нее боролись с открытым забралом! А когда это делают под прикрытием права и свободы — нет, это нестерпимо. Кто это видит и молчит, сам себя позорит. Я вижу — и не молчу».

24 октября 1918 года он снова писал, прочитав очередную антисоветскую статейку в «Газетт де Лозанн»:

«Скажу еще раз — я не большевик. Но вожди большевизма, как мне думается, великие марксистские якобинцы, которые героически предприняли грандиозный социальный опыт. Можно с ними бороться. Но я не могу допустить, чтобы их представляли в ложном свете».

В дни, когда молодая Советская Россия была окружена врагами, подвергалась яростным нападкам со стороны буржуазной печати, Роллан настойчиво, терпеливо разъяснял значение Октябрьской революции своим раз-

нообразным друзьям и корреспондентам, далеким от идей социализма. Он писал, например, 8 ноября 1918 года известному прозаику Пьеру Ампу:

«Вы, дорогой Пьер Амп, певец «Невидимого труда», — подумайте о тех, кто там, в России, так много сделал, чтобы вернуть труду то место и достоинство, на какое он имеет право. И скажите нашим друзьям, — пусть они следят, чтобы демократии Запада, в результате подлых интриг, не стали душителями своей молодой и более смелой сестры. Да, там было допущено немало ошибок: но и наша политика несет за это свою долю вины. И разве можно судить о революции только по ее ошибкам? Что же сказать тогда о нашей? Долг тех мыслителей, писателей, художников, которые чувствуют себя братьями народа и сынами Первой Революции, наложить вето на кампании реакционной прессы, помешать свято-татственным авантюрам, направленным на то, чтобы подавить в великом свободном народе семена будущего».

3

Работа над антивоенными статьями, переписка с читателями, друзьями, единомышленниками, систематическое ведение дневника, вместившего в себя все основные события и документы эпохи, — все это поглощало массу времени и сил. И даже тогда, когда Роллан на короткое время прерывал публицистическую деятельность, проблемы, выдвинутые войной, продолжали стоять перед ним властно и неотвязно. Они встают и в его литературных произведениях, написанных в эти годы.

В 1916 году исполнилось триста лет со дня смерти Шекспира — одного из самых любимых Ролланом классиков мировой литературы. Он написал четыре очерка о Шекспире: один из них он опубликовал в английском юбилейном сборнике, два — в журнале «Демэн» и еще один, намного позднее — в сборнике своих статей «Спутники». Эти очерки составляют единое целое — не только по теме, но и по манере письма.

«Немногие друзья, немногие книги выдерживают испытание дней, переживаемых нами. Даже самые дорогие предают: их больше не узнаешь. Они были товарищами безоблачных дней. Ураган уносит их, эти растения, глубоко сидящие в почве, вырываемые первым порывом

ветра. Остаются только те, у которых глубокие корни». Таков лирический зачин, которым открывается статья «Милосердие у Шекспира». Роллан писал о Шекспире и думал о современности. Он воспринимал военные годы как период всеобщей переоценки ценностей, кризиса, разлома. В Шекспире он видел одну из тех ценностей, которые по-новому раскрылись перед людьми в это трагическое время.

Шекспир и Корнель. Опыт военных лет обострил в сознании Роллана антитезу двух великих драматургов, из которых каждый был ему по-своему дорог. Когда-то мечтательный школьник из Кламси пытался подражать Корнелю в своей первой детской пьесе. Теперь, в годы войны, Роллан остро почувствовал, что «корнелевский дух» в условиях нынешней Франции таит в себе немалые опасности, становится оружием в руках фанатиков-националистов, заманивающих молодежь «ореолом ложного долга и славы».

Иное дело Шекспир. Главное в нем — «поэзия правды». Он учит не бояться правды, сколь бы ни была она горькой, неудобной и отпугивающей. И это снова и снова наводит Роллана на мысли о современности. Ведь не только триста лет назад, но и теперь, в веке двадцатом, нелегко работать писателю, мыслителю, вплотную окруженному «колючими изгородями социальных условий и канавами предрассудков». Поневоле поддаешься робости, сковываешь себя запретами: о том-то нельзя говорить, о том-то небезопасно даже думать.

«Совесть, стесненная границами, которые она установила для своей правдивости, ищет выхода в самозасыплении; она закрывает глаза и думает лишь наполовину, только до этих пор, не дальше!»

В статье «Истина в творчестве Шекспира» Роллан внимательно исследует опыт английского драматурга: какими способами удавалось ему, преодолевая трудности, говорить правду? В иных случаях бесстрашная критическая мысль Шекспира — чтобы преодолеть барьеры, установленные властью имущими, — «должна прикрыться маской символа или парадокса». Иногда же она вкладывается в уста «самых обездоленных — рабов, шутов, тех, кто может все говорить, потому что с ними не считаются». Порой же самая безжалостная истина, «героическая сверхистина», звучит в монологах трагических героев, будь то Макбет, Кориолан или король Лир, по-но-

вому узнающих мир в момент кризиса, когда поколеблены все основы их прежней жизни.

Роллан говорит о заслугах Шекспира, как разрушителя лжи, лицемерия, — и опять перебрасывает мост в сегодняшний день. «Современная цивилизация такова, что нет почти ни одного порока, который осмелился бы показаться обнаженным; они скрываются под лицемерной внешностью, которая, как сказано, служит данью уважения добродетели... Величайшие поэты считали лицемерие своим главным врагом». Нравственный опыт Шекспира, осветившего прожектором истины помыслы и дела Ричарда III, Анджело, Яго, в высшей степени поучителен, по мысли Роллана, для писателей нынешней эпохи.

Именно в год шекспировского юбилея Роллан, как мы помним, впервые бросил открытый вызов Плутусу — подлинному и главному виновнику войны. В роллановском анализе драматургии Шекспира возникают мотивы, близкие к статье «Убиваемым народам». Памятные строки из «Тимона Афинского», «Короля Лира», «Генриха IV», обличающие разрушительную, бесчеловечную силу денег, обретают, в свете опыта военных лет, новую актуальность. «Деньги, или, если назвать их более широким термином, — Корысть, — повелитель народов и отдельных людей. Государство подкупают, как подкупают судью. Смотря по цене, получается то мир, то война».

Роллан отмечает в Шекспире необычайную проницательность социального зрения. Он мог не только вместе с Гамлетом задумываться над трагическими загадками и жизни и смерти, но и — вместе с ослепшим Глостером и прозревшим королем Лиром — восставать душою против общественного неравенства. Он ощущал подземные толчки грядущих исторических потрясений. Пусть Шекспир и разделял многие предрассудки своего времени, пусть он и дружил с вельможами и «выражал величайшее презрение к политическим притязаниям низших классов — Шекспир, творчество которого отражает все содрогания мира, порой улавливал в них отдаленные раскаты революций».

Но — соотнося по всему ходу своего анализа творчество Шекспира с современностью — Роллан все же был далек от намерения нарочито модернизировать или революционизировать английского классика. Сочувствуя обездоленным и угнетенным, создатель «Кориолана» не возлагал на народные массы слишком больших надежд.



Иллюстрации Ф. Мазереля к «Лилюли».

Он был человеком своей эпохи, и проблема переустройства мира перед ним не стояла. Роллан считал, что можно и должно вдохновляться примером Шекспира в борьбе с общественным злом и ложью. Но вряд ли следует искать у него прямых ответов на проклятые вопросы современности.

Если Шекспир и способен дать истстрадавшимся людям XX века утешение и радость, то — не рецептами исправления жизни и избавления от зол, а скорее тем «освобождением духа», которое дает подлинно высокое искусство. Сама сила шекспировского гения несет в себе нечто раскрепощающее и светлое: такова главная мысль последнего из очерков Роллана о Шекспире, «Гений-освободитель». Власть искусства помогает человеку вырваться над повседневностью, над грозами и бедами времени.

Тайна мастерства Шекспира, говорит Роллан, в равновесии «реального мира и мечты». (В этом он видел коренное отличие Шекспира, например, от поэта-романтика Шелли, творчество которого «испаряется в лучистых мечтах» и вовсе лишено земной плоти.) Правда, тут же, рядом, в очерке «Гений-освободитель», кое-где проскальзывают слова об искусстве как благодатной иллюзии и игре. Но сам Роллан и не хотел и не мог укрываться под сенью поэтических снов. Тревоги военных лет настигали его, за какую бы тему он ни брался.

Земная, страшная реальность военного времени отчетливо просвечивает в самом фантастическом из произведений Роллана — пьесе «Лилюли».



Работу над ней Роллан начал еще за два года до войны, летом 1912 года, потом прервал ее и возобновил в августе 1915 года и закончил в марте 1918 года. Небольшая по объему вещь потребовала длительной работы, — исторические события, естественно, повлияли на ход ее выполнения.

«Уже за два года до войны, — писал потом Роллан в послесловии к русскому изданию «Лилюли», — старый мир затрещал по всем швам, и война явилась лишь взрывом». Главной темой пьесы уже в первой редакции должно было быть крушение старого мира. Народы спасаются бегством в ожидании всемирного потопа — так открывается действие. «Крупные политики-буржуа сваливают в ручную тележку бессмертные принципы 1789 года, Права человека, и заодно процентные бумаги; все это тянут для них добрые рабочие...» Уже в этом первоначальном тексте пьесы появились основные комически-гротескные персонажи, вошедшие в окончательную редакцию «Лилюли», от сладкоречивого, самоуверенного Господа Бога до болтуна Полишинеля, который «над всем посмеивается и ко всему приспособляется».

В годы войны тема всеобщей катастрофы приобрела новую конкретность. Речь идет теперь уже не о потопе или ином стихийном бедствии, а о жестоком всемирном побоище, на которое «глупые народы» дали себя увлечь, повинувшись призыву Лилюли-Иллюзии.

В 1917 году у Роллана явилось желание закончить пьесу ударом революционной метлы. Ему хотелось написать о том, как «примирившиеся народы дружно из-

бывают своих эксплуататоров, а затем снова двигаются вперед, но потеряв много времени и с поредевшими рядами». У Роллана возникала даже мысль добавить к своей пьесе эпилог в революционном духе, с тем чтобы противопоставить обманчивой Иллюзии жизнетворящую, благородную Надежду, а лицемерному Господу Богу — Прометеев-победителя. Он подумывал и о том, чтобы написать, отдельно от «Лиллюли», философскую драму-аллегорию «Прометей», проникнутую духом борьбы, дерзания.

Но драма о Прометее так и не появилась; Роллан вместе с тем отказался от задуманной революционной концовки «Лиллюли» — героические образы не укладывались в план пьесы-сатиры. Очень возможно, что в этом отказе сыграли свою роль не только чисто литературные, но и политические мотивы. На историческом рубеже 1917—1918 годов Роллану особенно хотелось писать о революции — и было особенно трудно писать о ней. Именно после того как пролетарская революция стала суровой и властной реальностью на одной шестой части земли, Роллану стало нелегко определить свое отношение к ней, тем более — в художественно отчетливой форме. Эта тема требовала длительных раздумий.

В окончательной редакции «Лиллюли» осуществилась именно как пьеса-сатира в «аристофановском духе», близкая к старинным формам народного площадного театра. Тут и аллегория, и клоунада, и пантомима, и грандиозные по масштабу массовые сцены, и диалоги, написанные вольной рифмованной прозой, которая уже была успешно испробована автором в «Кола Брюньоне».

Действие «Лиллюли» завершается грандиозной катастрофой, — в ней гибнут оба воюющих народа, галли-пулеты (французы) и урлюберлоши (немцы). Однако такой финал, по очевидному замыслу Роллана, означал не гибель человечества, а крушение старого, буржуазно-собственнического мира. Писатель в ту пору не пытался, даже в самом условном иносказательном плане, представить себе, какой новый мир придет на смену старому. Но буржуазный строй обречен: это было для Роллана бесспорно. Отсюда — весь художественный строй «Лиллюли». Грубоватый юмор, условные образы-маски, вольная и дерзкая стихия смеха, торжествующая на всем протяжении действия, — все это нужно было Роллану,



чтобы развенчать, уничтожить отживающий старый строй.

Сатира Роллана здесь всеохватывающая и универсальная. В уродливо-комичных фигурах «Лиллюли» представлены различные столпы и властелины буржуазного общества: школа и церковь, государство и пресса. Даже и сам Господь Бог, как и обольстительная Лиллюли-Иллюзия, состоит на службе у Тучных и выполняет их волю. В коллективном монологе Толпы высмеяны ложные кумиры, которым поклоняются тупые обыватели. «Святые Угодники, молитте Бога о нас! Святой Сульпиций, святой Проппидий, — святой Эварист, святой Эгоист... Пантелеймон, Наполеон, — святой Дагобер, святой Робеспьер — святая Республика и святейшая Публика, — святой Король, святой Кайзер, святые Пушки, — святая Мошна и святые Полушки, — святой Елей, святой Разум и святой Бей всех разом, — святой Роман и святой Обман, — Святой Антоний и святой Свиноний, — святой Авраам и святой Я сам, — святая Глупость, святая Шлюха и святой Сытое брюхо, — святой Люби меня, а не моих ближних, и все мне давай, а им ни крошки лишней...»

Единственный персонаж пьесы, который симпатичен автору, — Полишинель, олицетворяющий свободный смех. Он более жизнеспособен, чем его кузина Истина, которая дала себя связать по рукам и ногам и обречена на молчание. Полишинель отчасти сродни Кола Брюньону: он умеет устоять среди бедствий, не подчиняется ложным авторитетам, сохраняет в любых условиях ясность взгляда и бодрость юмора. Он не поддается ни обманчивым речам Лиллюли, ни благочестивым уговорам Господа Бога. Но в конечном счете и Полишинель гибнет под обломками старого мира. Его интеллектуальная



свобода, абсолютная независимость духа не уберegli от катастрофы ни народы, ввергнутые в войну, ни его самого.

В письме к М. Мартине от 20 июня 1920 года Роллан дал краткий комментарий к своей комедии: «Подлинный смысл «Лилюли»: — отхлестать — чтобы она проснулась — эпоху, погрязшую во лжи. И, пробудившись самому, насладиться прекрасным утром (как поется в начале «Лилюли») и тем, что кошмар *вырван с корнем*»*. Сама беспощадность сатиры, по мысли Роллана, заключала в себе преодоление кошмара, торжество над ним.

В конце марта 1918 года в дневнике Роллана появилась запись:

«В день Страстной пятницы, 29 марта, в 4 часа полудни, во время вечерней службы, немецкая бомба попала в церковь в Париже, пробила готический свод; пострадали 165 человек, из них 75 убитых, по преимуществу — женщины и дети. Так христианский император проявил свою религиозность...

Моя сестра, находившаяся на бульваре Сен-Мишель, слышала взрыв на Страстную пятницу. Насколько я могу разобрать строки ее письма, измазанные цензурой, бомба попала в церковь Сен-Жерве, недалеко от Городской Рагуши».

Это событие подсказало Роллану замысел повести «Пьер и Люс», которая была закончена полгода спустя.

По манере письма это произведение резко отличается



от «Лилюли». Там — острая сатира, гротеск, плакат, плебейский соленый юмор. Здесь — достоверные зарисовки будней, мягкие линии, акварельно-нежные краски.

Роллан поставил к повести «Пьер и Люс» латинский эпиграф — «Мирно любви божество». Стремление к мирной жизни так же естественно присуще человеку, как и потребность в любви. Война по природе своей жестока, противоестественна. Она несет гибель людям, она разлучает любящих — или убивает их.

О страданиях, ранениях, смерти солдат империалистической войны к тому времени уже успели написать литераторы-фронтовики — не только Барбюс в своем высоко ценившемся Ролланом романе «Огонь», но и другие: француз Жорж Дюамель, австриец Андре Лацко. О страданиях и смерти, которые несет война мирным, невоюющим людям, Роллан написал, вероятно, первым.

Юноша и девушка встретились, полюбили друг друга. Они хотят жить долго, быть вместе и быть счастливыми. Немецкая бомба, попавшая в церковь, уничтожила их обоих — вместе с многими другими юношами, девушками, женщинами, стариками, детьми. Бессмысленная смерть Пьера и Люс осознается читателем как гневное обвинение против войны и против тех, кто ее затеял.

Война оказывает разрушающее, угнетающее действие на жизнь множества людей, которые находятся вдали от фронта. Пьер Обье, герой повести, растет в зажиточной семье, о нем заботятся добрые родители. Но его юность искверкана войной. Его, как и многих его нап-

более чутких, мыслящих сверстников, гнетет атмосфера торжествующей подлости, которую он чувствует вокруг себя. «Вся мыслящая Франция задыхалась от недостатка воздуха, словно под стеклянным колпаком...» «Было поколеблено даже их доверие к сверстникам, да и вообще к человеку. Вдобавок в те времена доверчивость обходилась дорого. Что ни день — новый донос: беседы в дружеском кругу, угаданные мысли — все получало огласку, а усердие шовинистически настроенного шпиона награждалось и поощрялось правительством...» «Печать в своей конуре заливалась лаем, требуя репрессий». Могут ли в такой обстановке — спрашивает Роллан своей повестью — вырасти духовно здоровые, полноценные люди? Душевная хрупкость Пьера, известная пассивность, которая ему свойственна, — качества не просто врожденные. Они формируются в нем как своего рода самозащита от грубого, злого мира, в котором он живет.

Но только ли в дни войны это общество подчиняется волевым законам? Молодая труженица Люс помогает Пьеру зорче увидеть мир, окружающий их обоих. «...Юная девушка, преждевременно познавшая, что такое борьба за хлеб насущный... открывала глаза своему обеспеченному другу на ту смертельную войну, которая для бедных и в особенности для женщин никогда не прекращается и царит на земле, прикрытая обманчивым покровом мира». Побоище, которым охвачена Европа, — закономерное следствие той невидимой войны всех против всех, которая происходит в мире эксплуататоров непрерывно — даже и в самые тихие и благополучные периоды истории...

Роллан заставляет читателя задуматься: кто виноват в гибели Пьера и Люс и в гибели миллионов других? Взгляд на войну как на коллективное безумие не преодолен им до конца, — он не раз говорит с брезгливостью и горечью о «грубой толпе» и ее безликой «стадной силе». Но, передавая размышления своих героев, он в конечном счете подводит их к выводу: «Да, за все, за хриплый лай пушек, там, вдали, за всеобщую бойню, за великое бедствие народов, — за все это большую долю ответственности несла та же буржуазия, тщеславная и ограниченная, несла ее жестокосердие, ее бесчеловечность».

Но Роллан не хочет ограничиваться социальной фор-

мулой. В дни всемирного бедствия каждый человек должен задуматься над мерой своей *личной* ответственности за то, что происходит на земле.

Г-н и г-жа Обье, разумеется, горячо любят своих сыновей — и старшего, Филиппа, находящегося на фронте, и младшего, Пьера, которому скоро предстоит туда отправиться. Г-н Обье, председатель суда, убежден, что он живет честно, в согласии с требованиями совести. «Однако его совесть никогда не высказывалась против правительства, даже шепотом». И сам председатель суда и его жена послушно присоединяются «к человекоубийственным молениям, возносимым во имя войны во всех странах Европы». Роллан задумывается — и будит тревожную мысль читателя: не лежит ли доля вины за гибель Пьера и Люс на любящих родителях Пьера? И на тех его приятелях-сверстниках, которые тоже стоят за войну — не по злости, а просто так, потому, что бездумно подчиняются общепринятым взглядам? В конечном счете и — на матери Люс, которая, нуждаясь в заработке, трудится на военном заводе и помогает создавать орудия убийства?

Роллан воспроизводит раздумья своего героя: «Нестрашно страдать, нестрашно умирать, когда видишь в этом смысл. Жертвовать собой прекрасно, когда знаешь, ради чего». Вполне естественно предположить, что Пьер, а возможно, и Люс с готовностью отдали бы свою жизнь ради справедливого, доброго дела. Гибель молодой любящей пары чудовищна и бесчеловечна именно потому, что они оба уничтожены силою войны империалистической, ненужной народу, несправедливой.

Любовь в повести Роллана — антитеза войне. Пьер и Люс хотят укрыться, спрятаться от ужаса войны, отгородиться своей любовью от внешнего мира, пусть на самое короткое время. Но их надежда на личное счастье оказывается еще более иллюзорной, чем они думали...

На исходе войны, в 1917—1918 годах, Роллан исподволь работал и над романом «Клерамбо» (этот роман, как и повесть «Пьер и Люс», появился уже после заключения мира, в 1920 году).

«Клерамбо» носит подзаголовок — «История одной свободной совести во время войны». В письмах Роллан называл эту книгу «романом-размышлением». В «Предупреждении» к роману он предупреждал читателей, чтобы они не искали в нем ничего автобиографического.

«Моим желанием было описать душевный лабиринт, в котором ощупью блуждает ум, слабый, нерешительный, колеблющийся, податливый, но искренний и страстно стремящийся к правде».

Несмотря на это предостережение, иные читатели и даже исследователи пытались истолковать «Клерамбо» как своего рода авторскую исповедь. Роллан энергично возражал против такого взгляда — например, в письме к австрийскому литературоведу Г. Ленарду от 5 марта 1928 года. (Это письмо любопытно и тем, как писатель сопоставляет здесь «Клерамбо» со своей антивоенной публицистикой.)

«Мои статьи военных лет — это всего лишь газетные статьи, где я должен был считаться с возможностями публикации в прессе военного времени (даже и в нейтральных странах) и с практическими запросами: я никогда не мог высказать свою мысль полностью, а высказывал лишь то, что могли понять и вынести несчастные люди, вынужденные убивать друг друга. В «Клерамбо» я захожу дальше; но и эта вещь подчинена законам художественного произведения, которые требуют, чтобы высказывания персонажа соответствовали его жизненным возможностям. И Клерамбо — это ни в коем случае не я сам, как вы это думаете. Я выбрал в качестве героя тип посредственного порядочного человека, хорошего литератора, который, однако, до войны ни разу не дал себе труда взглянуть в лицо жизни, как она есть, и который представляет средний уровень честных людей. Если бы мы высказывали *всю* свою мысль до конца, нас мало бы кто понял. А такое произведение, как «Клерамбо», должно быть понято многими, потому что его цель — раскрыть хоть немножко глаза тем, кто не видят...» И Роллан добавлял: «Когда я хочу выступать как «я», я говорю от собственного имени. Мне нет надобности маскироваться. Радость художественного творчества — в том, чтобы, сбросив свою шкуру, влезть в чужую. Так получаешь иллюзию, что приобщаешься ко вселенной».

Итак, писатель Аженор Клерамбо — это ни в коем случае не Ромен Роллан. Это образ собирательный. В нем соединены черты и судьбы различных французских интеллигентов. В начале войны он захвачен милитаристским психозом — как были захвачены многие французские литераторы, журналисты, ученые. Отрезвленный

гибелью сына на фронте, он принимает решение открыто выступить против войны. Он пишет антивоенные статьи, невзирая на бойкот и травлю, — как Ромен Роллан. Он гибнет от руки фанатика-националиста — как погиб Жорес. Но на всех этапах своей драматичной истории он скорее условная модель одинокой, ищущей личности, чем конкретный человеческий образ. В отличие от других роллановских героев, будь то Жан-Кристоф или Оливье, Кола Брюньон или молодые влюбленные из повести «Пьер и Люс», он очень мало ощущается, как живой характер. Да Роллан и не ставил себе целью создать живой характер. Эволюция Клерамбо, его встречи и споры с интеллигентами, по-разному относящимися к войне, его поиски и его блуждания — все это, можно сказать, служит романисту своего рода опытным полем, где исследуются, испытываются и сталкиваются идеи.

В первых главах очень выразительно передана атмосфера военного утара во Франции в начале войны. Конечно, разнообразные персонажи, знакомые Клерамбо, очерченные бегло и как бы пунктиром, не претендуют на прямое портретное сходство. Однако, рисуя людей, которые примкнули к стану националистов из самых разных побуждений — подчиняясь ложно понятому чувству долга перед родиной, поддаваясь тирании общественного мнения, а в иных случаях просто из корысти и карьеризма, — Роллан, конечно, думал о конкретных лицах, поведение которых болезненно поразило его в 1914—1915 годах: думал о знаменитом философе Бергсоне, об Анатоле Франсе, о неподкупно честном историке Габриеле Моно, о своем бывшем ученике и друге Луи Жилле. Ведь и эти люди высокого интеллекта несут свою долю вины за преступления империализма!

Роллан был убежден, что нельзя растворять моральную ответственность отдельной личности в отвлеченном понятии «коллективной вины». Каждый человек отвечает — по меньшей мере перед судом собственной совести — за то, что он совершил. Заостряя эту нравственную проблему до предела, Роллан заставляет Аженора Клерамбо мучительно ощущать вину за гибель собственного сына. Разве он сам, поэт Клерамбо, не писал дифирамбов войне? И разве он сам не крикнул: «Бейте его!», увидев на улице самосуд толпы над неизвестным, заподозренным в шпионаже? Теперь, после смерти юного Максима, Клерамбо горестно сознается самому себе:

«Кровь моего сына на мне, кровь европейских юношей всех национальностей брызжет в лицо европейской мысли. Люди мысли повсюду сделались лакеями палачей».

Кто виноват? Только ли одни «люди мысли»? Неуверенный, колеблющийся ум Клерамбо бьется в противоречиях. Иногда он проклинает «хозяев золота, железа и крови», иногда склонен возлагать главную долю вины на весь род людской, на «человеческое стадо». Антивоенные статьи Клерамбо, приводимые по ходу повествования, сильно отличаются от антивоенной публицистики самого Роллана. Они отвлечены и риторичны. В них масса добрых чувств и мало трезвого анализа.

Задумав роман о Клерамбо как историю индивидуальной «свободной совести», Роллан показал своего героя полностью оторванным от антимилитаристского движения масс. Если сам Роллан во время войны то и дело встречался с фронтовиками, получал их письма, следил за разнообразными проявлениями недовольства войной, протеста против нее в разных странах, — Клерамбо от начала и до конца трагически одинок. Это одиночество особенно сказывается в последних главах романа — там, где идет речь о встречах и спорах героя с социалистами.

В этих главах появляется новый персонаж — Жюльен Моро, интеллигент — социалист левого крыла. Он принимает антивоенные статьи Клерамбо с неподдельным восторгом и старается увлечь писателя-пацифиста в лагерь пролетарской революции. За этим персонажем угадывается вероятный реальный прототип — Анри Гильбо.

Жюльен Моро искренен в своем революционном энтузиазме, но склонен к ультралевому доктринерству. Диктатуру пролетариата он понимает как власть передового меньшинства над несознательной массой; он убежден, что рабочий класс после захвата власти должен будет принудить интеллигенцию к безоговорочному повиновению; он в практической деятельности склоняется к принципу «цель оправдывает средства». Клерамбо, со своей стороны, не приемлет пролетарской революции, в которой видит лишь замену одного вида угнетения другим; он чувствует, что буржуазное общество отжило свой век, но опасается, как бы социализм не превратил человечество в хорошо организованный «муравейник». Можно себе представить, что в этих спорах в какой-то мере отражаются нараставшие разногласия Роллана с

Гильбо. Но утверждения обоих спорящих в романе намеренно заострены...

Где же выход? К концу повествования Клерамбо изолирован более чем когда-либо. Изолирован настолько, что для него начинают стираться грани между союзниками и противниками. Сраженный пулей воинствующего шовиниста, он перед смертью еще успевает сказать: «Нет больше врагов...» Один из его немногочисленных последователей, молодой интеллигент-пацифист Эдм Фромап, произносит над его телом хвалу Свободной совести, Свободному духу. Заключительные строки романа звучат возвышенно — и до крайности отвлеченно.

В каждом из художественных произведений, написанных Ролланом в военные годы, по-своему сказались его пронзительность и смелость, бескомпромиссная сила отрицания старого общества. Но социальные, идейные искания писателя, которым война дала решающий толчок, не завершились вместе с концом войны. Напротив, они только еще начинались.

1

Второго мая 1919 года Ромен Роллан, вызванный телеграммой, срочно выехал в Париж, где не был почти пять лет. Его мать лежала разбитая параличом. Она узнала сына, но уже не могла говорить, а только бормотала что-то невнятное. Две недели спустя она скончалась. Роллан тяжело пережил эту смерть.

«Мать была осью моей жизни, — признавался он себе в дневнике полгода спустя. — (Я это чувствую теперь, я этого не чувствовал, когда она была жива.) Что бы из меня вышло без нее? Никогда у меня не хватило бы той внутренней крепости, которая необходима мне в течение всей жизни для моей борьбы. А она была из чистой стали. Невозможно было под ее взглядом, — или даже просто при мысли, что она живет на свете и любит меня, — невозможно было дрогнуть, поддаться жажде удовольствий, скептицизму или малодушию. Это иногда стесняло меня, но было спасительно».

В Париже Роллан продолжил дело, за которое взялся в Швейцарии в начале весны. Ему хотелось — именно теперь, сразу же после окончания войны — объединить силы интеллигенции во имя братства народов. В годы войны интеллигенция в большей своей части вела себя недостойно, Роллан с болью сознавал это. «Люди мысли повсюду сделались лакеями палачей», — говорил Клерамбо. Нельзя допустить, думал Роллан, чтобы это повторилось. Он был убежден, что теперь настало время

создать, как он писал в письме к Бернарду Шоу, «Интернационал Духа», «Мировую совесть».

Еще в марте Роллан разослал в разные адреса проект «Декларации Независимости Духа». Некоторые из тех, к кому он обратился, ему не ответили — например, Анатолий Франс. Некоторые не вполне согласились с содержанием проекта — например, Бернард Шоу. В числе первых, кто дал свою подпись, были Анри Барбюс, Поль Синьяк, Стефан Цвейг, Бертран Рассел, немецкий биолог Г. Ф. Николаи и итальянский философ Бенедетто Кроче.

Декларация появилась в «Юманите» через три дня после официального заключения Версальского мира, 26 июня 1919 года. Среди подписавших были выдающиеся писатели разных стран — Максим Горький, Генрих Манн, Эптон Синклер, Сельма Лагерлеф, Рабиндранат Тагор, Герман Гессе, Шервуд Андерсон, Леонгард Франк; французские писатели — Жорж Дюамель, Жюль Ромен, Жан-Ришар Блок, Шарль Вильдрак, Поль Вайян-Кутюрье; ряд видных ученых во главе с Альбертом Эйнштейном; художники Кетэ Кольвиц, Франс Мазерель; артист Александр Моисси и многие, многие другие. Уже после появления Декларации в печати интеллигенты разных стран присоединялись к ней целыми группами, — всего ее подписало около тысячи человек.

Из русских деятелей культуры Декларацию Независимости Духа подписали, помимо Горького, Николай Рубакин и биограф Толстого Павел Бирюков (оба находились в то время в Швейцарии). В специальном постскриптуме Роллан выражал сожаление, что не было возможности привлечь русских друзей, отделенных от Западной Европы стеной блокады. «Русская мысль, — добавлял он, — это авангард мысли мировой».

Среди разнообразных деятелей искусства и науки, присоединившихся к Декларации, конечно, были люди очень неодинаковые по идейному складу. Но многим оказалась по душе главная мысль, заложенная в основе этого документа. Люди творческого труда не должны быть соучастниками военных преступлений! Долг интеллигенции — служить человечеству, а не приспособляться к власти имущим.

Правда, идея служения человечеству выражена в Декларации лишь в самой общей, неотчетливой форме. Некоторые из деятелей, подписавших Декларацию —

Декларация о независимости Духа

Travaillons de l'esprit, compagne de l'âme. Travers le monde, après
deux ans par les années, la science et la base des nations en
gens. Nous vous adresses, à cette base — les hommes, l'humanité
française et humaine, un appel pour reformer notre union fraternelle, — avec
une nouvelle, plus solide et plus sûre que celle qui existait avant.
La guerre a jeté le désordre dans nos rangs. La plupart
des intellectuels ont mis leur science, leur art, leur raison, au service des
gouvernements. Nous ne voulons aucune personne, aucune nation, aucune
Nous sommes la fraternité des âmes individuelles et la base d'humanité des
grands courants, celle qui est au-delà de celles-ci, en un instant,
par une union spirituelle qui est au-delà de l'existence au
monde sans cesse, pour l'avenir!

Начало «Декларации Независимости Духа».

например, Анри Барбюс, Вайян-Кутюрье или секретарь редакции «Юманите» Амеде Дюнуа — охотно присоединились к ней, несмотря на известную распыленность ее тенденций, потому что приветствовали в ней основное — антивоенную, антиимпериалистическую направленность. А некоторые — например, Жюль Ромен или Жорж Дюамель — примкнули к Декларации скорее всего именно потому, что выраженная в ней политическая программа была гуманной, но неопределенной, не обязывающей ни к каким решительным действиям.

«Наш долг, — говорилось в Декларации, — твердо держать руль, указывать другим путеводную звезду в ночи бушующих страстей... Для нас не существует народов. Мы знаем лишь Народ — единый, всемирный Народ, который страдает, борется, падает и снова поднимается и продолжает идти вперед по суровому пути, залитому его кровью. Народ, где все люди — братья. И вот для того, чтобы они, ослепленные схваткой, осознали узы этого братства, мы поднимаем Кивот Единства — знамя свободного Духа, единого, многообразного и вечного».

Не существует народов? Роллан еще до опубликования Декларации выслушал немало возражений и упреков по поводу этих слов. Значит, деятели культуры во-

все отрицают национальную почву, национальные связи? И нет ли в этих словах — как и по всей Декларации — оттенка интеллигентского высокомерия по отношению к народным массам, миллионам трудящихся?

Прошло немного времени — и Роллан по просьбе английского пацифиста Э. Д. Мореля написал статью «За единение работников физического и умственного труда», в которой уточнял некоторые положения Декларации Независимости Духа (статья появилась в журнале «Фореин афферс» в августе 1919 года).

«Писателю, художнику, — утверждал Роллан, — труднее, чем кому бы то ни было, отказаться от своих национальных и иных традиций, не калеча при этом самого себя. Человек науки, человек мысли обязан своему народу методами и формами мышления, с помощью которых он вносит свою лепту в общий труд... Пусть люди умственного труда освещают путь, который прокладывают люди физического труда! Отряды тружеников различны. Цель работы — одна».

Как должна вести себя интеллигенция в послевоенном мире? Жизнь выдвигала сложнейшие проблемы, о которых в Декларации Независимости Духа ничего не было сказано.

В Европе кипели классовые бои. Еще в январе 1919 года были разгромлены немецкие пролетарские революционеры, зверски убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург, (Роллан с глубокой скорбью отозвался на это событие статьей «Кровавый январь в Берлине».) Возникли и пали советские республики в Венгрии и Баварии. Империалисты готовили крестовый поход против Советской России.

Роллан ни в коем случае не считал, что «люди мысли» должны перед лицом таких событий сидеть сложа руки. Он дал в «Юманите» статью «В защиту наших русских братьев». Эта статья — появившаяся 26 октября 1919 года — была первым открытым выражением его добрых чувств к Советской России. Реакционные круги получили еще один повод смотреть на Романа Роллана как на опасного «большевика».

На каждом шагу Роллан чувствовал враждебность со стороны официального общественного мнения. Повесть «Кола Брюньон», выпущенная сразу после окончания войны, — такая французская, национальная по духу книга! — была встречена холодно-презрительным молчанием.

ем буржуазной печати, если не считать изничтожающей статьи, которую поместил в «Тан» один из давних недругов Роллана, Поль Судэ. Прочие крупные газеты отказались даже поместить объявление издательства Оллендорф о выходе книги. Доброжелательные отзывы о «Кола Брюньоне» появились во Франции лишь в левой прессе; их авторами были люди передового образа мыслей — Жан-Ришар Блок и Поль Вайян-Кутюрье.

Роллан не имел основания чувствовать себя одиноким. Пусть заправили литературно-художественной парижской «ярмарки» демонстративно от него отворачивались, пусть даже некоторые из давних деловых знакомых, редакторы и издатели, его бойкотировали (так, фирма Ашетт, выпустившая когда-то «Драмы революции», теперь отказывалась их переиздать). Зато множество читателей в разных странах тянулись к его книгам («Жан-Кристоф» вышел уже сотым изданием!), а в передовых антиимпериалистских кругах интеллигенции во Франции и за ее пределами он по-прежнему пользовался уважением как личность и прочным признанием как художник.

Лето 1919 года Роллан провел в Швейцарии, а в ноябре 1919 года опять приехал в Париж. Он поселился в своей прежней квартире на улице Буассоннад (где в течение всех лет войны хранились его вещи, рукописи и книги) и стал понемногу привыкать и к пятому этажу, на который надо было взбираться без лифта, и к неуютному послевоенному быту, и к сутолоке столичной жизни.

В Париже бурлили общественные страсти. Наиболее честная и мыслящая часть интеллигенции хотела верить, что опыт мировой войны не прошел для человечества бесследно. Социалисты, разочарованные предательством своих лидеров в 1914 году, в немалой своей части тяготели к Москве. Молодые литераторы и художники искали новых творческих путей и вместе с тем пытались объединить усилия в борьбе против империализма, опасности новых войн, против всей мерзости старого строя.

В июне 1919 года Барбюс пришел к Роллану для серьезного разговора. Он сообщил, что организовал группу писателей под названием «Кларте» (то есть свет, ясность), — она должна явиться первоначальным ядром будущего широкого международного движения интеллигенции. Роллан записал в дневник после этой беседы:

«Я рад, что у него настроение столь же решительное и передовое, как у меня». Однако предполагаемый состав новой организации вызвал у Роллана большие сомнения. Барбюс хотел привлечь писателей разных взглядов; он считал, что нельзя отталкивать и тех, кто во время войны стоял на позициях официального патриотизма, а потом одумался, как это было, например, с Анатолем Франсом. Роллан возражал: можно ли доверять тем, кто еще не так давно обнаружил моральную неустойчивость? «Я не могу принять этот принцип — открыть двери всем желающим, — писал он Барбюсу вскоре после разговора, 23 июня 1919 года. — ...Нельзя строить Град Будущего, привлекая к участию Весь Париж. Не посетуйте на меня, дорогой Барбюс, что я остаюсь в стороне от группы, инициатором которой я восхищаюсь и многие члены которой мне симпатичны, ибо я все же не могу одобрить ее первые шаги и тот эклектический дух, который ей присущ».

Роллан критиковал группу «Кларте», в частности, за то, что она не осудила Версальский мир, и находил нечеткой ее общую программу. Беда была в том, что он сам не брался выдвинуть, в противовес этой программе, что-либо более конкретное.

А между тем группа «Кларте» сформировалась, взялась за дело — с конца 1919 года стал выходить журнал «Кларте», а в начале 1920 года появилась брошюра-манифест группы, написанная Барбюсом, озаглавленная «Свет из бездны». Платформа «Кларте» приобретала все более определенную политическую окраску. Журнал горячо выступал в поддержку Советской России, вел кампанию за присоединение Французской социалистической партии к III Интернационалу.

Постепенно движение «Кларте», как на то и надеялся Барбюс, принимало международный размах. В английскую группу «Кларте» вошли Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Томас Гарди, Бертрам Рассел; в немецкую — Генрих Манн, Леонгард Франк, Рене Шиккеле, Эрнст Толлер; в австрийскую — Стефан Цвейг, Райнер Мариа Рильке, А. Лацко. В турецкой группе «Кларте», носившей название «Айдинлик», деятельно участвовал молодой поэт Назым Хикмет.

Отношение Роллана к движению «Кларте» в 1919—1921 годах оставалось неоднозначным. Он приветствовал и поддерживал антиимпериалистическую деятельность

группы, высоко ценил Барбюса и его ближайших помощников, талантливых писателей Поля Вайяна-Кутюрье и Раймонда Лефевра. Он совместно с Барбюсом и Жоржем Дюамелем участвовал в подготовке конгресса «независимых интеллигентов всех стран», который предполагалось, но не удалось созвать в Берне в 1920 году. Вместе с тем Роллан лично продолжал держаться обособленно от группы «Кларте», хотя во многих письмах отзывался о ней с неизменной симпатией.

Он писал Рене Шиккеле 15 сентября 1919 года — имея в виду не только себя, но и некоторых друзей-литераторов, таких, как Ш. Вильдрак, П.-Ж. Жув, Р. Аркос, Л. Базальжет: «Мы желаем «Кларте» успеха, и наше неучастие не есть оппозиция. Мы всегда будем едины против общего врага — мировой реакции».

В письме Роллана бельгийскому журналу «Люмьер» от 7 ноября 1919 года говорилось:

«Верно, что я не вхожу в группу «Кларте». Но ни за что на свете я не хотел бы, чтобы мое неучастие было кем-либо использовано во вред «Кларте». Я лично считаю первым своим долгом оставаться вне партий, чтобы лучше беречь и защищать независимость духа, у которой должен быть лишь один учитель: Истина.

Но мое сочувствие тем не менее безраздельно принадлежит тем, кто борются за свободу народов и за социальный прогресс. В первых рядах этих борцов за правое дело — группа «Кларте» с ее великим и мужественным руководителем — Барбюсом. Помогите им в их благородных усилиях!» (Это письмо предназначалось для печати и было опубликовано — и в «Люмьер» и в «Кларте».)

Жизнь показала, что Роллан был не прав, когда считал, что нельзя привлекать к работе в организации передовой интеллигенции тех людей, которые ошибались в годы войны. Он был несправедлив, в частности, по отношению к Анатолию Франсу.

Можно понять, что Франсу — недавнему стороннику «войны до победного конца» — было неудобно подписывать Декларацию Независимости Духа. Однако престарелый писатель с полной искренностью пересмотрел свою былую позицию. По свидетельству Генриха Манна, Франс однажды даже прямо ответил на поставленный ему вопрос, почему он не осудил сразу мировую войну: «Роллан был мужественнее меня». В последние годы своей жизни (он умер в 1924 году) Анатолий Франс много

раз высказывался в духе безоговорочной поддержки Советского Союза и французских коммунистов. В одном личном письме он заявил, что он «большевик сердцем и душой». Когда Барбюс начал вести с ним переговоры о совместной общественной деятельности, Франс сказал ему: «Я понимаю, что вы правы. Но я слишком стар: у меня нет сил идти следом за вами... Однако я вам доверяю». И, вручив Барбюсу чистый лист бумаги, подписанный собственноручно, Франс добавил: «Можете написать на этом листе что хотите и опубликовать за моей подписью: я протестовать не буду».

Повторяю, нет оснований сомневаться в искренности Анатолия Франса. Но Ромен Роллан был личностью иного склада. Он не мог допустить, чтобы кто бы то ни было, даже самый уважаемый человек, думал, писал или решал за него.

Вначале Роллана, как мы помним, настораживала пестрота состава группы «Кларте», неясность ее программы — словом, то, что он называл «эклетицизмом». По мере того как работа этой группы приобретала все более явную политическую направленность, у Роллана возникли другие поводы к озабоченности. «Клартисты» ориентировались в сторону идей большевизма, Роллан чувствовал потребность самостоятельно определить свое отношение к идеологии и практике молодого Советского государства и его прямых союзников на Западе. А тут его подстерегали политические и психологические трудности, с которыми он не мог еще справиться.

Советская Россия долго оставалась для него — как вспоминал потом он сам — своего рода «сфинксом». Он старался добывать информацию, откуда только мог, — информация эта часто оказывалась противоречивой. И он то радовался, узнавая о небывалом размахе народного просвещения в голодной, разоренной стране, то горевал, когда до него доходили вести о суровых мерах, которыми Советское правительство было вынуждено ответить на преступление эсерки Каплан.

Осенью 1918 года Роллан был и озадачен и как-никак польщен, что только что созданная Социалистическая академия РСФСР избрала его своим действительным членом. В ноябре 1919 года в Москве состоялся Первый съезд по рабоче-крестьянскому театру; одним из почетных председателей съезда, наряду с В. И. Лениным и другими руководителями Советского государства,

был избран «первый идеолог социалистического театра Ромен Роллан». Ему прислали протоколы съезда, отпечатанные на шершавой серой бумаге.

Значит, эта страна-сфинкс считает его, Роллана, близким себе человеком? Но что же там все-таки делается, в этой стране?

Поневоле пожалеешь, что не знаешь русского языка!

Еще находясь в Швейцарии, в начале 1918 года, Роллан писал юным сыновьям Альфонса де Шатобриана — Ги и Роберу:

«Если бы вы были моими сыновьями, я постарался бы, чтобы вы основательно изучили английский и немецкий языки. А потом засадил бы вас за русский язык. С тех пор как я вошел здесь в контакт с видными русскими людьми и стал читать многое из того, что они публикуют, — я отдаю себе отчет, какие чудодейственные силы мысли и жизни имеются в этом народе (или, вернее, в народах России). Самые большие надежды на интеллектуальное, нравственное и общественное обновление нашей цивилизации связаны с ними... Во все сферы духовной жизни они вносят ту молодость и мощное своеобразие, каких нельзя уже найти у других наций Запада. Через десять или двадцать лет, я уверен, путь из Парижа в Москву будет еще более кратким, чем ваш нынешний путь из Сен-Назера в Париж. Вы увидите начало новой эры, в которой Восток (русский и азиатский) будет иметь для жизни Европы гораздо большее значение, чем прежде. Это будет очень интересно»*.

А Полю Сейпелю, добропорядочному швейцарскому либералу, которому большевики внушали священный ужас, Роллан писал в январе 1919 года (и при этом явно спорил не только с Сейпелем, но и с самим собой):

«Хотите, дорогой друг, чтобы я отмежевался от русской революции? На это и не надейтесь, пока вы не решитесь отмежеваться от революции французской! Перечитайте «Победу якобинцев» Тэна. Полезно время от времени освежать свою память, — стоит присмотреться, во имя каких святых буржуазия, которая аплодирует Клемансо и г-ну Дешанелю, добродетельно клеймит большевиков. Вы говорите о грабежах? А разве после 89 года не было грабежей в замках и имениях, и разве нынешнее общество не сумело воспользоваться этими награбленными благами к выгоде для себя? А если я вам напомню сентябрьскую резню, в которой не обошлось

без участия Дантона, напомню об убийцах принцессы де Ламбаль, о зловещих судьях Марии-Антуанетты, о кровопийцах Аббатства, о вязальщицах при гильотине (все то, что вы знаете не хуже меня), и т. д. и т. п., — вы мне справедливо ответите, что не в этом суть дела Конвента, и что особенно не в этом его идеал. Почему же вы хотите, чтобы жестокости большевистского террора, развязанного покушением на Ленина, рассматривались как суть одного из самых мощных социальных движений человечества более чем за столетие? Для меня не может быть двух разных мер и весов. Историк, живущий во мне, недосыгаем для пристрастий и страхов: он наблюдает, собирает свидетельства и отказывается судить, не имея в руках всех необходимых документов. Надо выслушать и ту, и другую сторону!»*

Роллан и на самом деле усердно собирал свидетельства. В феврале 1920 года он подробно записал в дневник то, что услышал от профессора-биолога Виктора Анри, вернувшегося в Париж после пятилетнего пребывания в России. Рассказ Анри дал Роллану представление о колоссальных трудностях, с которыми столкнулась молодая Советская республика, о голоде, разрухе, эпидемиях, расстройстве транспорта, — и вместе с тем о тех гигантских усилиях, которые делало Советское правительство, чтобы побороть эти трудности.

«Виктор Анри рассказывает о возвышенных мечтах Горького, Луначарского и некоторых других лиц. Никогда они не отказываются постоять за правое дело. Они стараются пресечь злоупотребления, когда узнают о них. Горький с безграничным великодушием приходит на помощь своим коллегам, писателям, впадшим в бедность. По его инициативе выпускается серия весьма тщательно подготовленных изданий классиков русской и мировой литературы — по очень низкой цене (примерно по рублю, то есть по семь-восемь су за книжку). Государство терпит моральный ущерб, и это ему известно. Но оно не придает этому значения. Оно хочет, чтобы народ читал. И этого удастся достичь. Народ читает неизмеримо много. Повсюду покупают книги...»

Попятно, как радовало и подкупало Романа Роллана все то, что он слышал (и не только от Виктора Анри) о жадной любознательности советских людей, о тяготении к культуре, к книге. В заботе молодого Советского государства о развитии народного просвещения Роллан ви-

дел одно из доказательств его здоровья и жизнеспособности.

Роллан осуждал тупоголовие и предубежденность французских правящих кругов, включая и верхушку буржуазной интеллигенции, по отношению к Советской России: его возмутило, что никто из видных политических деятелей не пожелал принять Виктора Анри. «Повсюду во Франции — все то же упрямство, слепое и равнодушное».

Однако сам Роллан, выслушивая разнородные свидетельства о Советской стране, порой воспринимал с доверием и такие, которые в общей оценке положения были окрашены известной предвзятостью, боязнью революционных событий в Европе.

Летом 1920 года он прочитал в английском журнале «Нейшн» статьи Бертрана Рассела о его поездке в Россию; эти статьи показали ему «весьма примечательными», и в письме к А. де Шатобриану он пересказывал впечатление Рассела:

«Он вынес оттуда ощущение величия и страха. Он верит в победу Советской России и опасается за участь цивилизации. Ленин показался ему непоколебимо строгим учителем, а Троцкий напомнил Бонапарта». (Далее в письме говорится об опасениях Рассела относительно «революции во всемирном масштабе».) *

Роллан мучительно задумывался над проблемами международной политики. В полном согласии с наиболее передовыми людьми Европы он оценивал Версальский мир как мир грабительский, несущий в себе опасность новых войн. Он считал вполне возможным, что в странах Западной Европы будут вспыхивать новые революции, и опасался, что они будут потоплены в крови, так же как Венгерская и Баварская советские республики. Будущее народов Запада подчас виделось ему в самом мрачном, катастрофическом свете.

Он записал в дневник накануне нового, 1921 года:

«Итак, неотвратимая Судьба готовит новую войну, еще более зверскую, чем предыдущая. И не видно в мире силы, которая могла бы приостановить действие смертного приговора, нависшего над Западом. Быть может, только одна. Революция. Два чудовища из Апокалипсиса мчатся наперегонки. Революция и Война. Которое из них прибежит первым? Я не думаю, чтобы (на Западе)

первой пришла Революция. Она слишком запаздывает. Она не подготовлена»*.

Мы видим, насколько сложные чувства вызвала у Роллана перспектива пролетарской революции в странах Европы. Он и ждал ее и боялся. Он понимал, что революционный класс — самый могущественный, самый последовательный противник империалистической агрессии. Но он тревожился при мысли, что рабочие массы Западной Европы еще не готовы к решающим социальным схваткам. Вместе с тем смущала и страшила неизбежность террора, кровопролитий, с которыми будет связана революция.

«Насилие,— писал Роллан в дневнике 30 марта 1921 года, — это сцепление колес: протянешь палец — и весь человек, и вся партия, и весь идеал может оказаться поглощенным. Пример былых революций достаточно ясно показывает, насколько оно стало для них губительным; великие революционеры 93 года с тревогой предвидели эту гибель и пытались ее предотвратить...» *

Лишь коренной социальный переворот может обновить человечество, уберечь его от новых военных катастроф. Но возможно ли осуществить социальный переворот мирным, бескровным путем?

Мысль Роллана кружилась в противоречиях, из которых он не видел выхода.

В конце 1920 — начале 1921 года отношения Роллана с группой «Кларте» резко ухудшились. Тут действовали причины и случайного, личного, но и прежде всего принципиального порядка.

Роман «Клерамбо», вышедший в сентябре 1920 года, вызвал в революционных кругах вполне понятное недовольство — мрачностью перспективы, мотивами недоверия к социализму, ситуацией трагического одиночества, в которую автор поставил своего героя. Именно в тот момент, когда политический авангард французского народа сплывал ряды, когда подготовлялось — и осуществилось в декабре 1920 года на съезде в Туре — создание Французской коммунистической партии, выход этой книги Роллана был, с точки зрения интересов рабочего движения, особенно несвоевременным. Влияние «Клерамбо» грозило оторвать колеблющуюся часть антимилитаристски настроенной интеллигенции от пролетариата, от сотрудничества с коммунистами.

В то же время в редакции журнала «Кларте» проис-

ходили перемены. Раймонд Лефевр, пламенный коммунист, человек большого таланта и политического такта, погиб осенью 1920 года, возвращаясь Северным морским путем из России во Францию. Барбюс часто отлучался из Парижа и не занимался лично делами журнала. Преобладающая роль в редакции «Кларте» перешла в руки литераторов, сильно затронутых «детской болезнью левизны», доводивших идейную непримиримость до крайней степени сектантства. Эти люди — в частности Мадлена Маркс, Жан Бернье — были лично неприятны Роллану и относились к нему с резкой неприязнью.

Жан Бернье откликнулся на выход «Клерамбо» серией уничтожающе-суровых статей, в которых он всецело отождествлял самого Роллана с его героем. Автор «Клерамбо» аттестовался в статьях Бернье как «неприкаянный мистик, лишенный веры в будущее, неизлечимо пораженный неверием в людей...» Между Ролланом и французскими революционерами, утверждал Бернье, стоит «бездна».

Роллан был глубоко оскорблен этим выступлением — оскорблен еще до того, как прочел статьи: о них ему рассказал его друг Пьер-Жан Жув, тесно связанный с «Кларте».

Как раз в это время ему попал в руки номер французского журнала «Ревю коммюнист», где был напечатан доклад Троцкого о хозяйственном строительстве на IX съезде РКП(б). Роллан заинтересовался и стал читать.

В основе доклада был тезис о роли принуждения в организации труда. Докладчик утверждал, что принуждение еще будет играть большую роль в течение значительного исторического периода, ибо людям, мол, свойственно желание уклоняться от работы: «можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное...»

Как это понять? Человек — ленивое животное?? Роллан обеспокоенно перевернул страницу, две. Перед его глазами однообразно мелькали слова: «Принуждение», «воинский аппарат», «милитаризация», опять и опять «милитаризация». В военной области, читал он, имеется соответствующий аппарат, который пускается в действие для принуждения солдат к исполнению своих обя-

занностей. «Это должно быть в том или другом виде и в области трудовой»¹.

Роллан не знал, что предложенный Троцким проект создания «трудовых армий» был фактически отвергнут IX съездом, что в резолюции съезда «Об очередных задачах хозяйственного строительства» была выдвинута на первый план не троцкистская идея «милитаризации труда», а противоположная ей по сути дела ленинская идея соревнования. Он не знал статьи Ленина «Великий почин» и других его работ, говорящих о новой моральной основе социалистического труда, о революции как творчестве раскрепощенных масс. Не знал, не мог знать Роллан и того, что мы знаем теперь, — не знал многочисленных высказываний и писем Ленина, резко критикующих пороки «администраторства» в деятельности некоторых ответственных работников советского аппарата, в частности и в деятельности Троцкого.

Роллан, читая статьи Бертрانا Рассела, обратил внимание на то, как умный англичанин подметил контраст между Лениным — учителем и Троцким — новоявленным Бонапартом. Но ни Роллан, ни Рассел, пожалуй, ни один человек на Западе не мог и отдаленно представить себе в то время, какая пропасть — интеллектуальная, политическая и нравственная — разделяла двух людей, имена которых иностранная печать тогда нередко называла рядом.

Доклад Троцкого, поданный в «Ревю коммюнист» с восторженными комментариями французского публициста Ш. Раппопорта, Роллан воспринял как выражение политики Советской власти — и ему сделалось страшно. Ему показалось, что сбываются худшие опасения, которые он высказывал еще в первой беседе с Луначарским в Женеве. Да, социалистическое государство сумеет поднять экономику, но не будет ли это достигнуто за счет умаления прав личности?

В письме к другу-художнику Франсу Мазерелю от 10 января 1921 года Роллан излил свои огорчения — и по поводу враждебности, проявляемой к нему Жаном Бернье, Мадленой Маркс и другими людьми из «Кларте», и по поводу материалов, прочитанных в «Ревю ком-

¹ См. «Девятый съезд РКП(б). Март — апрель 1920 года. Протоколы». М., Госполитиздат, 1960, стр. 91—93.

мюнист». В письме этом сквозит и гнев, и горечь, и сарказм.

«Я не читал статей «Кларте»; но знаю, в чем дело, от дорогого Жува, который, задыхаясь, написал Барбюсу письмо протеста и предложил свою отставку».

Роллан ни в коем случае не отождествлял Барбюса с такими типами, как Бернье, но ему все же было обидно, что руководитель «Кларте» не уберег его от разностной критики. У Роллана было ощущение, что его оттолкнули, оставили в одиночестве. Он так и писал Мазерелю:

«Что ж — вот меня и с другой стороны отшвырнули, и я один, еще в большей мере, чем был! Это очень здорово.

Заметьте, — я получаю большое эстетическое удовольствие от грандиозного большевистского муравейника, который живет и растет там, в степях, и однажды обрушится на Европу. Это великолепно, прямо, как сила природы. Говорят о русской анархии. Вот глупость! Там налицо — или еще будет — фантастическая организованность. В последнем № «Ревю коммунист» есть речь Троцкого о превращении Красных армий в индустриальную и сельскохозяйственную армию, — это потрясающая апология Армии (с большой буквы). Нигде и никогда, ни при Наполеоне старшем, ни при Вильгельме младшем, ни при Чингисхане милитаризм не доводился до такой крайности. И не знаю, почему это Форд зол на Москву. Там реализуется идеал дорогих ему муравьев...»*

Это письмо, написанное в сердцах, — быть может, крайняя точка расхождения Ромена Роллана с коммунистами. Но то, что вызывало у него обиду, недоумение и боль, — это был, конечно же, не коммунизм, а казарменно-бюрократическое извращение коммунизма у Троцкого, сектантские бестактности у ультралевых «клартистов». (Два-три года спустя эти литераторы, подвизавшиеся в «Кларте», — не только Мадлена Маркс и Бернье, но и Виктор Серж, Парижанин и некоторые другие лица того же толка, — вовсе вытеснили Барбюса из журнала и превратили журнал в свой групповой орган, близкий к троцкизму, а со временем и вовсе стали отъявленными врагами Советского Союза и международного коммунистического движения.)

Вспоминая о своей идейной позиции в самые труд-

ные для него годы — 1921—1922, — Роллан писал впоследствии в автобиографической статье «Панорама»:

«Независимость духа была более чем когда-либо моим знаменем. Я и теперь не мог допустить, чтобы она служила предлогом для выхода из боя. Напротив, я хотел, чтобы это знамя реяло над битвой пролетариата. Но только чтобы пролетарские борцы сами не разрывали его и не топтали ногами!»

Роллан не хотел выходить из боя. А некоторые его литературные друзья, «ролландисты», как их иногда называли, — Жорж Дюамель, Пьер-Жан Жув, Рене Аркос — были искренними противниками войны, но вовсе не были расположены идти на бой против буржуазного мира и, по мере спада революционной волны в Европе, настраивались на пассивно-примирительный лад.

Спор французских коммунистов с автором «Клерамбо», а тем более с «ролландистами» действительно назрел. Этот спор не мог быть исчерпан развязными статьями Бернье. Не мог он быть исчерпан и статьей Вайяна-Кутюрье «По поводу некоторых писем», автор которой критиковал «сентиментальный пацифизм», уважительно обходя молчанием имя Роллана.

Барбюс выступил сам — открыто, обстоятельно, в достойном тоне. Его статья, напечатанная в «Кларте» в декабре 1921 года, называлась «Вторая половина долга. По поводу ролландизма».

Барбюс с величайшим уважением отзывался о старшем собрате. «Никто из нас не намерен в какой бы то ни было степени оспаривать моральную ценность и литературный гений Ромена Роллана или преуменьшать значение смелого вызова, брошенного им войне в момент, когда он один поднялся над дикостью человеческой...» Барбюс ставил себе задачей — убедить Роллана в том, насколько нежизненна его концепция «независимости духа». Те деятели культуры, которые ограничиваются обличением социального зла и вместе с тем чужаются политики, не хотят участвовать в борьбе за социалистическое преобразование мира, — выполняют лишь «половину своего долга».

Боязнь политики в наши дни, утверждал Барбюс, — серьезная интеллектуальная ошибка. Эта ошибка, уточнял он, свойственна не столько самому Роллану, сколько «ролландистам», которые «восхищаются своим учителем больше, чем понимают его».

Как видим, Барбюс вел полемику осторожно и тактично. Но в ходе своей аргументации он допустил серьезный срыв, на который Роллан сразу обратил внимание.

Упрекая «ролландистов», что они придают слишком важное значение проблеме революционного насилия, делают из нее камень преткновения, Барбюс утверждал, что применение насилия «в рамках революционного социального учения — это только деталь, и притом деталь преходящая».

Насилие, кровопролитие, гибель людей — всего лишь деталь? Роллана это слово покорило. Вспоминая впоследствии, в статье «Панорама», о своем споре с Барбюсом, он писал:

«Но Барбюс мог бы мне возразить — не так, как он это сделал, допустив неудачное выражение, которое не прояснило его мысль, то есть что «применение насилия — это только деталь», — нет, он мог бы возразить иначе: что в некоторые исторические периоды насилие является горькой необходимостью, и что когда действовать необходимо, то средства — это не роскошь духа, который выбирает их по своему вкусу, а нож у горла, который ты должен, как бы у тебя ни сжималось сердце, схватить твердой рукой и направить острием на убийцу, если не хочешь, чтобы он тебя зарезал... Нет, насилие никогда не будет украшающей добродетелью. В лучшем случае это суровый долг, который нужно исполнять неуслышительно, но не хвастаясь».

Однако так верно и зрело Роллан мог рассуждать в 1934 году, когда он писал «Панораму», но не в году 1922-м. Отвечая Барбюсу, он выразил сильные сомнения, действительно ли необходима для торжества нового строя жизни диктатура пролетариата и связанная с нею суровая дисциплина. В тот момент Роллан склонен был отождествлять революционную дисциплину с некоей неумолимой «социальной геометрией», которая и пугала его и отталкивала.

И Барбюс и Роллан выступили в ходе полемики трижды (первый — в «Кларте», второй — в бельгийском журнале «Ар либр»). Барбюс настаивал на том, что люди творческого труда должны оказывать реальную помощь страдающему и эксплуатируемому человечеству: действовать, бороться, а не только наблюдать и критиковать. Роллан ни в коем случае не хотел проповедовать социальную пассивность, но, по сути дела, отвергая ре-

волюционные методы борьбы. В этом споре впервые обнаружилось новое направление его поисков: тяготение к Ганди, к опыту индийского народа, борющегося без кровопролития. Применим ли этот опыт для народов Европы? Роллау и сам не знал этого. Его конечный вывод отличался крайней неопределенностью: «Задача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы достигнуть гармонии между необходимостью экономической и социальной революции и необходимостью духовной свободы».

Фронт дискуссии ширился. В журнале «Ар либр» появились статьи-отклики двадцати шести французских, бельгийских, немецких писателей и художников. Большинство их выступило в поддержку Роллана.

Личные отношения обоих ведущих участников спора и в самый разгар полемики и после нее оставались дружескими. «Наши тезисы, — писал потом Роллан в «Панораме», — представляли собой две стороны одной и той же монеты. И на обеих этих сторонах, и лицевой и оборотной, стояла печать революции». Роллан претендовал на то, чтобы остаться в лагере революции, но — на правах одиночки, «добровольца».

Однако расхождения между «клартистами», с одной стороны, и «ролландистами», — с другой, были гораздо более значительными, чем разногласия между главными участниками дискуссии. Некоторые сотрудники «Кларте» — «бешеные», как их назвал Роллан, — выступали в вызывающем, крикливом тоне, словно желая оттолкнуть инакомыслящих деятелей культуры от рабочего класса и Коммунистической партии. Даже поэт Марсель Мартине — единственный из «бешеных», с кем Роллан сохранил добрые отношения и в последующие годы, допускал в полемике грубые перегибы. Он писал, например: «Интеллигенты, вечно недовольные и плетущиеся в хвосте, с брюзжанием последуют за победоносной революцией, так же как они сегодня, ворча, служат буржуазной тирании». Мартине утверждал, что интеллигентам следует во имя служения делу пролетариата, «отказаться от щепетильности в вопросах чести». Понятно, как удручали Роллана такого рода заявления.

А «ролландисты», со своей стороны, вносили массу путаницы. В своем отстаивании абсолютной свободы духа и недоверии ко всякой политике они шли гораздо дальше, чем тот, кого они считали своим учителем. Жорж Дюамель писал: «Политическая революция — это

поверхностный акт, не имеющий реальных последствий». Глубоким пессимизмом («унылым пораженчеством», — как отмечал впоследствии Роллан) была окрашена дискуссионная статья Стефана Цвейга, отрицавшего какую бы то ни было связь между «миром духа» и «миром видимым», то есть между мыслью и практикой. Все это объясняет, почему Роллан чаще всего не мог быть доволен выступлениями тех, кто, казалось бы, его поддерживал (и почему он немного времени спустя в заметках для себя писал, что «антиролландисты» в какой-то мере ближе ему, чем «ролландисты»).

Дискуссия прояснила позиции спорящих сторон, но не убедила ни тех, ни других и в конечном счете ускорила распад «Кларте».

Роллан, конечно, не желал такого результата. Он и в самый разгар споров продолжал — несмотря на все разногласия и все свои личные обиды — относиться к группе «Кларте», как мог относиться лояльный союзник. Об этом говорит, в частности, его письмо немецкому критику — Эрнсту Роберту Курциусу от 15 августа 1921 года.

Это письмо примечательно и в другом смысле. Роллан постепенно превозмогал в послевоенные годы ту непримиримую предубежденность, с которой он еще недавно относился к писателям, занимавшим ошибочную позицию в военное время, — в частности к Томасу Манну.

Как известно, Томас Манн (в отличие от своего старшего брата Генриха Манна, близкого Роллану по взглядам) во время войны высказывался в консервативно-националистическом духе; Роллан по этому поводу негодовал, писал в дневнике, что никогда не подаст Томасу Манну руки. Теперь, узнав от Стефана Цвейга, а затем и от Курциуса, что крупнейший немецкий прозаик стал ближе к идеям демократии и мира, — Роллан обрадовался. Но вместе с тем он был не согласен с Томасом Манном по вопросу о «Кларте». Об этом и говорится в письме к Курциусу:

«Я счастлив тем, что вы мне сообщаете о Томасе Манне, и его суждение о моем творчестве доставляет мне удовольствие. Однако он просит, чтобы я порвал с «Кларте». Но 1) я никогда не был членом «Кларте», а если иногда в кругах «клартистов» пользовались моим именем без спросу, то я против этого протестовал; 2) я отчетливо высказал, в чем я расхожусь с идеями «Клар-

те»... 3) Хотя я и полностью отделился от «Кларте», я не хочу выступать против нее: ибо это *единственная* группа французской интеллигенции, которая мужественно борется против войны, против милитаризма, против той несправедливости и лжи, которая сопутствует победе».

После окончания дискуссии Роллан имел основания почувствовать себя почти что изолированным — по крайней мере в Париже. К бойкоту и недоброжелательству со стороны официальных буржуазных кругов Франции прибавилось недоброжелательство со стороны революционной интеллигентной молодежи, если не всей, то немалой ее части. Роллан с горьким юмором писал Стефану Цвейгу 21 января 1922 года: «Начинается снова то, что уже было в 1914 году. Было время, когда меня поносила и французская печать и немецкая. А теперь буржуа меня третируют, как коммуниста, а коммунисты, как буржуа. К счастью, я себе выстроил свой внутренний дом, иначе я оказался бы на мостовой. Ничего не поделаешь, жилищный кризис!»

Роллан и до этого времени большую часть года находился в Швейцарии — теперь ему стало вовсе тягостно бывать в Париже.

Здоровье у него было сильно подорвано, — еще в первую послевоенную осень активизировался давний туберкулезный процесс. Личная жизнь оставалась безрадостной. Надежды на счастливую встречу с Талией после войны не оправдались, — у нее назревало и, наконец, обнаружилось тяжелое душевное расстройство. Для Роллана мало-помалу стало очевидным, что те своеобразные черты ее характера, которые когда-то пленяли его, — милая детская взбалмошность, крайнее легкомыслие, сочетавшееся с религиозной экзальтацией — были выражением психической неуравновешенности, которая теперь резко усилилась. Он продолжал получать от нее письма, но это были письма чужой, больной женщины, не той, кого он любил когда-то.

Самым близким Роллану человеком после смерти матери стала сестра.

Мадлена Роллан была личностью интеллектуального и волевого склада. Она получила серьезное филологическое образование, долгие годы преподавала французский и английский языки, переводила с английского, — в ее

переводе вышел во Франции, в частности, известный роман Томаса Гарди «Тесс из рода д'Эрбервиллей». Разделяя антимилиитаристские взгляды брата, она и во время войны и после нее участвовала в деятельности «Международной лиги женщин за мир и свободу». В послевоенные годы она стала систематически помогать брату в литературных трудах и переписке. Эта помощь со временем сделалась ее основной работой.

Весной 1922 года Роллан вместе с отцом и сестрой обосновался на длительное время в Швейцарии, в Вильневе (кантон Во). Здесь, вблизи старинной деревушки виноградарей и рыбаков, он прожил шестнадцать лет.

Он писал Рабиндранату Тагору 7 мая, вскоре после переезда:

«Я только что окончательно оставил мою парижскую квартиру, чтобы поселиться в маленьком домике в Швейцарии, на берегу Женевского озера, вблизи Савойских Альп. Я не мог более переносить — ни духовно, ни физически — атмосферу Парижа, постоянную сутолоку улиц и душ. Мне долго пришлось жить там, но я себя окутывал музыкой и мечтами. Думаю, что теперь имею право удалиться от вихря человеческого, чтобы быть ближе к сердцу человеческого. Здесь у меня — тишина, шелест деревьев, плеск волн, которые разбиваются о берег, дыхание лугов и чистых ледников».

А Полю Сейпелю он писал 28 мая:

«Я снял маленький домик, виллу «Ольга», в парке Отеля Байрона; я перевез сюда из Парижа мои книги, бумаги, мебель, — квартира на улице Буассоннад теперь опустела. По соображениям здоровья, а также и экономии, я сохраняю за собой только одно жилище, — именно то, где я расположился здесь, в Швейцарии, на несколько лет...

И я засел за работу, почти что с чувством облегчения. Доброе это дело — работа, — почти то же самое, что воплощенная мечта, — это лучшее, что есть на свете, если не считать нескольких старых верных друзей».

«...Когда мы увидимся, — писал далее Роллан, — я хочу внушить вам любовь к Барбюсу, несмотря на некоторые заблуждения его мысли. Это благородный характер. Надо было обладать очень закаленной душой, чтобы остаться чистым и сохранить свою веру в человечество, выйдя из той среды, в которой ему пришлось по воле судьбы жить до 1914 года. Если вы увидите, в каком

эгоизме погрязли сегодня в Париже даже лучшие люди, вы сможете оценить рыцарское великодушие Барбюса»*.

Примечательно и то, с какой сердечностью Роллан мог говорить о своем недавнем оппоненте после только что законченного, утомительного, малоплодотворного спора, и то, с какой готовностью он, невзирая на болезнь и усталость, невзирая на всяческие невзгоды, взялся за работу сразу же после того, как перебрался на новое место.

В то время им было начато или задумано несколько новых произведений: большой роман «Очарованная душа», пьесы из цикла «Драмы революции», биография Махатмы Ганди.

2

Ромен Роллан — и после того, как он поселился в Швейцарии и погрузился в собственную творческую работу, — не переставал принимать близко к сердцу все то, что происходило в политической жизни Европы и всего мира. Он то и дело — удачно или неудачно — вмешивался в эту жизнь.

Летом 1922 года мировая печать уделяла много внимания процессу эсеров, происходившему в Москве. Роллан знал о террористической деятельности эсеров, направленной против Советской власти. Он не сочувствовал обвиняемым и относился с уважением к Луначарскому, выступавшему общественным обвинителем на процессе. Тем не менее он обратился 14 июля с печатным призывом к организаторам процесса — проявить «великодушие» к эсерам. (С подобными обращениями выступили в те дни и некоторые другие крупные деятели культуры, например Анатолий Франс.)

Позиция Роллана в этом вопросе была крайне уязвимой. Он горевал — безотносительно к существу дела — по поводу того, что большевики и эсеры проявляют такую «нетерпимость» друг к другу. Это было по меньшей мере наивно, поскольку речь шла об острой политической борьбе.

В письме Роллана к Марселю Мартине, отосланном 18 июля, говорилось уже о другой стороне дела. Роллан здесь не заступает за эсеров, но сетует на то, что газета «Юманите» (где сотрудничал в то время Мартине) не сумела достаточно убедительно и ясно осветить этот

процесс. «Юманите», отмечает Роллан, не смогла разбить доводы бельгийского социал-демократического лидера Э. Вандервельде, защищавшего эсеров.

«Задачей честной газеты было бы — обнародовать аргументы ее противников (а тем более несогласных с ней друзей) и их опровергнуть. Уклониться от четкого разбора жалоб Вандервельде и напечатать грубую статью, бездоказательно утверждающую, что «Вандервельде — лжец», — значит поступать недостойно, а главное, неуклюже: ибо даже и те, кто, как я, не чувствуют к Вандервельде ни малейшего доверия, могут усомниться»*.

Роллан с полной искренностью заботился о моральном авторитете французской коммунистической прессы. Нечестность в полемике, подмена аргументации грубой бранью — все это, считал он, может пойти во вред престижу революционной газеты оттолкнуть от нее тех читателей, на которых она хочет повлиять.

За сравнительно частным вопросом — о порядочности в политической полемике — для Роллана вставали проблемы несравненно более серьезные. Он по любому поводу старался убедить литераторов-«клартистов», что щепетильность в вопросах чести, нравственности не такая мелочь, как это казалось Мартине и другим лицам того же склада. Ведь дело тут не просто в принципах и склонностях отдельных людей, а в самых насущных интересах революционного движения! «Ибо, — писал он Мартине, — Революция, которая не чтит истину и моральные ценности, как святыню, может фатальным образом погрязнуть в комбинациях, — в таких случаях выплывают на поверхность самые хитрые и безжалостные люди — Фуше и Бонапарт. Поверьте мне: «роковые личности» в нужный момент находятся, они могут воспользоваться вашими ошибками и сыграть на руку реакции, будля при этом свою собственную выгоду»*.

Мы чувствуем в этих строках интонацию наивного морализирования, характерную для Роллана. Но в них была — как показала потом жизнь — доля здравого предвидения. Роллан понимал, какую опасность для рабочего движения представляет левацкий экстремизм, политическое комбинаторство «роковых личностей», щеголяющих революционной фразой. В середине двадцатых годов ультраевые крикуны и сектанты, впоследствии изменившие рабочему движению, нанесли большой ущерб

Французской коммунистической партии, попытались увлечь ее на путь опасных авантюр (Морис Торез рассказывает об этом в своей книге «Сын народа»).

Осенью 1922 года Роллан прочитал в «Кларте» и «Юманите» статьи Троцкого, содержавшие резкие нападки по его адресу. Роллана это крайне обидело. Он мог, как равный с равным, спорить с Барбюсом, мог даже сносить критику со стороны молодого и заносчивого Мартине. Но выступление Троцкого он воспринял как окрик. И притом окрик, исходивший из страны, с которой Роллан, при всех сомнениях и разногласиях, связывал лучшие свои надежды.

Это было трудно перенести.

Роллан поделился своим огорчением с различными своими корреспондентами — и с Горьким и с Софией Бертолини. 3 ноября 1922 года он написал Стефану Цвейгу: «Знаете ли вы, что генералиссимус (Троцкий) мне дважды указал на дверь, в «Юманите» и в «Кларте»? Коммунисты (и я говорю — наши друзья коммунисты) убили свою партию во Франции».

Как бы то ни было, Роллан в любых обстоятельствах смотрел на коммунистов как на друзей. Пытаясь, через посредство Мартине, предостеречь французских революционных литераторов от доктринерства и сектантских ошибок, Роллан вместе с тем давал дельные советы, в которых обнаруживалась острота его политической мысли.

В письме к Мартине от 27 июля 1922 года он рекомендовал, чтобы «Юманите» (где иногда появлялись романы «с продолжением») перепечатала роман Эптона Синклера «Сто процентов», полезный для борьбы против фашизма, который в тот момент рвался к власти в Италии. Роллан быстро разобрался в социальной природе фашизма, сумел увидеть в нем явление международное, а не только итальянское. «Присмотритесь к тому, что происходит в Италии. Фашистские банды, нанятые промышленными капиталистами для избивания революционного пролетариата, который заставил их трепетать, — это подражание той гнусной тактике, которая была испробована еще несколько лет назад американским капиталом и которую заклеил Синклер»*.

Проблемы социальной борьбы в Европе, будущность народов, задачи деятелей культуры в сложнейшей международной обстановке — все это держало Роллана в не-

прерывном духовном напряжении, побуждало его много и тревожно размышлять.

Особенно интенсивный обмен мыслями происходил у него в кризисные для него двадцатые годы с Горьким и Стефаном Цвейгом. Сколь бы ни были не похожи друг на друга русский пролетарский писатель и австрийский аристократ духа — Роллан умел находить общий язык с ними обоими. И он то и дело спорил и с тем и с другим.

Стефан Цвейг, глубоко преданный Роллану, делавший многое, чтобы его творчество стало лучше известно в странах немецкого языка, изливал ему свои грустные чувства и предчувствия. В послевоенные годы он страдал тяжелой душевной подавленностью. В письмах, которые он посылал Роллану в 1919—1923 годах, лейтмотивом проходит мысль: человечество обезумело, всякая деятельность бесполезна.

«Происходящая ныне трагедия, — жаловался он Роллану 12 мая 1919 года, — намного превосходит нашу способность понимания: это некий нравственный, или вернее безнравственный, вихрь, который опустошает весь мир». «Мне хочется поглубже уйти в себя», — исповедовался он в письме от 11 октября 1922 года. «Я не вижу в нашу эпоху никакого места для активного дела».

Роллану было и самому невесело. Но он пытался ободрить Стефана Цвейга, поддержать его дух.

«Не будем поддаваться унынию!» — призывал он его в июле 1919 года. А несколько позже, 18 февраля 1920 года, в ответ на сетования Цвейга по поводу атмосферы распада, господствующей у него на родине, Роллан писал:

«Нравственная вялость, о которой вы мне рассказываете, действует угнетающе — не только у вас, но в той же мере и у нас. Даже в собственной душе ее чувствуешь... Надо бороться. Надо, главное, держаться. Быть может, эта спячка, в которую погружены народы, психологически необходима, чтобы восстановить их изношенный организм. Мощное биение жизни теперь имеется только в России... Однако и там, когда наступит ожидаемый мир, силы могут надломиться на год-два, если крепкая рука Ленина и его друзей не сумеет вовремя дать им опору. Человечество обессилело. Это можно понять. Тут нет оснований отчаиваться. Надо поверить в естественный ход событий и подождать, пока оно проснется после долгой беспокойной ночи. Но в то время,

как длится эта ночь, надо хотя бы отдельным людям держать глаза открытыми, как бы они ни слипались от утомления. Не будем засыпать!»

10 ноября 1921 года Роллан снова писал Цвейгу:

«Одно из моих огорчений — то, что я наблюдаю во Франции и вне ее столько умственных и нравственных штатаний даже у лучших людей... Надо нам следить за собой в этот час всемирной усталости. Наша обязанность — подавать пример другим!»

Не знаю, долго ли я буду жить, так как здоровье у меня довольно сильно затронуто. Но я знаю, что до последнего дыхания буду жить стоя и умру стоя. Вы, друзья мои в Европе, если вы — как можно естественно предположить — меня переживете, держитесь крепко, невзирая ни на что! Пусть ничто не поколеблет вашей силы и вашей веры! Это — священный долг. Ибо на нас опираются миллионы неизвестных душ. Мы для них — оплот».

В неодинаковом моральном состоянии Роллана и Цвейга отражалось не просто различие характеров или темпераментов, но и прежде всего различие коренных взглядов на жизнь. Роллан считал невозможным и даже недостойным уходить в себя. Он был и хотел быть вне политических партий, но был убежден, что его долг, как «человека мысли», выступать против реакции, войны, несправедливости до последнего дыхания. Именно такой смысл, не только эмоционально-психологический, но и идейный, вкладывал он в слова «жить стоя и умереть стоя».

Стефан Цвейг, искренне почитавший Роллана, сам был гуманистом пассивного, созерцательного склада. Он боязливо держался в стороне от общественной жизни (в частности, он вопреки совету Роллана не выступил с протестом, когда немецкие националисты убили его друга, известного либерального политика Вальтера Ратенау). Однако Цвейг прислушивался к убеждающим словам Роллана — прежде всего тогда, когда речь заходила о Советской России.

В современном мире не видно настоящих людей, говорил Цвейг. Роллан возражал ему (24 февраля 1920 года): «Люди, которых вы ждете, — те, кто могут по-новому раскрыть величие человечества, — существуют. Они в России. Мы скоро их услышим... солнце там снова встает, в то время как здесь — тьма». Цвейг писал в

ответ: «То, что вы мне говорите о России, — очень верно!.. Как только откроются границы, я хотел бы туда поехать». Два года спустя, в январе 1922 года, в тот момент, когда они оба, с очень неодинаковых позиций, спорили с Барбюсом, Стефан Цвейг снова в письме к Роллану говорил о надеждах, которые он связывает с Советской Россией: «...По-прежнему достойно внимания, что все, или почти все, кто побывали в России, — даже и Уэллс — возвращаются оттуда с чувством большого восхищения, в то время как газеты упорно изображают положение в России как нечто варварское. Не знаю, читали ли вы памфлет Мережковского против Горького — это скорее нападки со стороны маньяка, чем критика со стороны поэта».

Имя Горького не раз вставало в переписке Роллана и Цвейга. Горький, даже и в те годы, когда он жил за границей, был в сознании западных писателей-гуманистов представителем новой России, ее посланцем, судьей и истолкователем, источником наиболее надежной информации о всем том, что там происходило.

Самою сутью своего творчества Горький говорил о мощи новой, революционной России. Он как художник был живым доказательством ее силы. Страна, где трудящиеся и эксплуатируемые так сумели осознать себя в искусстве, несомненно, вступила на путь великого революционного обновления. «...Читая Горького, будущий историк найдет неопровержимое доказательство тому, что восстание и восхождение России — дело рук самого народа». Эти слова были сказаны Стефаном Цвейгом по поводу 60-летия со дня рождения Горького, в 1928 году. Но и на пять и десять лет раньше Горький в сознании и Цвейга, и Роллана, и других интеллигентов-гуманистов Запада был неотделим от России — России новой, советской.

Горький был своего рода связующим звеном между Ролланом и советским народом. Оба писателя в пространых, предельно откровенных заочных беседах обменивались мыслями по самым проклятым вопросам современности.

«...Сколько раз я думал о вас за эти два года! — писал Роллан Горькому 1 ноября 1921 года. — Я мысленно пережил все те нравственные муки, которые вы должны были испытать. Я и сказать не могу, как я восхищен ролью, которую вы взяли на себя, вашим самоотече-

нием и преданностью». Далее Роллан рассуждает о том, как много времени еще потребуется людям, чтобы избавиться от «звериных» инстинктов и привычек. «Никогда не следует жалеть о том, что идеал, который вы перед собой поставили, стоит выше (бесконечно выше) действительности. Ведь этот идеал тоже действительность. Но действительность, опередившая нынешнюю. Действительность будущих времен. Мы должны быть счастливы тем, что стали ее провозвестниками!» *

Роллан и в следующем письме — от 20 декабря 1921 года — придерживается ободряющего тона. Человечество идет к будущему революционным путем — это для Роллана непреложная истина. Вместе с тем он делится с Горьким своими размышлениями об опыте русской революции: в этих размышлениях чувствуется и предвзятость и недостаточная осведомленность. Доходившие до Роллана слухи о трагических сторонах революционных будней в какой-то мере затемняли для него главное — героизм народа, который, напрягая силы до предела, боролся с вражеской интервенцией, разрухой, голодом...

В этом же письме от 20 декабря 1921 года Роллан кратко излагал суть своих разногласий с Барбюсом. Он отстаивал свою любимую идею — революция не должна пренебрегать моральными ценностями, иначе она погибнет. Он напоминал старинное изречение Монтескье: «Республики основаны на добродетели». Новый государственный строй не может опираться только на силу и на трезвый расчет: «Откуда станет Революция черпать ту готовность к жертвам, без которой она не может существовать?» *

В этих словах, пожалуй, наиболее явственно сказалось, как мало знал Роллан о новой России в тот момент. Он уважал энергию и дерзание большевиков, чувствовал грандиозный масштаб происходивших в стране перемен, — но имел лишь самое приблизительное понятие о той моральной атмосфере, в которой совершались эти перемены. Он не представлял себе, с каким благородным энтузиазмом люди русской революции, от Ленина до бесчисленных рядовых Павлов Корчагиных, отдавали себя «временам на разрыв», жертвовали собой во имя спасения Советской Родины.

Как бы то ни было, Роллан продолжал верить в поспешный ход истории:



«Что касается будущего, то мои надежды не поколеблены. Я ясно вижу, что мы вступили в эру потрясений, переживаем длительную болезнь роста человечества, в ходе которой народам придется перенести еще много ударов! Вполне вероятно, что Европа будет тяжело ранена, истощит свои силы, утратит свое первенство... Не все ли равно? Ведь есть в мире и другие источники света. Я не больше патриот Европы, чем Франции. Дело прогресса



Зарисовки Ф. Мазереля.

будет взято в руки тем или другим народом и продолжено им. Поразительный моральный факт последних тридцати лет (которому я свидетель) — это духовное братство, понемногу связывающее передовые отряды всех стран Европы, Азии, Америки. Конечно, это лишь разведчики будущего, — за ними следует на расстояние веков вся великая человеческая армия. Но она следует и последует за ними. Я убежден в этом. Подобно Колумбу, который стоял, наклонясь вперед, на носу корабля, разрезавшего темную Атлантику, мы знаем, что новый мир перед нами. Наши глаза его не увидят. Не все ли равно? Он там»*.

Горький был на стороне Роллана в его споре с «Кларте». Но уже в этот момент обнаружилось серьезное разногласие между обоими писателями.

В статьях и письмах того периода Горький высказывал свои горестные чувства. Болезненно реагируя на недостаток культуры в массах деревенского населения России, он произносил резкие суждения о «Востоке» в це-

лом — для него это понятие отождествлялось с варварством и застоём.

У Романа Роллана как раз в то время складывалось совершенно иное отношение к Востоку. Он был глубоко убежден, что народам Азии и других неевропейских континентов суждено сыграть важную роль в мировой истории, что народы эти внесут, и уже внесли, большой вклад в культуру человечества. И он писал Горькому 4 апреля 1922 года:

«Что до вашей оценки Востока — я не согласен с вами. Я вижу в нем источник могучего обновления человеческой цивилизации. Но различие в наших мыслях объясняется, мне кажется, тем, что существует не один Восток, а несколько, и мы с вами говорим не об одном и том же. Вы имеете в виду прежде всего Восток фаталистический, расслабляющий волю, — его дух проник и в Россию. Но мне известен другой Восток, отмеченный идеализмом и героическим деянием, в Индии и в новом Китае. Вы не считаете, я надеюсь, моего Жан-Кристофа нервным фаталистом? Так вот представьте себе: в словах, с которыми он обращается к своему Богу в «Неопалимой купине», в момент тяжкого кризиса, когда его воля надломлена и он готов уже отчаяться, но все же возобновляет вечную борьбу, — молодые индусы нашли почти текстуально слова из ведических гимнов Вишну и Шиве (хотя я и не знал их), то есть нашли свои идеи в самом чистом виде. — Будда, как и Лаоцзы, — лишь выражение (возвышенное) века пессимизма, разочарования в действии. Зато ранний ведизм и брахманизм — это потоки энергии. И в душах многих тысяч азиатов эти потоки не иссякли. Великие силы человеческой души никогда не умирают. Они дремлют. Будь то в Европе или в Азии, мне всюду хотелось бы пробудить их»*.

Правда, в этих «азиатских» контактах и интересах Романа Роллана был оттенок духовного аристократизма (вообще говоря, мало ему свойственного). Он возлагал надежды скорей на мыслящее меньшинство стран Востока, чем на массы трудящихся и угнетенных. Опасаясь, и не без оснований, роста «фанатичного национализма» в народах, придавленных вековым гнетом, Роллан не вполне отдавал себе отчет в том, что та новая национальная интеллигенция, индийская, китайская или японская, которая внушала ему симпатию, не выросла, не поднялась

бы без подспудного движения народных масс, которое было для нее и стимулом и опорой.

Роллан писал Горькому 16 сентября 1922 года:

«Я считаю совершенно необходимым обновление *европейской мысли* через мысль Азии. Но я вижу, как и вы, какую огромную опасность представляет грубое вторжение в Европу большого числа азиатов — этого неукротимого потока миллионов людей, которым есть за что отомстить: за века жестокого угнетения и подлого насилия. Для меня это еще один довод в пользу нашего скорого сближения с интеллектуальной верхушкой Азии и союза с ней, чтобы всем вместе бороться против фанатичного национализма народов Азии, как и Европы. Я нашел в Японии и Индии достойных единомышленников, которые в своих странах играют роль, подобную моей роли во Франции...»*

Осенью 1922 года Роллан получил от Горького сборник его статей, вышедший в немецком переводе. Статьи вызвали несогласие Роллана. Об этом говорится в его письме от 12 октября 1922 года. В консерватизме русского крестьянства, возражал Роллан, быть может, заключено противоядие против бездушного техницизма современной западной цивилизации, несущей в себе «дух господства и разрушения»*.

Роллан вернулся к этим проблемам в письме от 4 октября 1923 года. «Народы отличаются не столько расовыми, сколько *возрастными признаками*, зависящими от условий их социального формирования...» Русский народ, замечал Роллан, проделал громадный путь за кратчайший исторический срок. «Наделенный умом и большими жизненными силами, он совершил чудеса в области интеллектуальной и художественной. Но это отразилось на его душевном здоровье. Он страдает от *быстро достигнутой зрелости*. Это более чем естественно! Болезнь роста. Трудный возраст». И далее Роллан приходит к оптимистическому заключению: «Россия будет жить и побеждать. Она — отрок-гигант; а волки Европы стары, у них зубы шатаются».

«Как много мне еще надо сказать в ответ на ваше письмо! — продолжал Роллан. — В частности по вопросу: Азия — Европа. Вы, конечно, понимаете, что я не согласен с вами! Вы очень неуважительно говорите о юных «телятах» Азии, которые сосут старую корову — Европу! Но, дорогой друг, если уж зашла речь о

телятах, то стоит спросить, кто же из двух, Европа или Азия, питалась молоком другой?» Истоки современных религий, искусств, наук, напоминал Роллан, следует искать скорей в азиатских, чем в европейских странах.

Он далее полемизировал с горьковской, на его взгляд слишком восторженной, оценкой Европы как «неутомимой мученицы в поисках правды, справедливости, красоты».

«Я знаю цену европейской цивилизации. Но она не единственная. Были и будут и другие. И я рад при мысли, что будут другие. Ибо я ясно вижу пределы, через которые эта цивилизация никогда не перешагнет.

Что касается Европы, *неутомимой мученицы в поисках правды, справедливости, красоты* — мой друг, я знаю также *другую* Европу, «неутомимого» палача чужих рас, искоренившего цивилизацию Мексики и Перу, дважды уничтожавшего сокровища искусства Китая, торговца христианством и алкоголем, в одинаковой мере развлеченными, — готового продать с молотка весь мир... и я не восклицаю: «Да здравствует Европа!» Она старается утвердить свое существование, истребляя других. Я работаю не для нее, я работаю ради тех, кто является в Европе, как и всюду (но не более, чем всюду), носителем красоты и искателем правды, ради всего подлинно человеческого, будь то здесь или там. А от нынешней Азии я ожидаю очень многого для будущего»*.

Горький в своих письмах дружески возражал Роллану. И сколько бы ни были суровыми, во многом односторонними в тот период его суждения о русском народе (особенно крестьянстве), он попутно в своих ответах Роллану полемизировал и с буржуазными противниками советского строя (то есть вооружал и своего друга для такой полемики). В письме от 9 октября 1923 года он подчеркивал: что бы ни утверждали враги Советского правительства, власть все же находится в руках народа! Горький тут же признавал правоту Роллана, хотя бы частично: да, недостатки и достоинства у разных народов во многом одинаковы... И он с душевной скорбью сознавался, что Россия для него «неизлечимая болезнь», на ней сосредоточены все мысли.

Ромен Роллан, со своей стороны, во многом не соглашаясь с Горьким и понимая, что тот «болен Россией»

(то есть не вполне способен спокойно судить о ней), все же прислушивался к его суждениям, а главное, вчитывался в его книги: именно свидетельства Горького художника были для Роллана наиболее авторитетны и интересны.

Он прочитал по-французски книгу рассказов Горького «О первой любви» — и проблемы русской жизни раскрылись перед ним с новой стороны: он написал об этом Горькому 30 октября 1924 года.

Характер каждого народа формируется историческими условиями. На Западе люди привыкли к прочным социальным связям, вынуждены подчиняться общественному мнению, жить по стандарту, как все. «У вас наоборот, — писал Роллан, — Слишком мало сдерживающих сил — социальных и нравственных — вокруг вас и внутри вас. — Ничто не связывает вас, а так как вы обладаете молодой, неистовой, бьющей через край силой, вы спотыкаетесь на каждом шагу.

Заключение: России нужна железная дисциплина, — Петр Великий или Ленин. Но для того, чтобы эта дисциплина вошла в привычку, в быт, требуется время и снова время...»*

Парадоксальный итог!

Ромен Роллан — давний противник диктатуры пролетариата и вообще всякой диктатуры — в результате диалога с Горьким пришел к неожиданному выводу, что России, вступившей на новый исторический путь, необходима твердая, сильная власть, ибо без «железной дисциплины» революционный народ не может преодолеть вековой отсталости...

Так ли это? Роллан продолжал размышлять над этим кругом проблем и в последующие годы. И вместе с тем продолжал возражать против горьковских — в известной мере идеализирующих — оценок Европы и европейской цивилизации.

«Европу погубил не враждебный ей Восток, — писал он 21 сентября 1925 года. — Она сама себя губит, становившаяся против себя весь остальной мир. А ее цивилизация играет такую же роль, как библия в руках английских миссионеров, которые являются — сознавая это или нет — агентами Банков и мощных Компаний, эксплуатирующих всю землю. Но недолго им остается ее эксплуатировать!»*

Эти строки показательны. Роллан обращал свои взоры к Индии и другим странам Востока вовсе не потому, что ударился в мистицизм экзотического образца. Он воспринимал как важную примету времени подъем национального самосознания народов Востока и сочувствовал их борьбе против колониализма.

В 1922 году Роллан опубликовал свою первую небольшую работу на темы Востока — предисловие к книге индийского писателя Ананда Кумарасвами «Танец Шивы». Роллан осуждал здесь «империализм наживы и жестокости», говорил о вековых связях европейских и азиатских национальных культур.

Еще раньше, в августе 1919 года, Роллан писал Рабиндранату Тагору: «После катастрофы, этой позорной мировой войны, которая ознаменовала банкротство Европы, стало очевидным, что Европа не может спасти себя сама. Ее мысль нуждается в мысли Азии, так же как та может с пользой опереться на мысль Европы. Это — два полушария мозга человечества. Если одно из них будет парализовано, весь организм выйдет из строя. Надо постараться восстановить их единение и здоровое развитие».

К мысли о единении, взаимодействии культур Востока и Запада Роллан возвращался много раз, в работах разных лет. Он писал в 1927 году Этьену Бюрне: «Почему, черт возьми, вы беретесь судить об Азии с налету, одним рбсчерком пера? И почему постоянно противопоставляется друг другу то, что на самом деле всегда взаимосвязано? Ветер с Востока, ветер с Запада, ведь это в конце концов (шар-то вертится!) один и тот же ветер»*.

В июле 1924 года Роллан ответил на письмо Жан-Батиста Кин Ин-ю, который собирался переводить «Жан-Кристофа» на китайский язык и обратился к автору за советами и разъяснениями:

«Для меня нет барьеров между нациями и расами. Разновидности рода человеческого для меня представляют лишь оттенки, которые дополняют друг друга; в их разнообразии — богатство всей картины. Постараемся согласовать между собой эти оттенки, не теряя ни одного из них! Подлинный поэт, который обращается ко всем людям, должен именоваться «мастером гармонии».

Пусть же мой Кристоф (который является таким ма-

стером) поможет в Китае формированию того типа нового человека, который складывается сейчас в разных концах земли! И пусть он передает вам, и вашим молодым друзьям-китайцам, мое дружеское, братское рукопожатие!»

Будет уместно, забегая несколько вперед, привести здесь и еще один, более поздний по времени документ, показывающий, как близко к сердцу принимал Роллан судьбы народов Востока и какое значение он придавал духовным, культурным контактам между странами Азии и Западной Европы. В январе 1930 года Роллан писал старому знакомому, музыковеду Луи Лалуа, побывавшему в Китае:

«...После того, как мы долго шли, каждый своей дорогой, — мы очутились близко друг от друга. Различными путями жизнь привела нас к одной и той же цели, которая не является для нас внешней и далекой, а заключена в нас самих. Мы инстинктивно, каждый по-своему, ощутили руки Азии, протянутые нам навстречу, чтобы предложить нам помощь и попросить нас о помощи. Так мы — еще в большей мере, чем специалисты-востоковеды, — стали строителями мостов между мудростью Востока и мудростью Запада.

Разрешите спросить вас, — нашли ли вы среди развалин сегодняшнего Китая реликвии того высокого гения, который восхитил вас в Китае минувших веков? Я поддерживаю связи с некоторыми молодыми китайцами и наблюдаю в них, в течение последнего года или двух, нравственную эволюцию, болезненную, но плодотворную, вызванную социальным потрясением, которое они пережили три года назад, когда Революция была варварски раздвлена и их надежды были разбиты. Юноши, которых я знаю, проявляют удивительный стоицизм, готовность к самопожертвованию, желание прийти на помощь своим несчастным товарищам, находящимся в стране, и в особенности желание принести этой горько разочарованной, смертельно подавленной молодежи — опору для того, чтобы надеяться, подняться снова, возобновить каждодневную борьбу. В мысли Запада они ищут руководства, и прежде всего — примеры. Образы наших великих людей, мужественно переносивших великие несчастья, являются для них поддержкой, которую они хотят разделить и со своими друзьями, находящимися там. Я дал им несколько советов; и я сказал им: «Разве у нас

есть пример более прекрасный, чем ваш Сун Ят-сен?» А ведь вы его когда-то знали, правда? Вы ничего о нем не писали? Не напишете ли вы о нем, кстати, для журнала «Эроп»? Я думаю, что этот журнал охотно опубликовал бы статью-воспоминания об этой личности, которая сейчас становится легендарной» *.

Журнал «Эроп» («Европа»), о котором говорится в этом письме, был основан Ролланом и Жан-Ришаром Блоком в 1923 году. Редакция находилась (и находится теперь) в Париже; Роллан, живя в Швейцарии, деятельно помогал редакции, привлекал авторов, подсказывал темы.

Журнал «Эроп» ориентировался на широкие круги интеллигенции, декларировал, по крайней мере вначале, «отсутствие политической направленности». Но направленность была с самого начала: враждебность к идеологической и политической реакции, отрицание национализма и расизма, проповедь братства народов. Журнал должен был, по замыслу Роллана, не только служить делу сближения мыслящих людей разных стран Европы, но и помогать установлению дружеских связей между странами Запада и Востока. «Большое внимание, — сообщал Роллан Тагору перед выходом нового журнала, — будет там уделяться умственной жизни Азии».

В марте — апреле 1923 года появилась в «Эроп» работа Роллана о Махатме Ганди. В конце того же года она вышла в переводах на английский язык, на языки гуджарати и хинди, а в 1924 году появилась в СССР. Позже — в 1929 и 1930 годах — были опубликованы две другие книги Роллана, посвященные мыслителям Индии, — «Жизнь Рамакришны» и «Жизнь Вивекананды». Взятые вместе, они представляют своеобразную трилогию, воссоздают этапы духовной истории индийского народа в течение ста лет — с двадцатых годов XIX до двадцатых годов XX века.

Роллан — как всегда, когда он брался за биографические труды, — проделал громадную исследовательскую работу, изучил массу специальной, малодоступной литературы. Ему в этом помогала сестра, владевшая английским языком лучше, чем он, постепенно научившаяся читать и на бенгальском. Роллан хотел дать не просто художественные очерки об индийских религиозных реформаторах и общественных деятелях, но и раскрыть перед

читателями Запада большие, почти никем не разведанные богатства философской мысли Индии, ее поэтических преданий.

Понятно, что Роллан не выступает здесь бесстрастным академическим исследователем. В религиозно-философском наследии Индии ему были дороги идеи человеческого братства, самоотречения, деятельной доброты, — идеи, уходящие корнями в седую древность и вовсе не являющиеся (вопреки тому, что думают многие на Западе) исключительной монополией христианской культуры. Увлеченный гуманистическими традициями Индии, Роллан склонен был относиться без критики и к таким чертам индийского народа, в которых сказались отсталость, пассивность, вековые суеверия и предрассудки. Скрупулезно анализируя учения индийских мыслителей, выдвигая в них на первый план идеи милосердия и уважения к человеку, Роллан мечтал о «новом синтезе», который объединит духовные традиции различных рас и наций. «Соединенные усилия Востока и Запада, — писал он в финале своего труда о Вивекананде, — создадут новый строй мысли, более свободный и более универсальный. И, как всегда бывает, в годы полноты, непосредственным результатом этого внутреннего строя будет прилив силы и отважной уверенности, пламя действия, раздуваемого и питаемого духом обновления жизни, личной и общественной...»

Если в книгах о Рамакришне и Вивекананде многие страницы, написанные с большим знанием материала и литературным мастерством, адресованы, в сущности, лишь узкому кругу интеллектуальной «элиты» (эти книги и в наши дни представляют, с точки зрения специалистов, большой познавательный интерес), то книга о Ганди, сжатая, живая, динамичная, вводит читателя в круг острых общественных конфликтов, которые взволновали весь мир вскоре после окончания первой мировой войны. Она была написана Ролланом по горячим следам событий: центральное место в ней занимают хроника и анализ народно-освободительного движения, развернувшегося в Индии под руководством Ганди в 1920—1922 годах.

С еле сдерживаемым гневом говорит Роллан о действиях английских колонизаторов:

«Толпы народа пришли на собрание в местность, называемую Джалианвалла Баг. Собрание прошло мирно,

среди его участников было много женщин и детей. Генерал Дайер накануне ночью запретил всякие митинги, но об этом еще никто не знал. Генерал явился со своими пулеметами в Джалианвалла Баг. Никакого предупреждения не было сделано. Через тридцать секунд после приближения войск по незащитной толпе был открыт огонь: обстрел продолжался десять минут, пока не вышли все патроны... Режим террора обрушился на Пенджаб. С аэропланов сбрасывали бомбы на безоружные толпы. Наиболее уважаемых граждан подвергали военному суду, били кнутом, заставляли ползти на животе, подвергали унизительнейшим оскорблениям...

Что же противопоставлял Ганди этой жестокости британских господ?

Отказ индийцев от сотрудничества с колониальными властями. Отказ от всех гражданских и военных постов в органах английской администрации. Неучастие в правительственных займах, бойкот судов, государственных школ и других учреждений. Принцип «свадеш», согласно которому индийцы потребляют только товары, произведенные в самой стране.

Ганди дал сигнал началу движения, демонстративно отослав вице-королю свои ордена и знаки отличия. «Пример Ганди немедленно нашел отклики. Многочисленные должностные лица подали в отставку. Тысячи учащихся были взяты из колледжей. Суды утратили свой престиж, школы опустели...»

Книга Роллана проникнута восхищением перед подвижнической жизнью Ганди, перед силой убежденности и воли этого человека, предпринявшего героическую попытку поднять массовое сопротивление колонизаторам без применения оружия. Книга показывает, что Ганди, выдающемуся мыслителю и лидеру, действительно удалось всколыхнуть массы, вывести их из состояния векового оцепенения и покорности. Но Роллан не умалчивает и о другом. Всякий раз, когда Ганди давал сигнал к кампании гражданского неповиновения, движение масс выходило за поставленные им рамки. В стране возникали взрывы стихийного гнева, пожары, убийства, столкновения толпы с полицией.

Идея «мирного отказа от сотрудничества», родившаяся в своеобразных индийских условиях, выросшая на основе своеобразных индийских традиций, даже и в Индии не оправдала себя до конца.

О слабых сторонах гандизма в книге Роллана говорится — пусть осторожно, приглушенно — и в другой связи. Здесь затрагиваются разногласия Ганди и Тагора, причем автор книги — скорее на стороне второго.

Рабиндранат Тагор возражал против проявлений излишнего сурового национализма. Он был встревожен, когда на площадях индийских городов запалили костры из английских тканей, — когда Ганди призвал соотечественников вернуться к прялке и домотканой одежде, — и когда излишние ревностные сторонники гандизма попытались вовсе закрыть дверь Индии перед книгами, языками, искусством Запада.

Один из близких сподвижников Ганди, Д. Б. Калелкар, автор «Евангелия Свадеш», предложил соотечественникам программу экономической и культурной изоляции страны, напоминающую, говорит Роллан, «средневековое евангелие монахов-затворников». И учитель одобрил эту программу! Рабиндранат Тагор, быть может, сумел бы договориться с Ганди, прийти к единому мнению с ним. Но как договориться с его не в меру усердными учениками? И Роллан не без горечи добавляет (вероятно, вспоминая свои недавние споры с Барбюсом и с «клартистами»): «Опасные ученики! Они играют тем более роковую роль, чем более чисты сами. Храни бог великого человека от друзей, способных уловить лишь часть его мысли!»

Последователи Ганди призывали индийскую молодежь к бойкоту западных университетов. У наиболее фанатичных среди них этот призыв принимал форму отрицания европейской цивилизации и науки. Рабиндранат Тагор был, напротив, убежден, что индийский народ должен в своем стремлении к эмансипации опираться и на то полезное, что создано мыслью других народов. Он добивался сближения культурных сил Востока и Запада и приглашал в университет, созданный им в Шантиникетоне, учащихся и ученых из различных стран. Роллану одно время очень хотелось побывать в Шантиникетоне, прочитать там курс лекций, и только плохое здоровье помешало ему осуществить это намерение.

Переписка Роллана с Ганди началась уже после выхода его книги, в 1924 году; их личная встреча состоялась в 1931 году, — об этом речь впереди. С Тагором Роллан познакомился в Париже в 1921 году, а пять лет спустя принимал его у себя в Вилльеве.

Какими-то существенными сторонами своей личности Тагор — поэт, человек искусства — был ближе Роллану, чем Ганди. Но Ганди, как моралист и мыслитель, имел для Роллана колоссальную притягательную силу. Пусть Роллан и показал логикой своего анализа, что предложенные Ганди формы ненасильственных массовых действий вряд ли могут быть спасительной панацеей даже для Индии и тем более вряд ли могут претендовать на универсальное значение, но его покорило нравственное величие индийского лидера, и он задавался вопросом: нельзя ли как-то объединить, сочетать опыт Ганди с «социальным действием Европы»? Роллан говорит в «Панораме», вспоминая о своих исканиях двадцатых годов: «Я ставил перед собой парадоксальную задачу: объединить огонь и воду, примирить мысль Индии и мысль Москвы». (От этого замысла он не вполне отказался и тогда, когда писал «Панораму».)

Сопоставляя обоих прославленных сынов Индии, Роллан не раз задумывался и над тем, как неодинаково сложились их судьбы. Рабиндранат Тагор, всемирно почитаемый и признанный, мог совершать триумфальные путешествия по разным странам в то время, как Ганди подвергался репрессиям, объявлял голодовки, терпел лишения, не отделяя себя от своего угнетенного и тяжко бедствующего народа.

«В пантеоне великих душ есть место для Тагора и для Ганди, — писал Роллан в 1925 году индийскому ученому и литератору Калидасу Нагу. — Каждый из них спасает существенную часть нашего общего человеческого достояния».

Проблемы жизни и культуры Индии, ее исторический опыт, значение этого опыта для других стран мира — все это продолжало живо занимать Роллана на протяжении двадцатых годов. Но его интересы не замыкались в пределы Индии. Среди его корреспондентов и гостей бывали представители японской, китайской интеллигенции. В круг его друзей постепенно вошли ученые и общественные деятели Мексики, Аргентины, Перу.

«Первое слово моей программы... интернационализм». Так думал и писал Роллан еще во время первой мировой войны. Националистическая исключительность и узость были ему отвратительны, откуда бы они ни исходили.

Он не хотел мириться с подобными настроениями и

тогда, когда сталкивался с ними у представителей восточных народов, поработанных империализмом. Он писал Калидасу Нагу 30 сентября 1926 года:

«Сознаюсь, я огорчен, оттого что вижу, какую дурацкую, ребячливую националистическую спесь проявляют теперь молодые индийцы в Европе. Еще ничему не научившись в Европе, они стараются продемонстрировать свое презрение к ней. Быть может, их ослепяли наши собственные слова, — мои слова. Они недооценивают духовную и моральную силу Европы. Они возомнили себя высшей расой, которая должна вернуть себе господство... Не для того же мы, в самом деле, положили всю жизнь на борьбу с националистами нашей Европы, с молодыми петухами из «Аксон франсез», чтобы найти у тех, кого мы хотим защищать, у великих угнетенных народов, те же самые уродства духа! Впрочем — это еще одно доказательство единства человеческого рода...» *

Несравненно более острый гнев и тревогу вызывало у Романа Роллана зарождение реакционных диктаторских режимов в самой Европе. Его волновали судьбы Венгрии, придавленной сапогом Хорти, возмущал белый террор в Балканских странах.

Особенно болезненно поразило его, насколько быстро поддалась фашизму горячо любимая им Италия.

Он писал Софии Бертолини 27 июля 1922 года — за три месяца до официального прихода Муссолини к власти:

«Что до меня, давно уже я не был в Италии, и хотел бы увидеть ее снова: но гнусные бесчинства фашистов, которые непрерывно будоражат эту дорогую мне страну, удручают и отталкивают меня. — Не исключено, что подобные же движения возникнут, немного позже, и во Франции. — Все народы сегодня друг друга стоят. Немного стоят. — Остается убежище внутренней жизни. Там для нас — Бог».

31 декабря он писал ей же:

«Как вы и думали, я не питаю ни малейшей симпатии к Муссолини и фашизму. Даже если оставить в стороне мои личные чувства, — боюсь, что Италии суждены большие страдания. Всегда очень опасный симптом, если нация отдает себя в руки одного человека, пусть даже и умного».

Гораздо большей определенностью тона отличается

письмо, адресованное Альфонсу де Шатобриану 15 августа этого же года:

«Фашизм уже царствует в Италии. Национализм для него — лишь маска. Он — орудие промышленной и финансовой олигархии, которая берет пример с американских магнатов, с их частных армий, с их прессы и правосудия, сведенных на нет. Уэллс хорошо предсказал эту диктатуру плутократии в романе «Когда спящий проснется». Мы, наверное, еще увидим, как она попытается воцариться и во Франции. Нашим детям некогда будет скучать. Им придется бороться»*.

Когда Роллан писал эти строки, он никак не мог предположить, что его друг «Шато» в конце тридцатых годов поддастся заразе фашизма и будет в годы второй мировой войны сотрудничать с оккупантами, врагами Франции. Не мог предвидеть он и того, что через одиннадцать лет фашизм невозбранно восторжествует на родине Бетховена и Жан-Кристофа. Но он чувствовал в фашизме, этой новой страшной форме «диктатуры плутократии», громадное зло, международное по своим масштабам. Минорно-пассивные ноты в письме к Софии явно были данью преходящим тяжелым настроениям; нет, Роллан не собирался прятаться в «убежище внутренней жизни», он понимал, что с фашизмом необходимо вести беспощадную борьбу.

Борьбу, но — в каких формах?

В середине двадцатых годов Роллан несколько раз выступил в защиту политических заключенных, жертв реакционного террора в Италии, Испании, Польше, Румынии, Болгарии. В те годы в Европе деятельно работала организация МОПР — Международное общество помощи борцам революции. Роллан участвовал в коллективных воззваниях и протестах МОПРа.

Роллан пережил как лично горе убийство в 1924 году итальянского социалиста Джакомо Матеотти. Еще более острое горе причинила ему гибель лидера антифашистской оппозиции в итальянском парламенте Джованни Амендолы, который был избит чернорубашечниками и умер после продолжительных мучений. Роллан написал 22 мая 1926 года взволнованное письмо сыну убитого, Джорджо Амендоле (в эту пору это был юноша, ныне — видный коммунистический деятель):

«Излишне говорить вам о нашем негодовании по по-

воду ужасного и позорного преступления, священной жертвой которого пал ваш отец. Ничто не сотрет клейма со лба убийцы. Оно выжжено на нем каленым железом. Но мне хочется прежде всего сказать вам, какой отзвук нашла долгие страдания великого мученика, молчаливого и стойкого, в сердцах свободных людей Франции».

Роллан вспоминал в этом письме о былых встречах с Амендолой, одним из участников журнала демократической интеллигенции, «Воче», к которому был когда-то близок и он сам:

«Что случилось с большинством этих свободных и гордых молодых людей, что случилось с надеждами, которые они возбудили? Кто из них остался верен общим идеалам того времени — кроме Амендолы? Кто из них остался верен своему старому товарищу Амендоле?»

Понятен акцент личной скорби в этих строках. Роллан горевал не только о смерти отважного антифашиста, но и о том, что его бывшие соратники изменили идеалам своей молодости.

В 1908—1910 годах Роллан часто переписывался и поддерживал дружеские отношения с литераторами, выпускавшими журнал «Воче», — Джузеппе Преццолини, Джованни Папини и другими. Преццолини писал в «Воче» от 18 марта 1909 года: «Жан-Кристоф, по сути дела, наш старший брат. Его борьба — это и наша». «Воччанцы» называли себя воинствующими идеалистами, выступали за культурное и нравственное обновление Италии. Роллан доброжелательно упомянул об этой группе итальянской молодежи в последней книге «Жан-Кристофа», отметил свойственный ей «высокий идеал и чистые стремления к истине».

В дальнейшем пути «воччанцев» разошлись, и дружба Роллана с ними прекратилась. Папини уже во время войны выступал как националист, а затем стал одним из литературных подпевал фашизма. Джузеппе Преццолини, бывший главный редактор «Воче», экзальтированный путаник, не присоединился к фашизму прямо. В 1922 году он написал «Очерк о мистической свободе», в котором «воспевал динамит интеллекта, анархизм мысли, освобождение духа, тайники души, — и все это во имя полнокровной жизни искусства». Но в том же году — накануне фашистского «похода на Рим» — он заявил в печати: «Фашизм существует и побеждает; для нас,

историков, это означает лишь, что он имеет для этого достаточно оснований»¹.

Так «младшие братья» Жан-Кристофа капитулировали перед торжествующей фашистской подлостью. И не они одни! Роллан читал итальянскую прессу. Ему было известно много фактов трусливого приспособления интеллигенции к власти убийц.

Но в одной ли трусости дело? Фашизм действует не только насильем, но и обманом. Одних он убивает, других запугивает. А третьих сбивает с толку или пытается сбить. Он прибегает к самой беззастенчивой лжи, чтобы завербовать себе сторонников среди крупных деятелей культуры — и у себя дома и за границей. Роллан имел случай убедиться в этом на одном чрезвычайно ярком примере.

Летом 1926 года Рабиндранат Тагор приехал в Вильнёв — сразу же после своего путешествия в Италию. Муссолини пустил в ход самые хитроумные средства, чтобы использовать в интересах своей пропаганды индийскую знаменитость. К Тагору во время его пребывания в Италии были приставлены ученые-индологи, которые рисовали ему фашистский режим в радужных красках. Ему был вручен роскошный подарок для университета в Шантиникетоне — коллекция ценных книг. Муссолини пригласил Тагора для беседы и прикинулся гуманным политиком. От старого писателя настойчиво добивались деклараций в поддержку фашизма; его доброжелательные высказывания о стране, оказавшей ему гостеприимство, появились в итальянских газетах в таком фальсифицированном виде, с такими прибавлениями, что дуче мог быть доволен.

Роллан узнал обо всем этом — и был глубоко взволнован. Он писал 8 июля 1926 года Жан-Ришару Блоку:

«Вся эта поездка в Италию — это была западня, которую расставил перед ничего не подозревающим идеалистом коварный Муссолини, при общении с видными итальянскими интеллигентами — старыми мерзавцами, лакеями своего хозяина. Как мог Тагор не поверить таким крупным востоковедам, которых он принимал в Шантиникетоне и которых считал друзьями? Он еще при отъезде из Индии на итальянском пароходе был разлучен со сво-

ими индийскими спутниками и, лишь ступив на землю Италии, узнал, что является официальным гостем Муссолини — за день до того, как должен был встретиться с самим Муссолини в Риме. В течение трех недель, проведенных им в Италии, ему не дали услышать ни одного независимого голоса. Его опекуны следили, чтобы он не увиделся даже со своими старыми друзьями, итальянцами, которые придерживаются оппозиционных к фашизму взглядов.

Все это со временем прояснится. И Тагор заговорит. Прежде всего необходимо, чтобы он мог встретиться в Европе с некоторыми из выдающихся итальянских эмигрантов...»

Роллан положил много энергии на то, чтобы открыть глаза индийскому мудрецу. Он познакомил его с фактами и документами о фашистском терроре, связал его с представителями передовой итальянской интеллигенции. Потрясенный Тагор понял, что был обманут. Он заявил это в нескольких письмах, выдержки из которых появились в «Эроп» и «Юманите».

После отъезда гостя на родину Роллан продолжал свою разъяснительную работу. Он хотел, чтобы Тагор знал о фашизме всю правду, до конца, и чтобы он твердо усвоил эту правду. Роллан писал Тагору 11 ноября 1926 года:

«Не знаю, читали ли вы в газетах, какие ужасные сцены разыгрались в Италии в течение последних двух недель, после покушения и зверского убийства пятнадцатилетнего мальчика в Болонье? Почти по всей Италии прошли ужасающие насилия, грабежи и разрушения. Ранено от пяти до шести тысяч ни в чем не повинных людей. Сегодня утром я узнал, что был налет на дом Бенедетто Кроче в Неаполе, а также на дом известного драматурга Роберто Бракко. Талантливый рисовальщик Скаларини, мой знакомый — находится при смерти.

Дело полковника Ричотти Гарибальди, который арестован во Франции как фашистский агент-provокатор, устраивавший мнимые заговоры против Муссолини, получивший деньги от полицейского ведомства Муссолини, — чтобы выдавать ему антифашистов, эмигрировавших во Францию и скомпрометировать французское гостеприимство в глазах всего мира, — бросает мрачный свет на всю эту политику лицемерия и преступлений.

¹ См.: Ц. К и н, Миф, реальность, литература. Итальянские заметки. М., 1968, стр. 83.

Я не раз упрекал себя, что нарушил ваш покой, рассеяв доверие, которое вы питали к итальянцам, принявшим вас у себя в гостях. Но я заботился о вашей доброй славе, — она мне дороже, чем ваш покой. Я не хотел, чтобы извергам удалось опорочить ваше святое имя перед лицом истории. Простите, если мое вмешательство доставило вам тревожные часы. Будущее покажет (и настоящее уже показывает), что я действовал, как верный и бдительный страж».

Само собой разумеется, что Роллан не ограничивался личными посланиями. Он опубликовал несколько статей против диктатуры Муссолини, кратких и энергичных. В одной из них говорилось:

«Любой строй, подобный итальянскому фашизму, унижен для человеческой совести. Власть фашистов зиждется на презрении к священнейшим свободам, на систематическом навязывании лжи и страха...»

Но вместе с тем он отдавал себе отчет, что борьба против фашизма дело нелегкое, длительное, требующее совместных усилий многих и многих людей. Нельзя довольствоваться гневными декларациями, — нужно постоянно и вдумчиво оказывать отпор фашистской лжи. Если даже человек такого светлого, глубокого ума, как Рабиндранат Тагор, попал на время в сети этой лжи, — сколько же имеется еще обманутых среди людей менее просвещенных в Италии и во всем мире?

Через несколько месяцев после отъезда Тагора, 30 ноября 1926 года, Роллан писал Анри Барбюсу:

«Нужно разграничить две вещи: *идею* фашизма и *тех людей* или те государства, которые воплощают ее в настоящее время в Европе. Формы деятельности, направленной против того и другого, должны быть различны. Политическая борьба против людей. Идеинная борьба против идеи. Я принимаю участие во второй. Я не вмешиваюсь в политику, — разве только в *той мере, в какой надо прийти на помощь угнетенным*. Фашистская идея оказывает в мире опасное притягательное воздействие... Не надо скрывать от себя подлинное лицо врага. Если отвлечься от чудовищных личностей, которые воплощают фашистскую идею, и от тех эксцессов, которые они развязывают, — эта идея находит для себя благоприятную почву в известного рода иллюзиях. С ней нельзя справиться путем голого отрицания или путем чисто политических действий. Надо вступать в спор с ее носи-

телями, разнимать на части ее механизм, показывать ее пороки»*.

Кому же надлежит вести эту работу?

В письме Роллана к Барбюсу предлагалось своего рода разделение труда. Пусть политики занимаются политикой. Роллан, как человек искусства, считал своей задачей скорей борьбу идеологическую. Ему даже казалось, что именно люди, не участвующие в политике, лучше могут справиться с кропотливой разъяснительной работой: коммунисты, считал он, вряд ли для этого годятся, ибо «крайность рождает крайности», а тут нужен величайший такт, искусство терпеливого убеждения.

Опыт истории показал, насколько глубоко был прав Роллан, когда говорил о необходимости настойчивой идеологической борьбы против фашизма. Но опыт истории показал — в конечном счете и самому Роллану, — насколько неразрывно связаны между собой различные аспекты антифашистской деятельности, политика и идеология.

Вместе с Барбюсом Роллан учредил и возглавил Международный антифашистский комитет. А 23 февраля 1927 года в Париже состоялся первый массовый антифашистский митинг — под почетным председательством Альберта Эйнштейна, Романа Роллана и Анри Барбюса.

Вскоре после этого Гаэтано Сальвемини — известный итальянский историк, находившийся в то время в эмиграции, — предложил Роллану войти в центральный комитет «Международной демократической лиги за восстановление итальянских свобод». Роллан написал ему, мотивируя свой отказ:

«Не могу одобрить, что вы первым делом высказали свое враждебное отношение к коммунизму. Я не коммунист и никогда им не буду. Я исповедую религию индивидуализма совести, со всеми вытекающими отсюда обязательствами. Но я чувствую в коммунизме новую, глубокую и народную силу, которая является или может стать одним из наиболее мощных войск для атаки на фашизм; и я бесконечно сожалею, что итальянские либералы отказываются от такого оплота. Имя такого отважного и убежденного человека, как Анри Барбюс, должно было бы найти себе место в Комитете интеллигенции, действующей против фашизма».

Сотрудничество с коммунистами становилось велением времени. Роллан все более твердо убеждался в этом.

Жизнь на вилле «Ольга» текла размеренно. Мадлена Роллан установила строгий распорядок дня. Завтрак, работа, обед, послеобеденный отдых, чай, снова работа... Были свои часы и для прогулок и для встреч с разнообразными, многочисленными гостями. Роллан любил их принимать, и они являлись почти каждый день — знакомые и незнакомые, французы и швейцарцы, и приезжие из других стран, ближних и дальних. Обилие гостей, обширная почта — все это поддерживало у Роллана ощущение непрерывного контакта с читателями, друзьями, единомышленниками в разных концах земного шара («Моя духовная семья — люди всего мира», — писал он Софии Бертолини 9 февраля 1924 года). Для каждого из посетителей день и час прихода назначался заранее, с тем чтобы расписание работы и отдыха писателя не было нарушено: за этим бдительно следила его сестра.

Целительный воздух Альп, четко налаженный режим дня — все это шло Роллану на пользу. Возможно, что именно это сохранило ему жизнь и позволило остаться трудоспособным до глубокой старости. Его здоровье и после переезда в Швейцарию оставалось до крайности хрупким и неустойчивым. Было необходимо время от времени показываться врачам, соблюдать их предписания. Но он мог работать — это было главным. А временами он чувствовал себя достаточно бодрым и для того, чтобы позволить себе поездку за границу. Если не в Шантиникетон и не в Москву, то в более близкие к Швейцарии места.

В апреле 1923 года Роллан с сестрой поехал в Лондон на собрание ПЕН-клуба, встретился там с Бернардом Шоу и Томасом Гарди. В августе того же года он отправился в Австрию, гостил у Стефана Цвейга, побывал на музыкальном фестивале в Зальцбурге. В июне 1925 года он вместе с Мадленой провел четыре недели в Германии: слушал оперы и оратории Генделя на празднествах, посвященных его памяти в Лейпциге, слушал кантаты Баха и симфонии Бетховена на Рейнском фестивале музыки в Кельне, потом заехал на несколько дней в Веймар, «город великих теней» Шиллера и Гёте. Новой встречей с немецкой музыкальной культурой была поездка в Вену в 1927 году. Там отмечалось столетие со дня смерти Бетховена. Эта юбилейная дата стала для

Роллана поводом к тому, чтобы возобновить работу над объемистым исследованием «Бетховен. Великие творческие эпохи», которым он занимался много лет; он закончил его лишь незадолго до смерти.

Среди зарубежных путешествий, которые совершил Роллан в двадцатые годы, наиболее интересной, богатой впечатлениями была поездка в Прагу в июне 1924 года.

Президент Чехословакии Т. Масарик, давний почитатель Роллана, побывал у него в Вильневе в 1923 году, а затем пригласил в Прагу на Международный музыкальный фестиваль.

Впервые Роллан попал в славянскую страну — страну, языка которой вовсе не знал.

Он поселился в гостинице «Сплендид» на тихой Овенецкой улице, вдали от центра города, в районе садов и парков. Кругом цвели сирень и акация, старинные дворцы и особняки, окруженные свежей зеленью, выглядели в это время года особенно привлекательно. Гостеприимные пражане с удовольствием показывали французскому писателю достопримечательности своей столицы, готическое величие собора Св. Витта, Пороховую башню, памятник Гусу, древние куранты на башне городской ратуши.

Роллана пленила красота Праги и радушие чехов. Он был тронут тем, что в числе незнакомых людей, которые его приветствовали, подходили на улице, просили автограф, оказывались не только представители интеллигенции, но и рядовые служащие, официанты, шоферы, лица самых разнообразных профессий. В его дневнике сохранились добродушно-заинтересованные записи о бытовом укладе Праги, об особенностях характера чехов и даже о внешнем облике молодых пражанок.

С литературой Чехословакии, включая и творчество пражско-немецких писателей, Роллан был почти что вовсе не знаком. Он не знал ни Ярослава Гашека, умершего за год до того, ни Франца Кафку, доживавшего последние дни. В Праге Роллан познакомился с Карелом Чапеком, смотрел его пьесу «Р.У.Р.», которую ему объяснял и переводил сам автор. В роллановском дневнике есть запись о Чапеке: «Он молод — 33 или 35 лет, — лицо худощавое, гладко выбритое. Один из немногих в Праге людей, которые хорошо говорят по-французски. Умен, остроумен, немного парадоксален, проникнут про-

вией, не лишен снобизма, но в глубине души искренен и способен чувствовать трагическое».

Политическим и культурным деятелям, окружавшим французского гостя в Праге, очень хотелось, чтобы он хорошо познакомился с чешской музыкой, полюбил ее, быть может — написал о ней. Роллан понимал, какое важное место заняло это искусство в истории народа, который упрямо берег свою самобытность в течение трех веков подневольного существования в империи Габсбургов. Он записал в дневник слова, услышанные от Масарика, — в Чехословакии музыка «сыграла громадную роль в пробуждении национального чувства». Вместе с тем Роллан отнесся довольно сдержанно к классическим произведениям Сметаны, Дворжака, — возможно, отчасти именно потому, что от него ждали восторженных отзывов, а он никогда не любил восторгаться по подсказке. Из чешских музыкантов он наиболее высоко оценил современного композитора Леоша Яначека, побывал на представлении оперы Яначека «Катя Кабанова» (по мотивам «Грозы» Островского) и называл его потом в письмах «чешским Мусоргским», «великим драматическим музыкантом».

Роллан был приглашен в дом президента, вел с ним долгие беседы, встретился с его семьей. Он относился к Масарику с уважением, но при более близком знакомстве подметил в нем некую «гуситскую» узость, ограниченность мысли. В роллановском дневнике есть шутовская запись о том, что в доме президента, как ни странно, за званым обедом пьют только воду. Роллан привез с собой для подарка Масарику красивое иллюстрированное издание «Кола Брюньона», но увез его обратно, так как усомнился, уместно ли дарить этому строгому пуританику такую легкомысленную книгу!

Пражские впечатления Роллана отражены в его письме Шарлю Вильдраку от 14 июня 1924 года:

«Прага действительно чудесный город... Я, как и вы, восхищался жизненной энергией нации и ее веселым видом.

Но Прага уже не такая, какой ее видели вы с Дюамелем. Она изменилась. Ваши надежды не оправдались. Она переживает тот же моральный кризис, от которого страдают и наши европейские страны. После подъема первых послевоенных лет начался откат назад. Я слышал очень горькие жалобы от независимых, передовых интел-

лигентов и художников, — от д-ра Гилара, от профессоров Тилле, Фишера, Шальды. Здесь, как и всюду, деньги, накопленные хищными приобретателями, стали орудием реакции и деморализации. Молодые люди не находят достаточного применения своим умственным силам — не хватает мест в университетах, библиотеках и т. д. За неимением возможности избрать свободную профессию они ищут кормушку, прибыльное ремесло, а в области искусства угождают вкусам господствующего класса. Реакционная буржуазия навязывает свои вкусы. Кризис интеллектуальной жизни. Кризис особенно в области театра. Я присутствовал при том, как публика освистала премьеру «Ромео и Джульетты», великолепно поставленную Гиларом (самый опьяняющий шекспировский спектакль, какой я видел за всю мою жизнь)... Вообще говоря, прошлое давит на самых мыслящих людей из чехословацкой буржуазии и артистического мира: воспоминания родины, исторический роман, историческая живопись, скульптура, поблекшие прославленные имена прошлого...»*.

Тут нужна оговорка. Общая картина культурной жизни Чехословакии двадцатых годов вряд ли была столь безотрадной, как это представилось Роллану, — его знакомство с этой жизнью осталось беглым и неполным: в литературе страны, особенно в поэзии, были интересные явления, о которых он вовсе ничего не узнал.

Однако в приведенных критических размышлениях Роллана (которые он, не желая обидеть гостеприимных чехов, не стал публиковать и хранил про себя) была немалая доля истины. Чехословакия считалась в ту пору одной из наиболее либеральных, процветающих буржуазных демократий Европы, но Роллан сумел разглядеть изнанку видимого процветания. Оказывается, и здесь, в этом молодом государстве, есть своя «ярмарка на площади», которая оказывает гнетущее влияние на духовную жизнь! Это подкрепляло давно уже сложившийся у Роллана вывод о банкротстве буржуазного мира, о его бесперспективности.

Вместе с тем Роллан почувствовал определенную душевную привязанность к народу Чехословакии, стал ближе принимать к сердцу судьбы страны, где он побывал. Образ Праги не раз вставал потом в его памяти, особенно в трагические дни Мюнхена.

Возвращаясь из путешествий к себе в Вильнев, Рол-

лан сразу же снова брался за творческую работу. При этом он одновременно работал над разными темами, в различных жанрах. Пока он писал одну книгу, в уме вызревала другая.

Еще до переезда в Швейцарию он начал писать большой роман «Очарованная душа». Первые два тома этого романа («Аннета и Сильвия», «Лето») появились в 1922 и 1924 годах, привлекли к себе внимание читателей во Франции и других странах. Но этот труд был еще далек от завершения — Роллан занимался им, с перерывами, по 1933 год. Вернемся к нему позже.

Закончив в 1923 году книгу о Махатме Ганди, Роллан взялся за автобиографический очерк «Внутреннее путешествие», — он чувствовал потребность осмыслить — и объяснить другим — пройденный им путь. Но эта работа осталась незаконченной и была отложена, — Роллан снова обратился к ней годы спустя, во время второй мировой войны.

Его сильно тянуло к драме. Размышления над острыми вопросами современности возвращали его, снова и снова, к плану прерванного цикла пьес о Французской революции. В 1924—1927 годах он написал три пьесы из этого цикла: «Игра любви и смерти», «Вербное воскресенье», «Леониды».

Но стоит сказать прежде всего о еще одном произведении Роллана-драматурга, которое не получило широкой известности и стоит как бы в стороне от всего написанного им, но по-своему отразило существенные стороны его сложной умственной жизни. Это киносценарий «Бунт машин», над которым Роллан работал — в сотрудничестве с Франсом Мазерелем — еще до переезда в Вильнев, в 1921 году.

В послесловии к «Лилюли» Роллан вспоминает, что на исходе военных лет его мысль порой останавливалась «на кинематографическом спектакле, рассчитанном на широкие движения толпы, процессии, битвы». «Бунт машин», вслед за «Лилюли», был попыткой создать именно такое зрелище, на этот раз не для сцены, а для немого кино (речи действующих лиц, заключенные автором в рамку, должны были появляться на экране в качестве титров).

В невероятных событиях, составляющих сюжет сценария и представленных в гротескных рисунках Мазереля, отражены коренные противоречия буржуазного строя.

Этот строй создал высокую технику, но люди не стали счастливее и свободнее. Напротив, человек превратился в придаток к машине, он порабощен ею, зависит от нее. Заостряя свою мысль до фантастической гиперболы, Роллан изображает восстание машин, вышедших из повиновения. Толпы механизированных чудовищ проламывают стены гигантского индустриального зала, вырываются на волю, выходят на улицы, уничтожая и круша все вокруг. Небоскребы разваливаются, точно карточные домики. Люди прячутся в пещеры, возвращаются к первобытным условиям жизни.

Один из главных персонажей сценария — Президент. В его лице сатирически изображен беспринципный красноречивый политик. Президент с удовольствием произносит речи, тексты которых заготовлены для него подчиненными. В начале действия он выступает на официальном празднестве и высокопарно восхваляет машинную цивилизацию. «Так приветствуйте же, Господа, нашу воплощенную мечту: Человека — короля Машин! Сегодняшнее празднество посвящено этой победе, величайшим достижениям Прогресса и Человеческого Гения». В последней части сценария тот же Президент, уцелевший после всех передраг, с такой же высокопарностью восхваляет жизнь на лоне природы — без техники, без машин: «Так приветствуйте же, Господа, нашу воплощенную мечту!.. Пусть это будет залогом величественного будущего, когда Человек уподобится блаженным тварям, пакующимся без размышлений о сладостной жизни! Вот — величайшее достижение Прогресса и Человеческого Гения».

Сельская идиллия, завершающая действие, преисполнена иронии. Согласно авторской ремарке она должна развертываться в духе обоих «Орфеев» (оперы Глюка и оперетты Оффенбаха), но с «наимодернейшей» музыкой. Труженики, уцелевшие от катастрофы, возделывают поля и предаются деревенским увеселениям, — а у власти все тот же лицемер-политик! Да, людям удалось спастись от разрушительной силы машин, потому что Молоток Пилон — изобретатель, владеющий техникой, — сумел укротить восставшие чудовища, натравить их друг на друга, обезвредить их. В конечном счете человек оказался сильнее и хитрее машин. Но смогут ли, захотят ли спасшиеся люди вечно жить среди полей и пасти скот? В финале Молоток Пилон хмурится, «как Мыслитель

Родена», и лихорадочно чертит фигуры и формулы на окружающих камнях. Скоро возникнут новые механизмы — более мощные, чем прежние. И не последует ли за этим снова бунт машин и крушение цивилизации? Роллан оставляет вопрос открытым. Он не пытается пророчить о будущем, — ему важнее разбудить критическую мысль зрителя.

Легко понять, что Роллана, когда он был в Праге, заинтересовала драма К. Чапека «Р.У.Р.». Сценарий «Бунт машин» намечает, пусть в очень приблизительной и схематичной форме, социально-философские проблемы, аналогичные тем, которые были поставлены в оригинальной и острой пьесе чешского драматурга. Человек и машина, человек и техника — над этими вопросами размышляли в то время многие.

Фильм по сценарию Роллана не был осуществлен, да и сам автор не очень заботился об этом. Сценарий появился (в сокращенном варианте) в Швейцарии и США, а Роллан очень скоро охладел к этому произведению.

В 1931 году он писал Маверелю: «Нет, я не изменил своего решения относительно «Бунта машин». Я не хочу, чтобы он был напечатан теперь во Франции. В литературном отношении он меня не удовлетворяет. И современная эпоха слишком сурова, чтобы я стал публиковать сегодня этот пустячок»*.

Несравненно более серьезное значение придавал Роллан своим новым драмам из цикла, посвященного Французской революции.

В послевоенные годы до Роллана не раз доходили вести об успехе его историко-революционных пьес в различных странах. «Дантон» ставился в разных городах Советской России. В Берлине эту пьесу поставил знаменитый режиссер Макс Рейнгардт сразу же после ноябрьской революции 1918 года, и спектакль был горячо принят публикой. «Волки» шли на сцене и в Праге и в Токио. Словом, у Роллана было много поводов думать, что его драмы о Французской революции пужны, интересны сегодняшнему зрителю. Нужны, конечно, не только потому, что воскрешают на сцене прошлое, но и потому, что наталкивают на размышления об острых проблемах сегодняшнего дня.

Работа Роллана над драмами о революции теперь, в двадцатых годах, так же как и в начале века, была теснейшим образом связана с его идейными исканиями.

Сама действительность укрепляла в нем убеждение, что социалистическая революция стала в XX веке объективной необходимостью. Революционные перевороты — сколь бы они ни были тяжелы и кровопролитны — в конечном счете помогают человечеству двигаться вперед, — так полагал Роллан, еще когда писал «Четырнадцатое июля», он был еще прочнее убежден в этом теперь.

Но вместе с тем в его сознании продолжали жить давно укоренившиеся наивные идеалистические представления о роковых «стихийных Силах», которые управляют людьми на больших поворотах истории. Вряд ли Роллан когда-нибудь серьезно сомневался в том, что победившая революция имеет право на самозащиту и должна оказывать отпор своим врагам. Однако его глубоко волновал вопрос о несправедливостях, злоупотреблениях, являющихся спутниками массового террора. Отчасти именно отсюда идет двойственность в трактовке Французской революции на страницах некоторых его пьес.

Эта двойственность очень заметна в драме «Игра любви и смерти». На первом плане здесь оказывается не столько величие революции, сколько ее беспощадность.

«Игра любви и смерти» — самая камерная из роллановских пьес о революции. В ней нет народной героики, нет, по сути дела, и народа. В центре действия — личная трагедия якобинского деятеля, заслуженного ученого Жерома де Курвуазье. Он глубоко предан революции, верит в справедливость ее дела, но осуждает крайние проявления террора и на этом основании становится в оппозицию к Робеспьеру.

И Жером де Курвуазье и его жена Софи обрисованы как люди высокого нравственного склада. По ходу действия Курвуазье оказывается морально несравненно выше, чем жирондист Валле, который оспаривает у него любовь Софи. Валле спасается от преследующих его якобинских властей и хочет увлечь Софи с собой за границу. Молодая женщина остается с мужем — и не только из побуждений верности и долга. Ее тянет к Валле, но она видит, что под романтическим обликом беглеца и влюбленного таится эгоист, равнодушный к судьбам Франции. Образы жирондистов появлялись у Роллана, как мы помним, еще в ранней пьесе «Торжество разума». В «Игре любви и смерти», по сравнению с этой давней пьесой, критика жирондистов дана острее.

Однако главный конфликт пьесы не соперничество Курвуазье и Валле из-за любви Софи и не идейный их спор, а тот, другой, более сложный и серьезный спор, который ведет Курвуазье с якобинским руководством — своими вчерашними единомышленниками.

Коллеблющемуся, запутавшемуся Курвуазье, который и привержен к революции и, по сути дела, отворачивается от нее, противопоставлен подлинно идейный якобинец (реальное историческое лицо) Лазар Карно: он стремится вернуть Курвуазье на революционный путь, и в его словах есть своя правда.

Диалог-дискуссия Курвуазье и Карно — главная, узловая сцена пьесы. Карно честен и откровенен. Он признается: «Мне отвратительны насилия, под которыми они заставляют меня подписываться каждый день. Но я не считаю себя вправе отказываться от этого и бежать от поступков потому, что они пачкают мне руки. Я смотрю лишь на цель завязавшейся битвы». Но тут же Карно произносит и весьма неприятно звучащую фразу: «Прогресс человечества стоит нескольких пакостей, а если нужно — и преступлений». Рассуждения в таком роде Роллан мог слышать от Марселя Мартини и других ультраревольюционных «клартистов». Но в драме о Французской революции эти слова воспринимаются как модернизация прошлого.

Через пятнадцать лет после того, как была написана «Игра любви и смерти», в 1939 году, Роллан вернулся к этой пьесе, переработал центральную сцену диалога-дискуссии. Аргументация Карно в этом варианте усилена, в его уста вложены слова: «Твоя роль моральной оппозиции, отрицающей действие, — выигрышная роль, ее легко играть. Ты ничем не рискуешь, кроме своей жизни. Жизнь!.. Но мы, члены Конвента, мы не имеем ни времени, ни права думать о жизни! Мы обязаны спасать день за днем, час за часом нашу Революцию — народ, который ее произвел, Францию, на которую накинута все кровавые своры мировой реакции...» Однако образ Карно и после авторской доработки остался рассудочным, недостаточно живым.

Спор Курвуазье и Карно — это был отчасти и спор Роллана с самим собой. Разумом он понимал справедливость доводов Карно. Но его сердце, все его симпатии были на стороне трагически одинокого Курвуазье. Вместе с тем слабость позиции этого гуманного и нерешительного

человека очевидна, — это вытекает из самой логики действия. В финале Курвуазье вместе с Софи готовится достойно принять смерть. Иного пути, иного выхода у них нет.

Пьеса «Игра любви и смерти» была почти сразу же после выхода показана на сцене в Гамбурге, Мюнхене, Цюрихе, Базеле, Праге, а затем и в ряде других городов Западной Европы. В 1928 году она была поставлена в парижском театре «Одеон» — это был первый роллановский спектакль во Франции, после перерыва почти в четверть века. Причины этого сценического успеха понятны. Здесь есть острая интрига, основанная на традиционных мотивах любви, верности, супружеского долга, бегства, преследования — все это могло заинтересовать зрителей, как бы они ни относились к политической проблематике пьесы. Вместе с тем надо сказать прямо: неясность авторской точки зрения делала драму приемлемой и для буржуазных по духу театров.

Две следующие драмы, написанные Ролланом в 1926 и 1927 годах, должны были, по его замыслу, служить обрамлением всему циклу. Это пьеса-пролог «Вербное воскресенье» и пьеса-эпизод «Леониды». Действие первой из них происходит в 1774, а действие второй в 1797 году. Обе эти вещи мало сценичны и предназначены скорее для чтения.

Перед Ролланом постепенно все более отчетливо вырисовывались те классовые силы, которые столкнулись во Франции в ходе революционных событий. В новых пьесах — по сравнению с ранними — углубляется социальный анализ.

Действие «Вербного воскресенья» разворачивается в замке принца де Куртене. Широкой картины общества как будто бы и нет, но читателю постепенно становится ясно, насколько это общество расшатано в самых своих основах. Все неустойчиво, все недовольны, все ждут перемен. Произволом короля возмущены даже вельможи-феодалы. Даже и они не могут жить по-старому. В замке Куртене царствует бездумная веселость — и вместе с тем неуловимо нарастает предчувствие грозных событий.

По старинным залам родового замка бродят нотариус Поплен, оценщик Тьерри: они знают, что имение обременено долгами, они готовы, как только будет возможность, прибрать к рукам и полотна итальянских мастеров, и зо-

лотые безделушки, и античную бронзу. Делец Попплен втихомолку презирает вельможных бездельников и крепко верит в будущее своего класса. В беседе с племянником, адвокатом Матье Реньо, он предсказывает приход нового хозяина — Капитала. «У нас нет ни титулов, ни влиятельных имен. Но землей владеть будем мы, земля — наша. И кровь земли: деньги... Деньги. Сними, мой мальчик, шляпу! Это — грядущий король».

Попплен — один из тех, кто обогатится плодами революции. Матье Реньо — молодой образованный разночинец, один из тех, кто будет проливать кровь за нее. Он рисуется как человек гордый и благородный, прямодушный и в любви и в споре с классовым противником. Он безбоязненно утверждает правоту своих идей. В ответ на окрик аристократа де Куртене «Всякому свое место!» Реньо говорит спокойно и твердо: «Этого я как раз и хочу. Всякому то место, на которое он имеет право».

Два главных антагониста, столкнувшихся в «Вербном воскресеньи», встречаются в Швейцарии двадцать три года спустя — в драме «Леониды». Куртене мало похож на того великосветского циника, каким он был в молодости. Он уже давно привык зарабатывать себе на пропитание тяжелым трудом. Изменился и Матье Реньо. Он прошел нелегкий боевой путь, был полномочным комиссаром одной из армий республики. Теперь он стар и морально подавлен, — не столько своей личной трагедией якобинца-изгнанника, сколько трагедией его родной Франции, судьбою которой теперь распоряжается сын революции и палач революции, молодой Бонапарт. Еще недавно Реньо и Куртене стояли по разные стороны фронта. Теперь, на чужбине, их сближает и тоска по родине и горечь пережитых разочарований.

Леониды — падающие осколки метеоритов, — которые сопровождают звездным дождем последнюю сцену пьесы, имеют здесь, по мысли Роллана, символическое значение. Участники великой исторической схватки, разбросанные по всему миру, уподобляются осколкам потухших светил. Судьба уравнивает былых врагов, в конечном счете примиряет их.

Вся пьеса окрашена в минорные тона. И все же идейная тенденция, заложенная в «Леонидах», отнюдь не сводится к морали всепрощения и покорности судьбе. Оба давнишних противника на протяжении всей пьесы упорно и красноречиво спорят, причем перевес в этом

споре явно на стороне Реньо. Он умно и страстно защищает политику якобинцев, отдавая себе отчет, что в этой политике были немалые просчеты и перегибы. На саркастическую реплику принца де Куртене — «Царственный народ!» — Реньо отвечает: «Народ, влачивший полторы тысячи лет цепи королевской власти, народ, отупевший благодаря вам, народ, для просвещения которого вы никогда ничего не сделали!.. Нам нужны были годы, чтобы поднять то, что подвергалось унижению веками. А в нашем распоряжении были только недели, только дни... Чтобы бороться и победить, нам нужно было разить, как молния, быть безжалостными, как она». И Реньо добавляет: «Мы первыми решились на грозный опыт. Ошибки были для нас неизбежны...»

Матье Реньо, снисходительно подавая руку бывшему врагу, не сдает ни одной из своих позиций — он верен идеалам своей молодости. А Куртене, приучившийся есть горький хлеб изгнания, хорошо понимает, что феодально-монархическая Франция отжила свой век и прошлое не вернется. Да, история идет более сложным, извилистым, мучительным путем, чем это могут предвидеть люди. Но революция, поглотившая сотни тысяч жизней, оставила глубочайший след в истории французского народа и других народов мира. В этом убежден не только бежавший от Директории якобинец, но и бежавший от якобинцев аристократ. И в этом тем более твердо убеждена приемная дочь Реньо, молодая и пылкая Манон, воспитанная в духе идей отца. Ее устами высказана надежда, что в итоге революционных потрясений возникнет новый мир, в котором миллионы людей будут счастливы.

Словесные дуэли, развертывающиеся в «Леонидах», — это тоже были в какой-то мере споры Роллана с самим собой. Размышления над историческим прошлым помогали ему постепенно ориентироваться в наиболее сложных и болезненных проблемах эпохи.

Незадолго до написания драмы «Леониды», 29 января 1926 года, Роллану исполнилось 60 лет. Он был твердо намерен отметить эту дату в тишине и без торжественности. Однако друзья не хотели оставить его юбилей незамеченным и нашли достойный способ почтить его.

Еще осенью 1925 года Роллану дали знать, что в Швейцарии готовится сборник в его честь — «*Libre amicorum*», «Книга друзей», под общей редакцией М. Горького, Жоржа Дюамеля и Стефана Цвейга.

Роллан писал по этому поводу Горькому 23 ноября 1925 года: «Я бесконечно тронут и от всего сердца благодарю вас, дорогой друг. Моя духовная независимость стояла мне дорого. Я потерял *всех* друзей моей молодости и *почти всех* друзей моей зрелости. Они покинули меня в пути, отреклись от меня, предали или бежали прочь. Я задевал их предрассудки или смущал их осторожность, вызывал у них страх — как бы не испортить карьеру, не скомпрометировать себя...» «Я душевно благодарен новым друзьям, которые дают мне новые основания жить и любить жизнь» *.

В юбилейном сборнике приняли участие писатели, художники, ученые, музыканты, общественные деятели разных стран; в числе других М. Горький, М. Ганди, А. Эйнштейн, Ф. Нансен, А. Швейцер, Р. Тагор, Р. Штраус, З. Фрейд, Г. Уэллс, Э. Синклер, С. Лагерлеф, Ф. Мазерель, Р. Мартен дю Гар, Э. Толлер, Ф. Жемье, Дж. Амендола (успевший написать статью незадолго до своей трагической гибели) и многие другие — всего свыше ста тридцати человек. Интернациональный характер сборника подчеркивался и тем, что большинство участников выступали на родном языке. На отдельных листах были воспроизведены факсимиле приветствий на арабском, китайском языках, ноты, рисунки.

Юбиляр был радостно взволнован, когда получил этот подарок.

Он сообщал Горькому 2 марта 1926 года: «Мое шестидесятилетие было отмечено в узком кругу друзей: швейцарец, француз, русский (почему не вы?), моя сестра, — она моложе меня на шесть лет и разделяет все мои труды — и мой отец, который на тридцать лет старше (в августе ему будет девяносто лет), но он все еще бодр и весел, курит трубку и смеется во все горло — прямо Кола Брюньон! Ронигер, швейцарец-издатель, вручил мне великолепную *Libeg amicorum*; у кого-то возникла прелестная мысль пригласить из Берна струнный квартет, который сыграл для меня нескольких самых прекрасных квартетов Бетховена и Моцарта. Музыка надо было позвать в гости: ведь она — душа всей моей жизни» *.

Роллан мог с гордостью и без горечи оглядываться на прожитые годы, — им было сделано многое, и его слова нашли отклик далеко за пределами его страны.

Стоит привести полностью одно характерное письмо, которое хорошо рисует и образ его жизни в Швейцарии

и отношение к собственному писательскому труду. Оно адресовано некоей мадемуазель Мейнар (которая, по-видимому, просила у него совета по поводу собственной литературной работы) и датировано 6 августа 1927 года:

«Дорогая мадемуазель,

Я покинул Вильнев месяца на два. Ваше письмо пришло следом за мной в горы, — я уехал сюда в поисках убежища, чтобы уберечься от постоянных помех в работе из-за непрерывного потока туристов вдоль Женевского озера.

Охотно дам вам советы, если сумею. Но времени у меня, к сожалению, немного. Я с утра до вечера занят собственной срочной работой; и мой маленький домик осаждается корреспонденцией и посетителями, от которых сестра меня обороняет, как может. Вот вам обратная сторона медали (если есть у медали лицевая сторона). Живешь в условиях «гласности»! Помимо небольшого количества близких людей, испытанных в течение целой жизни, — со всеми остальными приходится общаться только посредством книг.

«Художники», «писатели» — это вовсе не «огненные серафимы». Это (я говорю о писателях настоящих) отшельники, предающиеся труду и размышлению. Искусство — это не игра, за которую можно взяться, а потом ее бросить. Это бремя, возложенное на вас природой и принятое вами навсегда. Это тяжелая работа, которая вознаграждается не внешним успехом (даже когда он приходит, что бывает редко, — он куплен годами неизвестности и борьбы) — а тем удовлетворением, какую дает победа над собой, выход на широкие просторы духа. По правде сказать, я могу рекомендовать такой путь только бесстрашным и упрямым ходакам, которых не пугает ни усталость, ни раны, ни камни на дороге. «Знак Божий» — это не такое уж благословение. Надо уметь и пострадать ради Бога.

Тем, у кого нет органического и непреодолимого призвания, я не могу советовать избрать искусство как профессию: оно принесет лишь разочарования. Гораздо легче достичь счастья (получить ту долю счастья, на которую каждый имеет право надеяться) более обычными путями — в семье, среди людей, которым делаешь добро. Это — пути более здоровые и более верные.

Поверьте, мадемуазель, моей сердечной симпатии

Ромен Роллан *.

Нас не должен удивлять несколько суровый тон этого письма. Дело, видимо, не просто в том, что Роллан хотел отвлечь от занятий литературой молодую особу, которая относилась к ним, быть может, без должной серьезности. Находясь на вершине славы, вступив в седьмой десяток, писатель с особенной остротой чувствовал ответственность своего призвания. И это все обострявшееся чувство ответственности сопутствовало его идейным поискам на рубеже двадцатых и тридцатых годов.

4

Чем бы ни занимался Роллан в двадцатые годы — историей Французской революции или индийской религиозной философией, исследованием «великих творческих эпох» Бетховена или «внутренним путешествием» в глубь собственной души, — его мысли постоянно возвращались к громадной непонятой стране на востоке Европы.

После смерти В. И. Ленина Роллан почтил его память в короткой статье, написанной по просьбе корреспондента «Известий»:

«...Я не разделял идей Ленина и русского большевизма. Но именно потому, что я слишком индивидуалист и слишком идеалист, чтобы присоединиться к марксистскому кредо и его материалистическому фатализму, я придаю огромное значение великим личностям и горячо восторгаюсь личностью Ленина. Я не знаю более могучей индивидуальности в современной Европе. ...Его духовный облик еще при жизни запечатлелся в сердцах людей и останется нетленным в веках».

Здесь выразилась и сила тяготения Роллана к Советской стране и живучесть его предрассудков. Марксизм он понимал как «материалистический фатализм», отрицающий роль личности в истории и без остатка подчиняющий человека несумоленной «социальной геометрии». От таких представлений он долго не мог избавиться.

Что происходит в Советском Союзе? Роллан продолжал собирать сведения откуда только мог. В его поле зрения попадали разнообразные сообщения, оценки и свидетельства — иногда достоверные, а иногда и очень надежные. И не так легко было отделить одни от других.

«Я получаю много новостей из России в последние

месяцы, — писал он Софии Бертолини в декабре 1924 года. — И притом разные новости, хорошие и плохие. И те и другие — правда».

Роллан был впечатлителен и доверчив. И порой он склонен был прислушиваться к свидетельствам более чем сомнительным, особенно если они шли навстречу уже сложившимся у него представлениям. Догматические, вульгаризаторские рассуждения, слышанные от молодых «бешеных» из группы «Кларте», дезинформирующие сообщения западной печати, — все это откладывалось в памяти Роллана и в течение ряда лет искажало в его глазах облик советского общества. Первые известия об индустриализации СССР он воспринял с предубежденностью. В книге одного немецкого автора он вычитал, что в СССР насаждается «идолопоклоннический культ машины», что там устраиваются особые празднества — «Апофеоз машины при участии большевистских поэтов и артистов» — и что даже самые великие люди рассматриваются в Советском Союзе «в свете экономического материализма», — всего лишь «как механический синтез сил эпохи!» И подобно рода домыслы Роллан, как ни прискорбно, принимал за чистую монету и даже пересказывал их — в беседах с Тагором в июне 1926 года и в письме к Люку Дюртену в ноябре того же года...

Но именно в это время — в середине двадцатых годов — в сознании Роллана все более четко определялась международная расстановка сил. На одном полюсе — фашизм, империалистическая реакция, грозящая человечеству новыми войнами. На другом — новый мир, строящийся в Советском Союзе. Третьего пути нет. И когда Роллан думал обо всем этом, у него не возникало сомнений, на чьей он стороне.

В мае 1927 года анархистская газета «Либертэр» предложила Роллану выступить с протестом против преследования анархистов и эсеров в Советском государстве. Роллан ответил отказом — и объяснил свой отказ: он был убежден, что «падение коммунизма повлекло бы за собой падение всех прочих революционных партий, а вместе с тем и последних остатков свободы».

А. В. Луначарский, прочитав отповедь Роллана анархистам, прислал ему теплое письмо, пригласил его сотрудничать в журнале «Революция и культура», а затем писатель получил приглашение приехать на празднование 10-летия Октябрьской революции.

В Москву Роллан не поехал, ссылаясь на плохое здоровье. Но он откликнулся на памятную дату дружеским посланием советским людям, а затем краткой статьей «Приветствие к величайшей годовщине в истории народов».

Эти выступления Роллана вызвали смутение и злобу в среде зарубежных недругов Советского Союза, и особенно в среде эмигрантов из России. На виллу «Ольга» стали приходить письма с претензиями: как мог создатель «Жан-Кристофа» и «Клерамбо» высказаться — да еще так недвусмысленно и открыто — в поддержку большевистского правительства?

16 ноября 1927 года Роллан ответил автору одного из таких писем, анархисту Лазаревичу. Он писал, что его послание адресовано трудовому народу.

«Ему принадлежат все мои симпатии. Если мое представление об этом народе кажется вам неверным, обратитесь в «Либрери дю травай», где только что издано большое исследование агрария Гвидо Мильоли о «Советской деревне». Объяснитесь с ним самим. Если есть хоть некоторая достоверность в тех фактах, которые он собрал, — этот мощный порыв молодого класса, который брызжет жизненной энергией, подавлявшейся в течение столетий, эти пламенные и разумные усилия нового социального строительства уже сами по себе могут служить оправданием Русской Революции... Завоевания крестьянского народа прочно обеспечены. Вы противопоставляете этому свидетельству ваше свидетельство. Не беру на себя роли арбитра. В течение последних десяти лет я получаю из России столько различных, даже противоречащих друг другу сведений, — причем все сведения (все те, которые я учитываю) основаны на добросовестных, тщательных наблюдениях (и в немалом числе исходят от русских, живущих в России), — что мне нельзя не прийти к выводу, что в этом огромном формирующемся мире добро и зло смешаны в гигантских пропорциях. Но если я, как вы видели, всегда был готов протестовать против злоупотреблений, о которых я узнавал, то я не могу не восхищаться размахом известных мне новых начинаний в области народного просвещения, социального обеспечения, больших общественных работ. Я представляю себе, что пока что это лишь капля воды в степи. Но за десять лет громадная Россия, изолированная, окруженная врагами, не могла сразу перешагнуть через сто-

летия. Самое существенное — что она идет вперед и что народ такого склада, о каком говорит Мильоли, существует, пусть даже в виде островков. Найдите мне где-нибудь на Западе хоть один такой островок! Не вмешивайте меня в ваши партийные распри! Большевики, социалисты, анархисты интересуют меня мало, пока речь идет о теориях. Я не защищаю какую-либо партию. Я защищаю (как вы и отметили) народы России против всех происков правительств Европы и Америки. И с этих позиций я отказываюсь понимать, почему все свободные люди не могут заставить умолкнуть свои личные горести и обиды (пусть даже и тысячу раз обоснованные). Общий фронт! Когда я прославляю годовщину события, которое произошло десять лет назад... я думаю о цепях, которые были разбиты, о Бастилии, которая была низвергнута. А теперь (как говорит у меня Камилл Демулен в конце пьесы «Четырнадцатое июля»): «Доведите до конца наше дело! Бастилия пала, но в мире остались другие Бастилии. На приступ! На приступ против всяческой лжи, против мрака! Разум победит силу!»*.

В январе нового 1928 года Роллан написал Горькому, комментируя свое приветствие к 10-й годовщине Октября:

«Поскольку требования общественной жизни заставляют нас числиться в том или ином лагере, мы можем быть уверены, что окажемся с вами в одном и том же.

За последние месяцы меня посетило много людей, прибывших из России: Дюамель и его спутник Люк Дюртен, свободные американцы вроде Скотта Ниринга, итальянцы вроде бывшего депутата от аграриев Мильоли, который целый год изучал вашу страну и в результате опубликовал по-французски книгу «Советская деревня», самое серьезное и волнующее исследование, какое я знаю, о крупных успехах русского крестьянства за последние пять лет и о замечательной жизнеспособности вашего народа, благодаря которой у вас создается новый общественный и культурный строй*.

Под напором фактов Роллан мало-помалу освобождался от нелепых представлений о «культе машины» в СССР, о социалистическом государстве как «улье», «муравейнике», где человек якобы задавлен и обезличен. Ему становилось ясно, что советский строй создал предпосылки для духовного, культурного роста миллионов

людей, которые жили при царизме в нищете и невежестве.

Гораздо более серьезными оппонентами, чем анархист Лазаревич, оказались для Роллана крупные русские писатели, находившиеся в эмиграции, — К. Бальмонт и И. Бунин. В январе 1928 года они напечатали в журнале «Авенир» открытые письма Роллану, где выражали недовольство тем, что он выступил в поддержку Советского Союза.

Роллан ответил им (в журнале «Эроп» в феврале 1928 года) аргументированно и убедительно.

«Во всяком случае, вы можете быть спокойны за мой счет, — писал он Горькому 5 апреля 1928 года. — Нет оснований опасаться, что Бунин, Бальмонт и т. п. вовлекут меня в атмосферу своей бессильной ненависти...» Не являясь и не считая себя большевиком, Роллан относился непримиримо к врагам большевизма. «И всякий раз, — писал он Горькому, — когда вопрос о Революционной России и коалиции реакционных сил встанет в плоскость реального действия, я приму сторону Революционной России. Тем не менее я остаюсь независимо мыслящим человеком, который никогда не присоединится ни к одной партии» *.

Приезд Горького весной 1928 года в Советский Союз имел громадное значение для развития взглядов Роллана. Горький стремился сблизить Роллана с советским обществом, сообщал о размахе культурного строительства, то есть о той стороне советской жизни, которая интересовала Роллана больше всего.

Выступления Ромена Роллана в защиту СССР то и дело навлекали на него атаки. Реакционная и белоэмигрантская печать травила его за «большевизм». Анархисты, троцкисты, ультралевые разных оттенков, отколовшиеся от коммунистического движения, требовали от Роллана протестов против репрессий, которым подвергались их единомышленники в СССР. Писатели либерально-пацифистского склада (частично и те, кто группировался вокруг журнала «Эроп») огорчались по поводу того, что бывлой апостол «независимости духа» втягивается в политическую жизнь.

Одному из этих писателей, Шарлю Вильдраку, Роллан писал 14 декабря 1928 года: «Я не вмешиваюсь в политику, — теперь еще менее, чем прежде. В моем возрасте

люди не имеют права тратить время попусту. Но защита России — это не политика. Ее существование, ее дальнейшее развитие необходимы для прогресса всего человечества. Дать ей умереть — это было бы не только преступление, но и самоубийство» *.

Само собой разумеется, что, когда Роллан писал о «защите России», он имел в виду Россию советскую, революционную. Существование и развитие СССР неразрывно связывалось в его сознании с движением всего человечества к более справедливому строю жизни. В свете опыта СССР Роллан постепенно вносил поправки и уточнения в ту систему взглядов на исторический прогресс, на революцию и революционное насилие, которую он отстаивал в период дискуссии в «Кларте».

В 1929 году Роллан по просьбе публициста Эугена Рельгиса написал предисловие к его книге «Пацифистский интернационал». В этом предисловии Роллан, обращаясь к автору книги, дружески полемизировал с ним и утверждал, в частности, следующее:

«Я не согласен с вами, когда вы пишете: «Мы осуждаем революцию, потому что мы против всякого насилия». Нет, я не осуждаю революцию. Я считаю, что революция, так же как и эволюция, является необходимой и неизбежной формой развития человечества: это «внезапный скачок», о котором говорит Де Фриз, — это закон, до конца еще не познанный, но высокий и властный. Революция не обязательно синоним неумолимой жестокости. Она может быть и взрывом энтузиазма и любви. Именно такой была вначале Революция 1789 года. Если она и выродилась в Террор, тут не было ничего рокового, — тут сказался недостаток политического и социального разума, преступные ошибки монархии, скатившейся к предательству, и главарей, выдвинувшихся вследствие незрелости народа и недостатка в подлинных руководителях. Но революция — это один из необходимых ритмов в Симфонии истории. И не следует отрицать ни ее величия, ни ее благотворности».

На рубеже двадцатых и тридцатых годов Роллан часто возвращался к мысли, что Советский Союз окружен врагами, что над ним нависла острая опасность нападения со стороны империалистических держав. В этих условиях Роллан считал своим долгом мобилизовать международное общественное мнение для защиты СССР. В этом духе он старался влиять и на своих друзей, на всех тех

западных мастеров культуры, которые прислушивались к его голосу и верили ему.

Характерно в этом смысле письмо Роллана Франсу Мазерелю от 27 сентября 1930 года. (Само собой разумеется, что, когда Роллан настойчиво советовал Мазерелю побывать в СССР, он заботился не только о том, чтобы талантливый художник получил новые яркие впечатления. Роллан исходил и из того, что приезд в СССР крупного западного деятеля культуры, который способен верно оценить то, что он увидит, и правдиво рассказать об этом, является для Советской страны моральной поддержкой в момент острой политической борьбы.)

«Вы очень не правы, когда откладываете поездку в Москву на более поздние времена. Не могу понять, как это вас туда не тянет. Если бы здоровье позволяло, я давно бы туда побежал. Там много такого, что должно вас захватить! Вся эта их гигантская реконструкция. (Знаете ли вы великолепный ежемесячный журнал, который издается на нескольких языках, «СССР на стройке»? Я на него подписан. Это нечто потрясающее.) И эти массы людей, которые полны такой трепетной жизни и так тянутся к искусству, — многие из них относятся к вам с симпатией. Там вас примут с распростертыми объятиями. Даже Тагор, который сейчас там, обласкан и восхищен оказанным ему приемом. (Я его видел в Женеве, где он был проездом, а сейчас получаю от него письма.) Откладывая путешествие на более позднее время, вы рискуете опоздать, — как бы Революция не была уничтожена (я надеюсь, что этого не произойдет, но кто может поручиться, когда против нее складывается такая гнусная коалиция, причем США тут опаснее всего). Так или иначе — надо увидеть ее сегодня, в ее мучительном и страстном порыве, в ее высокой жертвенности и сверхчеловеческом напряжении...»

«...С вашими данными, с вашим здоровьем, вашей энергией, вашими глазами нельзя замыкаться на голубятне в Монмартре или ограничиваться мещанскими прогулочками, до Гамбурга или Берлина, и не далее того.

Спешите увидеть то, что вы можете увидеть! Не пройдет и года, как разбухнут стихии, и каждый из нас окажется пленником там, где будет застигнут, — быть может, до самой смерти. Война закроет все двери и откроет только дверь в морт»*.

Роллан не все время поддавался столь мрачным взгля-

дам на будущее. Но он считал международное положение весьма сложным и тревожным и сознавал, насколько ответственны его собственные задачи.

Моральный авторитет Роллана в Европе — и не только в Европе — был очень велик, с его мнением считались многие. И все время находились люди, которые пытались эксплуатировать этот авторитет в мелких, частных, или вовсе недостойных целях.

В конце двадцатых и начале тридцатых годов во Франции и других странах Запада активно действовали различные троцкистские или полутроцкистские группировки. И те самые литераторы, которые еще совсем недавно претендовали по отношению к Роллану на роль ортодоксально-марксистских воспитателей, требовали от него соблюдения строгой революционной дисциплины и безоговорочной поддержки СССР, — теперь, шарахаясь в обратную крайность, старались втянуть его в свою антисоветскую возню.

Роллан нередко читал и слышал, как «р-революционеры» разных оттенков жаловались на бюрократизм в Советском Союзе, на различные ошибки и недостатки советского аппарата. Он понимал, что эти жалобы могут быть сами по себе обоснованы, и все же не придавал им решающего значения, потому что видел, что жалобы эти исходят от людей предрешенных или неустойчивых, а иногда и преследующих недобрые цели.

В этом его лишней раз убедила печальная история Панаита Истрати.

В середине двадцатых годов Панаит Истрати, одаренный румынский литератор-самоучка, приобрел широкую известность — в немалой степени благодаря поддержке Романа Роллана, который стал его покровителем и наставником. Истрати, человек больной и неуравновешенный, анархист по натуре и взглядам, был подвержен частой смене настроений, резким переходам от восторженности к унынию. В лучших своих произведениях («Кира Киралина», «Дядя Ангел», «Репейники Бэрэгана» и др.) он стремился говорить от лица бесправных и обездоленных. Но его бунтарство носило стихийный, неосмысленный характер.

В 1927 году Истрати отправился в длительную поездку по СССР. Роллан напутствовал его 19 октября: «Вы знаете, что мои (наши) подлинные друзья находятся там,

в России; и наши пожелания, наши надежды — с ними. Принесите им мою нежность и мою веру!» Он писал 31 октября, уже в Москву: «Да, я думаю, что вы там на своем месте и что, несмотря на все трения, которые могут возникнуть (наверное возникнут), вы найдете там вашу настоящую семью по духу и сердцу». И в одном из следующих писем (от 31 декабря): «Подлинная ценность русской Революции — в идеях и делах совсем другого порядка: в небывалых строительных работах, в новом плане социальной архитектуры, в новой организации рабочих отрядов. Начался долгий, терпеливый, бесшумный труд, — лишь бы он продолжался без устали, лишь бы силы не иссякали и обновлялись...»¹

На первых порах Истрати шумно восторгался всем увиденным, а затем — как это и было свойственно его истерической натуре — совершил крутой поворот и стал так же шумно возмущаться. Советская действительность не соответствовала его идеалу «абсолютной свободы», не была похожа на праздник или идиллию. Роллан настойчиво советовал разобраться, не торопиться с выводами, не поддаваться случайным впечатлениям. Революционное преобразование людей и общества, писал он 24 февраля 1929 года, требует длительных сроков, трудности и жертвы на этом пути неминуемы. «Именно поэтому я остерегаюсь быть слишком суровым к тем, кто, будучи одушевлены искренней верой, терпят неудачи в успешно начатом деле, совершая ошибки, от которых застрахованы лишь те, кто бездействует... Поможем им, насколько возможно! А главное — не будем делать ничего такого, что может пойти им во вред! Ни в коем случае не смейте неосторожными словами или писаниями поставлять оружие реакционным мерзавцам, которые в своих убийственных целях не брезгают никакими средствами!»

Когда Истрати приехал из СССР во Францию (где жил уже до того в течение нескольких лет), Роллан рекомендовал ему не давать ни интервью, ни статей в газеты, а написать повесть или рассказ на революционно-героическую тему. «Неужели, — спрашивал он 1 мая 1929 года, — вы не видели в России великих примеров — народностей, или городов, или групп людей, находящихся

¹ Письма Романа Роллана к Панайту Истрати цитируются по подлинникам, хранящимся в Бухаресте, в Библиотеке Академии наук.

на высоком подъеме, — энергичных характеров, новых типов? Почему же вы их не показываете!» Роллан не хотел допустить и мысли, что положение в СССР столь мрачно, как сообщал ему в письмах его незадачливый ученик. «Поведайте нам о том, что там есть доброго, сильного, нового! Совсем не требуется, чтобы вы сразу развернули полную картину России».

Истрати поступил иначе. Он опубликовал в «Нувель ревью франсез» статью, где в качестве чуть ли не центрального события советской жизни было представлено некое запутанное судебное дело, выросшее из квартирной склоки. Роллан был глубоко удручен — излил свое негодование в длинном письме (от 7 октября 1929 года): «Ничто, написанное против России ее злейшими врагами за десять лет, не причинит ей такого вреда, как ваши страницы... То, что кажется вам справедливостью, есть высшая несправедливость. Недопустимо обобщать, обращать против стомиллионного народа недобросовестные поступки, совершенные дюжиной или даже сотней людей. Единственный, кто извлечет пользу из вашей бешеной мести, — реакция. Как же вы этого не поняли?.. Вы могли бы сказать все существенное по поводу данного дела, — но так, чтобы не вредить тому, что является здоровым в России, — тому, что надо беречь, защищать, прославлять».

В конце 1929 года в Париже вышел за подписью Истрати трехтомный антисоветский опус «К другому пламени» (его соавторами были, как стало потом известно, двое журналистов, отошедших от коммунистического движения). Затем Истрати вернулся в Румынию, где было бунтаря тепло приняты в реакционных кругах. Роллан продолжал чувствовать ответственность за человека, которого он ввел в литературу, время от времени писал ему, пытался его образумить. Только последнее письмо (отосланное Ролланом в январе 1935 года, незадолго до смерти Истрати) было объявлением полного разрыва. («Нет, не может быть и речи о том, чтобы мы встретились, Истрати... Румынский национализм, антисемитизм, которым вы бравируете, похвалы со стороны реакционных партий, их дружба, которую вы хвастаетесь, ваши непристойные насмешки над заключенным, объявившим голодовку, ваша открытая ненависть к коммунизму — все это возмутительно у такого человека, как вы, — у человека, попирающего ногами свое прошлое...»)

Еще до этого окончательного разрыва, в письме к Истрати от 8 сентября 1933 года, Роллан кратко изложил свою позицию по отношению к СССР:

«Кто бы ни был агрессором — если Советский Союз подвергнется нападению, я буду защищать его всеми силами.»

Ибо он, при всех его ошибках (которые свойственны людям — которые неизбежны), представляет единственный оплот защиты мира против нескольких столетий самой омерзительной, самой сокрушительной Реакции.»

Роллан очень болезненно воспринял «казус Истрати», много и мучительно размышлял над ним. Он делился этими размышлениями, в частности, с Марселем Мартине (1 сентября 1929 года). Ну как это можно — побывать в Советском Союзе и не увидеть, не понять главного? «Там ведется громадная работа, и дух самопожертвования горит в тысячах сердец... Я поражен чистотой, здоровой и цельной непорочностью, которую я вижу в моих молодых корреспондентах...» * 11 января 1930 года Роллан — снова в письме к Мартине — говорит об Истрати с нарастающим гневом: «Ах! Что за идиот этот Истрати! Ну его! СССР теперь уже достаточно силен, и для него не столь важно — будет ли одним ренегатом больше или меньше. Эта страна знает, что может рассчитывать теперь — в масштабах Европы и всего мира — только на свои собственные силы; и она делает из этого нужные выводы...» *

В письме к Мартине от 19 мая 1931 года Роллан уточнял свою позицию по острым вопросам политической борьбы тех лет. «Я не принадлежу ни к одному политическому клану. Следовательно, я не стал[инист]. Но должен сказать, что коммунистическая оппозиция (какой я ее знаю по ее французским органам и по разглагольствованию Троцкого) внушает мне отвращение своей мелочностью и бессовестным себялюбием (или себялюбием тех вожаков, с которыми она себя отождествляет) *.

При всем желании Роллану не удавалось держаться в стороне от того, что он называл «партийными распрями». Он чувствовал себя обязанным бороться за души европейских интеллигентов, сбитых с толку врагами СССР и ренегатами коммунизма. Об этом свидетельствует, например, его письмо к Горькому от 28 марта 1931 года:

«Вы знаете, какую яростную и коварную кампанию

ведет против Советского правительства социалистическая и коммунистическая оппозиция в Париже (с одной стороны лагерь «Попюлер» с Леоном Блюмом, Розенфельдом и Лонге, — а с другой стороны троцкисты, главарь которых сильно упал в моих глазах из-за мелочности своего ущемленного личного тщеславия. У них своя газета «Веритэ», среди них также опасный Борис Суварин, наиболее злостный вдохновитель памфлетов Истрати). Бывает, что ко мне обращаются честные встревоженные люди, чтобы разъяснить сомнения, которые посеяли в них газеты...» *

Помимо публицистических статей, Роллан писал в тот период много личных писем разным людям, где, отвечая на их вопросы, стараясь рассеять разнообразные их недоумения, объяснял и обосновывал (каждый раз заново) свою позицию активного друга и защитника СССР.

Так, он отвечал одному из своих корреспондентов, К. Тезину, 3 декабря 1930 года:

«Ни с одной страной у меня нет столь многочисленных личных, дружеских связей, как с новой Россией. У меня там есть друзья разных возрастов, принадлежащие к разным слоям общества. Интеллигенты, рядовые труженики, женщины, подростки, дети. Одни вводят меня в свой интимный мир, исповедуюсь, как это любят делать русские. Другие рассказывают мне о своей работе. А дети обращаются ко мне как к старшему товарищу: я ясно вижу не только их кляксы, но и их мордочки. И вы можете поверить, что во многих письмах (а среди них вовсе нет официальных — я не веду переписки с правительственными деятелями ни одной страны) люди, не стеснясь, ворчат по поводу трудностей и бедствий... Но я утверждаю, что те трудящиеся, которые мне пишут (а я имею дело только с ними, и только они меня интересуют), в большинстве своем охвачены страстным чувством, что их страдания не напрасны, что они приносят жертвы ради великого дела, ради человечества; это чувство поддерживает их дух и даже внушает им сознание превосходства над нашим западным миром.

Я общаюсь с этими друзьями не только посредством писем. С некоторыми из них я виделся и говорил. Скажем, один интеллигент, врач, ученый, который прошлой зимой приезжал в научную командировку в Германию, — не большевик, не политик, потерявший в годы революции

свое состояние и удобные условия жизни, — человек больной, очень истощенный лишениями, — когда ему предложили блестящее место в Германии, ответил: «Нет! Я вернусь домой, к моей прежней скромной жизни. Она здоровее, чем та жизнь, которую вы ведете на Западе. И мне лучше работается там». Он мне сам об этом рассказывал. И он не единственный из приезжающих отсюда, для кого после встречи с Западом жизнь в СССР со всеми ее трудностями становится еще дороже. Притом те, о ком я говорю, свободны от всяких политических пристрастий.

Разрешите мне полагаться больше на то, что рассказывают мои друзья, чем на лживые сообщения корыстной западной прессы» *.

Очень примечательно также написанное почти годом позже (6 сентября 1931 года) письмо Роллана к общественной деятельнице и специалисту по проблемам Индии Беатрисе Арам:

«Не могу вам на все ответить по поводу СССР. Слишком много надо было бы сказать. Само собой разумеется, что недостаток свободы трудно перенести тем, кто помнит еще, как когда-то в Европе можно было дышать последними остатками воздуха свободы. Но где она сегодня, свобода? И где будет она завтра? Посмотрите трезво, без иллюзий, на тех, кто все еще украшает себя ею, как этикеткой, — на «либералов»! Сколько нравственных и социальных уступок, сколько лицемерных уловок прикрываются сегодня словом «либерализм», а ведь на деле это всего-навсего консерватизм, стремление сохранить некоторые привилегии, купленные ценою угнетения, лишений и «принудительного труда» части человечества!..»

«Никто не мешает поэтам в СССР воспевать свои мечты, не имеющие ничего общего с Марксом и Лениным. Но этим они не могут себя обеспечить: если они хотят зарабатывать себе на хлеб, им надо найти себе другую работу. А думаете ли вы, что я, если бы мне не повезло и я не успел бы утвердить свою писательскую репутацию в Европе (и во Франции) еще до войны — мог бы найти сегодня во Франции издателя и читателей? Вы не представляете себе, какими громадными силами располагают сегодня правители, желающие удушить, без шума и видимого скандала, свободные голоса! С какими кампа-

ниями, травли и коварного бойкота я сталкивался и сталкиваюсь до сих пор, не только внутри Франции, но и вне ее, — стараниями ее интеллектуальных агентов, жирно ею оплачиваемых! Меня все это не трогает, я своевременно успел завоевать себе имя и положение. Но, присматриваясь к младшим братьям, я вижу, что им становится все более невозможно сохранить независимость. И почти все они сдаются, склоняют голову, становятся «конформистами», чтобы не лишиться хлеба насущного».

Роллан напоминает своей корреспондентке о напряженности международного положения. «Давящая рука Денег нависает над миром», в будущем возможна «великая схватка между Уолл-стритом и Кремлем». В условиях этой острой всемирно-исторической борьбы лишь очень немногие «верующие души» могут жить, оставаясь в стороне от событий, питаясь «крохами с божьего стола». «Я помогаю уцелеть птицам Божьим. Но я не отворачиваюсь от тех, кто находится внизу, на земле. И я занимаю свое место в их сражениях» *.

Современный читатель может найти в этих письмах Роллана немало наивного или спорного, может не согласиться с иными его формулировками и оценками. Но эти письма помогают увидеть, какая глубокая внутренняя работа происходила в Роллане на рубеже двадцатых и тридцатых годов — в те самые годы, когда Советский Союз осуществлял свою первую пятилетку, а страны буржуазного мира были охвачены небывалым по остроте экономическим кризисом.

Отвечая на вопросы своих западных корреспондентов о Советском Союзе, стараясь рассеять их сомнения, Роллан в то же время отвечал и на собственные вопросы, рассеивал собственные сомнения. Он нашел *свой* путь познания советского общества. Переписка с русскими читателями-друзьями была для него важнее, чем любые хозяйственные и статистические данные, которые он мог почерпнуть в книгах. Пусть он и вглядывался в мировые события, по собственным словам, «глазом историка», жадно читал текущую прессу, обзоры публицистов, ученые исследования, — он все же видел мир и людей прежде всего как художник. Его превыше всего интересовали живые, конкретные человеческие личности. Письма, которые он получал от советских людей, говорили прежде всего о громадном порыве энергии многомиллионного

народа, строящего новое общество. И эти живые человеческие свидетельства были Роллану необычайно дороги.

Конечно, он с вниманием следил за экономическими успехами СССР. Но его особенно волновал вопрос: каковы те перспективы морального, *духовного* развития человека, которые открываются — или откроются в дальнейшем — в условиях социалистического строя.

Этот аспект размышлений Роллана отразился, например, в его письме к известному философу-идеалисту Н. Бердяеву от 2 ноября 1932 года. Писатель благодарит Бердяева за присланную им книгу «Христианство и классовая борьба», сообщает, что его привлекло в этой книге стремление автора «вернуться к живым истокам христианства, существовавшим, пока река не была загажена». Далее идут строки, представляющие, по сути дела, полемику с антиреволюционными взглядами Бердяева:

«Но не думаете ли вы, что эти угнетенные массы организовались в рамках «класса» именно потому, что угнетатели, эксплуататоры загнали их в эти рамки и что эти массы, вынужденные вести борьбу в свою защиту, всегда имели в виду, в итоге борьбы, исчезновение «классов» и утверждение «человечности» для всех? Я часто дискутировал об этом с лучшими из их среды — молодыми рабочими и интеллигентами СССР. И я почти всегда находил в них гордую уверенность, что они работают над созданием не только нового мира, нового социального устройства, но и нового понимания индивидуума, нового склада человеческой личности, более широкой, включающей все лучшее, что было завоевано духом на протяжении веков. Пусть их настоящее и далеко от этого идеала — этот идеал тем не менее светится в конце пути»*.

Буржуазные публицисты — не только открыто реакционного, но и либерально-пацифистского толка — упрекали Роллана в том, что он рассуждает как оторванный от жизни идеалист, что он поддался «большевистским маневрам» и т. д. Его вызывали на полемику, — он принимал вызовы со спокойным достоинством и сознанием своей правоты.

Широкий резонанс получила его статья «Европа», расширяться или умири (Ответ Гастону Риу)», напечатанная в журнале «Нувель ревью мондиаль» в начале 1931 года.

В то время среди французской интеллигенции была

популярна идея «Пан-Европы» — блока западноевропейских государств. Ромен Роллан, которого столько раз называли «великим европейцем», выступил против этой идеи — к изумлению некоторых бывших своих читателей. Он показал, что план «Пан-Европы» служит интересам империализма, является попыткой решить европейские проблемы за счет колониального Востока и прежде всего за счет Советского Союза.

Попутно Роллан — вспоминая о своей позиции в годы первой мировой войны — откровенно заявлял:

«В те времена я и сам медленно, с трудом и болью освобождался от всех тех иллюзий, которые опутали мою молодость... и с трепетом начинал осознавать тот освободительный ответ, который должны были бы дать народы. И я не смел его произнести. *Я произнесу его сегодня.* Это ответ Ленина в 1917 году: восстание европейских армий против хозяев войны, братание на поле битвы».

Вскоре после опубликования этой статьи — 12 марта 1931 года — Роллан писал Стефану Цвейгу:

«Понятно, что Москва отняла у меня немало времени в последние месяцы! Получено немало писем, я на них отвечаю, ответы публикуются там, в их прессе. Моя статья в «Нувель ревью мондиаль», напечатанная в СССР на 15 дней ранее стараниями Горького, который прочитал ее в рукописи, вызвала поток писем, телеграмм, статей, приветствий, споров, избраний, и в особенности изъявлений благодарности. Скоро меня, чего доброго, вышлют из Швейцарии...»

Стефан Цвейг был в тот период озабочен возможностью войны между империалистическими державами и Советским Союзом и призывал Роллана помочь спасти мир — во что бы то ни стало, любой ценой! Роллан отвечал ему:

«В том, что вы говорите о войне, быть может, есть доля истины: при нынешнем положении вещей, после всего того, что СССР перенес за 14 лет, включая интервенции, заговоры, предательства, постоянные угрозы, неугасимую ненависть со стороны всех сил старого мира, — можно не только опасаться, но и предположить, что, когда СССР станет сильным, он ничего не забудет и будет действовать. И пусть старый мир остережется оказаться на его пути!

Но если вопрос «войны и мира» остается для меня на первом плане — это не единственная моя забота, и

мои мысли не замыкаются в эти пределы. Есть и другой вопрос, столь же существенный (быть может, еще более насущный); жизнь человечества может иметь какой-то смысл, только если оно не даст себя опутать склеротическими артериями старого общества. Мир, который гарантировал бы нашей Европе, да и Америке, возможность плесневеть, подавляя молодую новую поросль СССР, — такой мир не заслуживает, чтобы его защищали. Не заслуживает, во всяком случае, с моей точки зрения. Я не могу больше жить среди гнилого застоя не только политики, но и мысли и искусства нашего Запада. Уже десять лет (и даже больше), как отвращение поднимается мне к горлу. Я делал все, что мог, чтобы привыкнуть и терпеть. Не могу больше. Даже так называемый «цвет» их элиты мне противен. Я вижу червоточину у самого его корня. И будьте уверены, что тысячи людей на Западе испытывают такое же отвращение и не могут или не смеют его высказать, но однажды оно даст себя знать. Меня вовсе не удивляет, что, когда турки брали Константинополь, оттоманская армия насчитывала среди христиан больше сторонников, нежели армия Византийского императора»*.

Все острее вставал перед Ролланом контраст между старым миром империализма и новым миром, строящимся в Советском Союзе. Об этом говорит и следующее его письмо Ст. Цвейгу, датированное 6 июня 1931 года.

Стефан Цвейг, ссылаясь на одного из своих русских друзей, жаловался на то, что старшее поколение советской интеллигенции находится в тяжелом положении. Роллан возражал:

«Что до вашего друга, крупного русского писателя, который вам пишет, — проверяйте его статьи и письмами Горького, с которым я поддерживаю тесную связь в этом году! Вполне возможно, что целый слой интеллигентных людей, социально наиболее близких нам с вами, чувствуют себя стесненными в своих мыслях. Но могу с полной ответственностью вам сказать, что имеется — и бурно, со стихийной силой, выходит на поверхность — новая, пролетарская интеллигенция, которая обнаруживает необычайную жизнеспособность и энтузиазм. Что вы хотите? Старшие поколения всегда оказываются неправыми. И правильно, что они оказываются неправыми. Надо исходить не только из того, что им нравится. Старые ветви должны уступить место весенним побегам.

Это — закон жизни. Это — норма. И я ее принимаю для себя. Я уже принимал ее, когда писал в конце «Жан-Кристофа»: «Молодежь, пусть тела наши будут для вас ступенями, шагайте по ним вперед!» Но я добавил, имея в виду нас самих: «Умрем, Кристоф, чтобы родиться вновь!»*

Эти два письма к Цвейгу, написанные весной и летом 1931 года, помогают лучше понять то настроение, с которым Роллан писал свое знаменитое «Прощание с прошлым» (оно появилось в июне 1931 года).

Эта статья была задумана как предисловие к новому изданию роллановской публицистики военных лет, но вылилась в большую автобиографическую работу, своего рода исповедь.

Прощание с прошлым — это ни в коем случае не знаило отречение от прошлого. У Роллана не было оснований стыдиться той деятельности, которую он мужественно вел в годы первой мировой войны. Он ясно видел и ясно показал преемственную связь между минувшим и нынешним этапом своего развития. Но слова «Умрем, Кристоф, чтобы родиться вновь!» (как и любимые им слова Гёте «Stirb und werde!» — «Умри и возродись!») никогда не были для него пустой фразой. Он был убежден, что движение личности вперед — как и движение общества вперед — закономерно проходит через периоды переворотов, ломки, кризисов. Именно такой период переживал он теперь.

На последних страницах «Прощания с прошлым» Роллан бескомпромиссно судит о том умонастроении и о том отношении к революционной России, которое сложилось у него к концу войны: «В тот момент моей духовной эволюции я не хотел отступать от своей роли интеллигента, стоящего на посту «над всеми схватками», и вмешиваться в дело, которое я тогда ошибочно считал схваткой политических партий. Теперь я мыслю иначе...» В то время, говорит писатель, он надеялся воздвигнуть «Град международного духа», но этот град остался без фундамента. Роллан обещает в своей новой работе рассказать о том, как ход событий заставил его «перешагнуть пропасть и присоединиться к лагерю Советского Союза». Он добавляет: «Это был нелегкий поход! И путешествие еще не кончено».

Годы 1927—1931-й — период сдвигов, особо напряженных поисков, интенсивной творческой и общественной

деятельности — воспринимались самим Ролланом как годы подъема, трудные и радостные. Он писал 20 июля 1929 года Пьеру Абрааму (известному журналисту и критику, брату Жан-Ришара Блока): «Чем я станульюсь старше, тем больше я молодею; ум и сердце захвачены такими сильными потоками, что — так как физические силы не возрастают с годами — приходится прилагать немало стараний, чтобы подбородок оставался над водой, чтобы течение не унесло меня куда-нибудь в сторону...» *

Эти годы ознаменовались для Ромена Роллана серьезными переменами не только в его взглядах и направлении его деятельности, но и в его личной жизни.

В 1923 году Роллан получил письмо от советской читательницы Марии Павловны Кудашевой. Молодая женщина — русская по отцу, француженка по матери — делилась впечатлениями от только что прочитанных первых томов «Жан-Кристофа», спрашивала у писателя совета по важным вопросам своей жизни; затем она стала присылать ему свои стихи, написанные на французском языке.

Переписка на время прервалась, потом опять возобновилась, постепенно принимала все более откровенный и дружеский характер. Роллана заинтересовала личность и судьба его корреспондентки.

Мария Кудашева — Майя, как ее называли близкие, — родилась вне брака, росла в нелегких условиях, с четырнадцати лет зарабатывала уроками. В молодые годы она вошла в московскую литературную среду, дружила с М. Цветаевой, хорошо знала Вяч. Иванова, Андрея Белого, М. Волошина, Б. Пастернака. Она рано вышла замуж за юношу из княжеской семьи Сергея Кудашева, — в годы гражданской войны он ушел в белую армию и умер от сыпного тифа, оставив жене маленького сына Сережу.

В течение ряда лет М. П. Кудашева работала в Государственной Академии художественных наук секретарем президента академии профессора П. С. Когана. Попутно она занималась переводами; в сборнике «Революционная поэзия современного Запада» появились переведенные ею стихи французских авторов, хорошо знакомых Роллану, — Жоржа Дюамеля, Шарля Вильдрака, Марселя Мартине. Когда Ж. Дюамель и Люк Дюртен приехали в СССР, Мария Кудашева была их гидом и многим помогла им. Они потом рассказывали о ней Роллану.

В конце двадцатых годов ленинградское издательство «Время» начало готовить Собрание сочинений Ромена Роллана в двадцати томах. Его это обрадовало — такое собрание не выходило у него еще ни на одном языке! (От причитавшихся ему денег он тут же решительно отказался и распорядился, чтобы весь его авторский гонорар перечислялся Московскому государственному университету для выплаты стипендий студентам.) Состав готовившихся томов, отбор, расположение материала — все это живо интересовало писателя; разумеется, он выдвинул требование, чтобы все его произведения печатались без малейших поправок или купюр, и это требование было соблюдено. Он высказал также пожелание, чтобы М. П. Кудашева приняла участие в подготовке Собрания сочинений к печати, и в 1929 году пригласил ее в Вильнев для личной встречи.

Дважды Мария Павловна приезжала в гости к Роллану. В 1931 году она приехала в третий раз — и больше уже не расставалась с ним.

На экземпляре книги «Махатма Ганди», подаренной М. П. Кудашевой, Роллан сделал следующую надпись (она датирована ноябрем 1929 года):

«Прекрасно все-таки — жить в эпоху Спасителей и Апостолов новых вер, Ганди и Ленина!

А говорят еще о материализме нашей эпохи!

«Имеют глаза и не видят»...

Моя Майя, умей видеть!

Твой Р. Р.».

М. П. Кудашева быстро акклиматизировалась в Вильневе, вошла в круг духовных интересов Роллана. Постепенно она становилась ему все более необходимой. Ему доставляло радость делиться с ней своими мыслями и планами, принимать ее повседневные заботы, диктовать ей письма, видеть, как она хлопочет за чайным столом или орудует садовыми ножницами у цветочных клумб. Он мог часами слушать ее рассказы о Советском Союзе, — на него производило впечатление, что вдова князя и белого офицера так искренне привержена к новому общественному строю. Она читала ему — переводя с листа — советские газеты, книги современных русских писателей. «Мария Павловна очень много сделала для того, чтобы я лучше понял и полюбил новую Россию», — писал Роллан Горькому.

Так появилась рядом с Ролланом женщина — друг,

возлюбленная, помощница, какой ему столько лет не хватало.

Мадлена Роллан не сразу и не без сопротивления уступила чужой русской женщине роль хозяйки дома. И это можно понять: она привыкла заботиться о брате, помогать ему во всех трудах, считать это главным делом своей жизни. Ромен Роллан, со своей стороны, ценил преданность сестры и щадил ее чувства. Отчасти именно поэтому он, пренебрегая пересудами обывателей Вильнева, не торопился оформить свой брак с Марией Павловной: он терпеливо ждал, пока обе дорогие ему женщины привыкнут друг к другу.

В апреле 1934 года Ромен Роллан и Мария Кудашева официально стали мужем и женой. Роллан написал нескольким своим друзьям письма, в которых извещал их об этом событии. Он писал, например, критику Кристиану Сенешалю:

«Сообщаю вам, так же как и г-же Сенешаль, о моем бракосочетании с г-жой Марией Кудашевой. Оно состоялось позавчера в Городской управе Вильнева, в самом тесном кругу. Я рад, что вы уже успели завязать переписку с моей «доброй спутницей». Вы знаете, как она проста и деятельна. Надеюсь, что найдется случай представить ее г-же Сенешаль...» *

Марии — жене и другу — адресовано стихотворное посвящение, которым закончил Роллан свой роман «Очарованная душа». Работа над последними томами этого романа велась при ее живом участии.

1

Ромен Роллан обычно вынашивал замыслы своих произведений годами, а то и десятилетиями. Так было и с «Очарованной душой».

Еще в 1912 году, сразу же после окончания «Жан-Кристофа», он задумал книгу, в центре которой должна была стоять женщина. И притом женщина современная, та, которая переживает в новом столетии «пору загадочной и трагической ломки». Он писал в дневнике 1912 года: «Женщины наших дней завоевывают себе независимость». В этом он видел одну из характерных примет эпохи.

В молодые годы Роллан восхищался широтой кругозора и силой характера Мальвиды фон Мейзенбург, — она умерла в 1903 году, и он навсегда сохранил о ней благодарную память. Такие, как Мальвида, в Европе прошлого столетия были единицами. В веке двадцатом их становилось все больше. Читая лекции в Сорбонне, Роллан наблюдал, как из года в год росло число девушек в его аудитории: молодые француженки — даже и те, которые происходили из обеспеченных семей, — хотели получить образование, работать, а не просто вести хозяйство или блистать в салонах. Тягу к знаниям, к участию в общественной жизни Роллан видел и у своей сестры Мадлены и у ее подруг. Интеллигентные читательницы, захваченные бунтарским пафосом «Жан-Кристофа», писали автору письма, поверяли ему свои думы и заботы. В годы войны Роллан не раз получал письма от

женщин, сочувствовавших его антимилиитаристским выступлениям. (Женщинам — противницам войны он посвятил статьи «Вечная Антигона», «Голос женщины в схватке».) И перед его взором вставала героиня нового склада — мыслящая, деятельная, восприимчивая к прогрессивным идеям века.

Новый роман был начат летом 1921 года — после того как Роллан переехал из Парижа в Вильнев. Он отметил в дневнике «чувство огромного удовлетворения», которое давала ему эта работа. «Незнакомое существо поселилось во мне, и я проникаюсь его жизнью, его мыслями и его судьбой». Снова — как в пору работы над «Жан-Кристофом» — личность, рожденная творческой фантазией автора, стала жить своей жизнью, подчас совершая поступки, неожиданные не только для читателя, но и для самого романиста.

В декабре 1921 года Роллан писал Полю Сейпелю: «Я в течение всего лета был поглощен новым романом, свободным от всяких социальных тревожений (по крайней мере в данный момент: ибо в дальнейшем социальная действительность, хочу я этого или не хочу, напомнит о себе моим детям, — кто может уклониться от нее в наш век угнетения?)» *

Человек живет среди людей, ежеминутно приходит в соприкосновение с обществом. И романист, который желает быть правдивым, *не может* уклониться от социальных тревожений, даже если ему хотелось бы, пусть на время, отвлечься от них. Роллан снова и снова убеждался в этом в ходе своей работы над «Очарованной душой». И через год с небольшим после того, как было отослано Сейпелю цитированное выше письмо, Роллан занес в дневник свой ответ на вопросы одного из парижских журналов о его новом романе.

«Очарованная душа», так же как и мой «Жан-Кристоф», для меня — нечто большее, чем литературное произведение. Это — живое существо... Все мои герои в большей или меньшей мере — независимые души, неминуемо вступающие в конфликт с предрассудками и тираническими условиями общества, в котором они живут; их поддерживает в борьбе присущая им внутренняя сила, крепкая вера, принимающая различный характер, — иногда это любовь, иногда — художественный гений или страсть к правде, иногда даже, как у Кола Брюньона, прочное жизнелюбие и озорной скептицизм

(ибо бесстрашный скептицизм обладает не меньшей крепостью, чем вера). Моя новая дочь, Аннета — той же породы. Ее жизнь будет богата радостями и горестями, изобильна ошибками, не лишена противоречий, — это будет жизнь искренняя и полная испытаний. Ее удел будет нелегким. Но она — сильная французенка. И она вынесет то, что ей суждено» *.

Конфликт Аннеты Ривьер с обществом возникает уже в первом томе романа. Она порывает с женихом Роже Бриссо, которого она любит, но в котором видит задатки удачливого и цепкого карьериста; она отказывается от перспективы стать «министершей», влиятельной дамой Третьей республики, и, пренебрегая мнением света, решает растить самостоятельно ребенка, рожденного вне брака. Так завязывается узел не только нравственных, но и социальных проблем: как будет жить Аннета дальше? Как сложатся ее отношения с буржуазным миром?

Однако Роллан вовсе не намеревался писать роман о борьбе женщины за эмансипацию. Его влекло нечто более значительное, выходящее за пределы «женской» темы: поиски смысла человеческого бытия. В новом романе, как и в «Жан-Кристофе», главным для писателя было не внешнее, видимое течение событий, а внутренняя жизнь героя, его духовные искания, его скрытый от постороннего взгляда душевный мир. Об этом прямо говорится в одном из авторских отступлений: «Желая рассказать историю чьей-либо жизни, мы описываем ее бытия. Мы думаем, что это и есть жизнь. Но это только ее оболочка. Жизнь — это то, что происходит внутри нас».

Рассказать о судьбе, поступках, удачах и неудачах Аннеты Ривьер — это было бы не так трудно. Зато проследить неуловимые движения ее души — и притом так, чтобы это внутреннее, невидимое не отрывалось от внешнего, видимого, а было бы связано с ним, воспринималось бы читателем как достоверность, — вот это было гораздо труднее. И Роллан, работая над новым романом, испытывал, наряду с моментами радости, острые творческие муки. Как познать непознанное, раскрыть сокровенное? Он делился своими раздумьями с Шарлем Вильдраком 10 сентября 1922 года:

«Пишу теперь вторую книгу. Но как тягостно убеждаться, что, как ни старайся, не удастся выразить наиболее существенное, то, о чем мечтаешь, о чем думаешь, чем живешь; отправляешься в путь, чтобы выра-

зять все это, а потом останавливаешься, теряешь дорогу, застреваешь где-то на поверхности. И сюжеты, и персонажи, какие бы то ни было, — не более, чем нескладный повод. Внутренняя суть ускользает. Нужно было бы найти другой язык, другие инструменты, не такие несовершенные, как наши литературные формы и наши слова. Лучшее, что в нас есть, всегда спрятано под оболочкой слов».

В годы работы над «Очарованной душой» Роллан перечитывал книги известного австрийского психолога Зигмунда Фрейда, переписывался с ним.

Его исследованиями Роллан заинтересовался еще в начале века. Он сам вспоминает об этом в письме к Фрейду от 22 февраля 1923 года.

«Я был одним из первых французов, ознакомившихся с вашими трудами. Еще лет двадцать назад я нашел в одной из библиотек Цюриха несколько ваших книг (в частности, «Die Träume»¹) и был зачарован вашим проникновением в мир подсознательного, — оно отвечало некоторым из моих интуитивных догадок. Вы, как Христофор Колумб, открыли новый континент духа. Тут дело обстояло так же, как и с открытием Америки: не один мореплаватель в области искусства и мысли уже подплывал к этому континенту, гонимый ветрами. Но вы первый его распознали и открыли туда доступ исследователям».

Есть основание верить здесь Роллану: он и сам, через творческую практику, подошел к миру подсознательного. Еще в «Жан-Кристофе» он постарался осветить и запечатлеть тончайшие, сложнейшие процессы, происходящие в душе его героя. Труды Фрейда он воспринял как поддержку. Эти труды укрепляли в нем убеждение, что внутренняя жизнь человека, во всей ее изменчивости и подвижности, доступна познанию и представляет первостепенный интерес для художника.

Чувство взаимной личной симпатии связывало Роллана и Фрейда вплоть до смерти последнего в 1939 году. Но уже очень скоро после начала переписки между ними стало обнаруживаться серьезное различие во взглядах. «Он очень пессимистически смотрит на будущность человечества», — записал Роллан в дневник, получив в марте 1923 года письмо от Фрейда.

Последователи венского психолога придавали перво-

¹ «Сновидения» (нем.).

степенное значение подсудным сексуальным импульсам, управляющим будто бы человеческой натурой. Исходя из теоретических положений своего учителя, они старательно фиксировали внимание на том темном, низменном, что находили в глубинах подсознания. Такой взгляд на человека был глубоко чужд Роллану.

Интересно в этом смысле его письмо женевискому литератору и психологу Шарлю Бодуэну от 19 января 1922 года¹. Благодаря Бодуэна за присланную им книгу о душевной жизни детей, Роллан тут же высказывал свои возражения:

«К моему живому интересу примешивается некий бунт, и временами даже — довольно нетерпеливый протест. Мой психологический самоанализ, относящийся к поре детства, и все мои наблюдения почти не согласуются с вашими объяснениями детской психологии».

Заблуждение психоаналитиков, учеников Фрейда, — по мнению Роллана — в том, что они склонны подгонять сложные явления душевной жизни под заранее выработанную схему и особенно в том, что они преувеличивают роль сексуального начала в психике человека, в частности ребенка:

«Скажу вам, дорогой друг, со всей доброжелательной откровенностью: мне представляется грубо ошибочным, и даже возмутительным, это наваждение сексуальными предметами, которое вовсе не присуще ребенку, а нарочито навязывается ему...»

Роллан отвергает фрейдистское учение об «эдиповом комплексе» — о бессознательном нездоровом влечении к матери и неприязни к отцу, которая будто бы свойственна людям с детских лет, отражается в детских мечтах и сновидениях. Он обращается и к собственному жизненному опыту. «Что до меня, если я, будучи взрослым, любил мать, как не любил и не полюблю никого на свете, то я хорошо помню, что в моих ребячьих мыслях она занимала лишь немного места. Меня гораздо больше интересовали дети моего возраста, да и я сам, особенно я сам, и во всех многих мечтаниях (а мечтал я очень много) ни мать, ни отец вовсе не фигурировали. Вы мне, конечно, скажете, что само их отсутствие говорит о вытеснении запретного! Вот черти эти психоаналитики! Ду-

¹ Письма Ромена Роллана к З. Фрейду и Шарлю Бодуэну опубликованы французским врачом Коллет Коркиубер в ее диссертации «Фрейд и Ромен Роллан» (1966).

маешь ли ты о белом или о черном или не думаешь ни о черном, ни о белом, они тебе докажут, что ты в мыслях убил Лайя и спишь с Иокастой!»

Особенно неприемлемым для Роллана было стремление Фрейда и его последователей выдвигать на первый план болезненное и ущербное в человеке, объяснять психику здоровых людей на основе анализа психики больных. «Когда вы говорите, — писал он Бодуэну, — что «патологическое есть заострение нормального», вы тем самым утверждаете, как данное, то, что еще надо доказать. А я это отрицаю. Уж не скажете ли вы, что болезнь — «заострение здоровья»? Если патогенные микробы, вторгаясь в организм, уродуют, инфицируют и разрушают ткани, — можете ли вы, основываясь на этом поле битвы, судить о здоровом организме?»

Противоречивое отношение Ромена Роллана к Фрейду и фрейдизму запечатлелось различными своими сторонами — в двух его письмах к Жан-Ришару Блоку.

Летом 1924 года, вернувшись из Австрии, Роллан рассказывал Блоку о встречах, которые у него были в Вене и Зальцбурге, в частности о беседах с Фрейдом. «Этот великий исповедник душ — сотен душ — бережет в своей ясной памяти громадную коллекцию человеческих документов. У нас был очень содержательный разговор. В частности — о Флобере и Достоевском, об эпилепсии, которой они оба якобы были подвержены. Он неизменно много читает; мне очень дорого, что он безоговорочно одобряет мою «Очарованную душу». Его научный опыт полностью подтверждает мой» *.

Два года спустя, в июле 1926 года, Роллан делился с Блоком мыслями о классическом и романтическом искусстве. «Я целиком согласен с тем, что вы говорите о классике. Если классика — значит здоровая полнота, равновесие, гармония всех жизненных сил, взятых вместе, но упорядоченных, то нет великого искусства, как и великой жизни, которые бы не были классическими. Сегодняшний «романтизм» не может быть противопоставлен этому искусству. Романтизм подлинный (периода «бури и натиска») представлял кризис роста, мощный и конвульсивный. Романтизм 1820-х годов уже носил подражательный характер (что искушалось юношеским пылом прекрасных поэтов-денди). А романтизм

нынешний сильно запятнан манерным снобизмом, который возводит в степень теории свой нарочитый беспорядок и псевдобред. Его отправная точка — не природа, не внутренний порыв, а скорей модные идеи или мании, псевдонаучные или псевдофилософские (как подсознательное у Фрейда), которые он эксплуатирует с холодком и блистательной скукой. Под тем предлогом, что в человеческой душе есть подвалы (если бы он хоть извлек оттуда доброе вино!), он пренебрегает солнцем, да и дождем, теплым дождиком, омывающим прекрасную плоть полей».

Как понять такие различные высказывания? Уж не изменил ли Роллан коренным образом свое отношение к Фрейду — всего за два года? Нет, для такого вывода нет оснований. Роллан высоко ценил и продолжал ценить Фрейда, как «исповедника душ», глубокого знатока человеческой психики, накопившего в доверительных беседах с сотнями пациентов обширный конкретный материал. Однако Роллан относился настороженно-неприязненно к основным теоретическим положениям Фрейда, которые становились предметом моды и спекуляции в литературе новейшего декаданса.

Сам Роллан как мыслитель и художник всегда тянулся к «солнцу», к здоровым, гуманным, жизнедеятельным человеческим натурам, — такими были его Жан-Кристоф и Кола Брюньон, такую он задумал свою Аннету.

Но вместе с тем горький опыт военных лет, а потом и мрачные вести, доходившие из фашистской Италии, побуждали Роллана временами мучительно сомневаться: а может быть, люди и на самом деле предрасположены к темным страстям, разрушению, убийству, легко поддаются аморальным инстинктам и извращениям всякого рода? Может быть, природа человека менее благородна, более противоречива, чем это рисовалось когда-то мастерам классического искусства, и неминуемо включает в себе примесь болезни и зла?

Роллан и не хотел и не мог принять тот пессимистический взгляд на человека, который утверждался в работах Фрейда и его сторонников; он никогда не согласился бы, например, с тезисом Фрейда (высказанным в его статье «Своевременное о войне и смерти»): «уничтожить войну нельзя». Но Роллан все же прислушивался к суждениям психоаналитиков, понимал их, так ска-

зать, отсюда и досюда — не как непреложную истину, а как некую отрезвляющую поправку к классической, чересчур уравнивающей и гармонизирующей концепции человека.

В 1931 году З. Фрейд послал Роллану свою книгу «О неблагоприятии в культуре» с шутливой надписью, — он назвал себя «Landtier» («Земным животным»), а своего адресата — «Океаническим другом». (Это был намек на письма Роллана, где говорилось об «океаническом чувстве», то есть о чувстве причастности отдельной личности к человечеству, к мировому целому.)

Роллан ответил 3 мая 1931 года:

«Ваша любезная надпись с ласковой иронией противопоставляет «Landtier» — «Океаническому другу». Эта антитеза имеется не только между двумя людьми, но и в одном человеке, во мне самом. Ведь и я тоже Landtier из французского захолустья, из древнего центра Франции, наиболее защищенного от дыхания моря! И я тоже — старый француз, со взглядом, лишенным иллюзий, и не сетую, что обхожусь без них...»

Роллан не хотел поддаваться иллюзиям, приукрашивать своих героев. И в «Очарованной душе» он стремился обрисовать людей современного общества правдиво, разносторонне — не обходя «подвалов» их внутреннего мира.

В «Жан-Кристофе» свет и тени были резко разграничены. На первом плане — герой-музыкант и немногочисленные духовно близкие ему люди — Оливье, Грация, старик Шульц, еще несколько эпизодических персонажей. Люди из буржуазной, обывательской среды — немецкие филистеры, парижские снобы — образуют как бы темный фон, на котором выделяются эти светлые фигуры. Типы отрицательные даны в «Жан-Кристофе» по большей части суммарно, обобщенно, без детализации.

К работе над «Очарованной душой» Ромен Роллан приступал, обогатившись большим жизненным опытом. Изображение общества здесь намного конкретнее, чем в «Жан-Кристофе». Точно определено время действия: оно начинается в 1900 году и продолжается не менее трех десятилетий. Наряду с Аннетой Ривьер, ее сестрой Сильвией, ее сыном Марком в романе появляются разнообразные фигуры второго и третьего плана: французские политические деятели, буржуа, интеллигенты раз-

ных поколений. И многие из этих фигур даны объемно, многоцветно, в сложном переплетении светлого и темного, доброго и дурного. Повороты их судеб иной раз парадоксальны. Врач Филипп Виллар, талантливый и смелый человек, пробившийся к славе из низов, пленяющий Аннету Ривьер душевной самобытностью и силой характера, с течением лет приобретает черты хищника и циника, круто поворачивает к реакции почти что фашистского образца. А финансовый магнат Тимон, разбогатевший бессовестными путями, запятнанный множеством нечистых дел, в преклонные годы, ориентируясь силою трезвого разума в современном мире, безбоязненно становится в оппозицию к правящим кругам, пытается удержать их от империалистических военных авантур. Бурная социальная действительность XX века по-разному воздействует на судьбы людей: ломает, искривляет и губит одних, выпрямляет и духовно возвышает других. Читатели «Очарованной души» убеждаются в этом на разнообразных примерах.

«Смерть одного мира» — так озаглавил Ромен Роллан одну из книг своего романа, где действие происходит уже после окончания первой мировой войны. Он не дает читателю забыть, что общество, о котором идет здесь речь, — общество отжившее, осужденное историей на гибель. Рисую нравы послевоенной капиталистической Европы, Роллан часто пользуется выражениями — «лес», «джунгли», сравнивает своих персонажей со зверями. Тут немало мрачных, даже грубых эпизодов, показывающих моральный распад буржуазного мира, диние забавы богачей, опустошенность молодого «потерянного поколения». Можно спорить — всегда ли такие эпизоды отвечают требованиям строгого художественного вкуса. Но важно, что Роллан, уделяя немало внимания стихии низменного, завладевающей людьми, не рассматривает это низменное как нечто неизбежно присущее человеческой природе. Тяжесть его обвинений падает не на самого человека, а на те исторические, общественные условия, которые развязывают в людях дурные инстинкты и злые страсти. Именно власть буржуазных джунглей превращает труженицу-швею Сильвию в самодовольную мещанку, а скромного деревенского парня Симона Бушара — в уголовного преступника.

При всей широте социальной картины, развернутой в «Очарованной душе», главным для Роллана все-таки

остается Аннета Ривьер, ее внутренний мир, ее духовная эволюция.

В обрисовке характера Аннеты и ее личной судьбы, пожалуй, наиболее явственно сказывается и тяготение Роллана к «глубинной психологии» Фрейда и серьезное расхождение с ней.

Местами в романе резко акцентируется стихия Эроса, без остатка подчиняющая себе героиню. Умная и смелая Аннета иной раз оказывается беспомощной перед лицом бурлящих в ней «подспудных сил» — об этом говорится пространно, не всегда с достаточным чувством меры. Вместе с тем взаимоотношения Аннеты со всеми близкими ей людьми — даже и с единственным, горячо любимым сыном, даже и с сестрой Сильвией — складываются остродраматично, осложняются резкими столкновениями взглядов и самолюбий, разочарованиями, ссорами, мучительными разрывами. Понятно, что Фрейд мог усмотреть в первых книгах романа нечто близкое своим воззрениям, в частности идее «амбивалентности» чувства, согласно которой всякая или почти всякая, будь то родственная или любовная, привязанность человека к человеку включает элемент отталкивания, неприязни.

Однако Роллан в изображении своей героини исходит в первую очередь не из тех или иных предвзятых концепций и не из исконных роковых сил, а из объективной логики характера. Им движет прежде всего желание не сглаживать, не упрощать жизненных явлений. Аннета задумана как эмоциональная, душевно щедрая натура. Она далека от аскетизма и менее всего похожа на ученый «синий чулок». В ее характере заложена громадная потребность любви — и женской, и дружеской, и сестринской, и материнской, — большая способность к преданности и самоотдаче. И вместе с тем — свободолюбие, жажда независимости. Она очень требовательна — и к себе и к тем, кого любит. Она готова многим жертвовать, но не хочет никому подчиняться. Разнообразные конфликты, которыми насыщена жизнь Аннеты, очень точно мотивированы в романе и особенностями ее душевного склада и условиями времени и среды, в которых она живет.

Роллана, естественно, обрадовало, что первые книги «Очарованной души» — холодно встреченные буржуазной критикой — заслужили одобрение писателей, родственных ему по духу.

Прочитав первую книгу романа «Аннета и Сильвия», Горький писал Роллану 28 августа 1923 года: «Прочитал «Очарованную душу». Не понимаю еще вашу задачу, но чувствую ее обширность. Очень ощутимо написана Сильвия, сестра ее еще не ясна для меня, но значительность ее души вижу...» В письме от 20 мая 1924 года Горький высоко оценил следующий том романа, «Лето». «Думаю, что вами написана одна из тех редких и мудрых книг, которые, повелительно требуя серьезного и вдумчивого читателя, живут долго... Аннет — монументальна. Она живет на каждой странице. Вы придали этому образу физическую ощутимость; эту женщину видишь, чувствуешь около себя. Не знаю, не помню — где еще была бы рассказана с такою исчерпывающей полнотой драма борьбы интеллекта против инстинкта и не менее тяжелая драма матери в ее отношении к сыну. Это, на мой взгляд, великолепно удалось вам».

Реалистическую полнокровность образа Аннеты хорошо сумел почувствовать и Роже Мартен дю Гар. Он написал Роллану 15 января 1923 года:

«Я только что дочитал «Аннету и Сильвию», во мне еще не остыло волнение последних страниц... К этой книге отнеслись в целом несправедливо. Она не просто удачна, она *трепетна*. Она вся как живое существо, в ней есть ритм самой жизни, иногда немного замедленный, иногда поспешный, задыхающийся, но всегда мощный, глубокий, насыщенный энергией, как биение сердца. Первая часть — чудо свежести и молодости; а во второй части вы достигли вершин, которых никто до вас не исследовал с такой уверенностью, с такой удивительной способностью воплощения. Я, наверное, никогда не забуду обручения Аннеты и ее разговора с женихом. После таких страниц стоит ли придавать значение некоторым длиннотам и натяжкам, которые попадают то там, то здесь! Это пустяки. Самое важное — жизненный порыв, который одушевляет, например, все творчество Толстого. А в вашей книге это есть...» *

Обширный замысел «Очарованной души» не мог полностью раскрыться в первых двух книгах, — Горький не зря сделал оговорку, что задача большого романа поначалу еще не вполне ясна. Вдобавок Роллан не без умысла дал своему большому произведению несколько загадочное название.

В самом деле: почему и чем «очарована» Аннета

Ривьер? По плану романиста она должна была на протяжении всей своей жизни идти от одной мечты к другой, двигаясь вперед через неудачи и поражения, ставя перед собой все новые цели.

Роллан писал об этом Стефану Цвейгу 3 марта 1924 года:

«Не требуйте от меня, чтобы я написал нового «Жан-Кристофа», с многими фактами внешней жизни, многочисленными персонажами, со зрелищем современного мира, тысячу раз меняющим декорации! Мое намерение и воля — иные. Я хочу сосредоточиться на внутренней вселенной одной «очарованной души», которая срывает, один за другим, покровы Майи, находя каждый раз иные, пробуждаясь от одной иллюзии, чтобы впасть в другую (как иногда спишь и переходишь от одного сновидения к другому), пока она не проснется обнаженной, откинув все миражи своей жизни. Подлинный смысл должен раскрыться лишь к концу, — согласно народному изречению, которое я напоминаю в предисловии к «Аннете и Сильвии»: «вечер хвалит день». Свет заходящего солнца озарит все небо. Поэтому для меня не может быть речи о том, чтобы отвлечь читателя от этой сосредоточенности на одной душе, ибо именно в этой сосредоточенности — моя цель. Если я ему наскучу или утомлю его, значит я не прав. Я не стараюсь заранее зачитывать художественное решение моего замысла, пусть читатель сам об этом судит. Но мой замысел твердо определен, и, если я буду жить, он будет выполнен»*.

А менее трех недель спустя — 22 марта — Роллан писал тому же адресату:

«Чем дальше я двигаюсь, тем более интересной я нахожу нашу эпоху, — она полна жизни, полна сил, новых и старых. Хаос меня не страшит. У меня, как у старого Кристофа, глаза совы, которые и ночью умеют видеть...»

Далее Роллан жаловался на плохое здоровье, на постоянные бессонницы, которые не дают ему работать в полную силу, — а ведь так много еще хочется сделать!

Сейчас нужно писать не о прошлом, утверждал он, а именно о современности — бурной, движущейся:

«Нынешний мир — грозная ночь, которую прережут молнии; и мы не можем обозреть ни пространств, раскрывающихся при их мощных вспышках, ни новых

планет, которые видны в промежутках между тучами»*.

Это второе письмо к Цвейгу помогает понять, почему Роллан в ходе дальнейшей работы над «Очарованной душой» во многом отошел от своего первоначального замысла — вернее, расширил его. Современная эпоха увлекала писателя-гуманиста, заставляла его напряженно размышлять; роман об Аннете Ривьер вбирал в себя эти размышления, заселялся все новыми персонажами, — картина эпохи получилась не менее, а более конкретной, объемной, чем та, какая была дана в «Жан-Кристофе». Сосредоточиться целиком на истории одной души Роллан не смог — в конечном счете и не захотел. Правда, сохранилась главная линия сюжета, которая была заранее намечена: история искренней, любящей, мыслящей женщины, которая идет вперед через горести и разочарования. Но само содержание поисков Аннеты Ривьер по ходу развертывания романа намного обогатилось.

Уже в «Лете» Аннета обретает новый для нее социальный опыт. Она уже не может ограничиться поисками личного счастья или самостоятельного положения в жизни:

«С того часа, как Аннета начала погоню за куском хлеба, началось для нее и подлинное открытие мира. Любовь и даже материнские чувства не были открытием. Они были заложены в ней, а жизнь только выявила какую-то малую долю того и другого. Но едва Аннета перешла в лагерь бедняков, ей открылся мир».

И мир этот — как становится ясно роллановской героине — устроен несправедливо.

Потенция бунта накапливается в Аннете в те горькие годы, когда она мечется по Парижу в поисках заработка, снося унижения, то и дело сталкиваясь с такими же, как она, интеллигентными пролетариями. В момент, когда начинается первая мировая война, Аннета, закаленная жизненными испытаниями, готова к борьбе, к действию, хоть и не знает сама, к какому.

Роллан не желает выпрямлять путь своей героини. И она и ее юный сын Марк на первых порах готовы воспринять войну как некую ободряющую встряску, «сигнал к пробуждению скованных сил»... Отрезвление наступает не сразу, и у каждого из них по-своему. Марк тянется к революционно настроенным рабочим, хотя ему и нелегко найти душевный контакт с ними. Аннета ищет

выхода для своих стихийных антивоенных чувств в индивидуальных подвигах милосердия. Она помогает беженцам, заботится — наперекор разъяренным мещанам-шовинистам — о немецких пленных, берется устроить в Швейцарии встречу двух друзей, разлученных войной, — немца и француза. Все это хорошо и благородно — именно в таком духе действовали интеллигентно-филантропы из разных стран, работавшие в годы войны вместе с Ролланом в Международном Красном Кресте. Но писатель логикой действия ставит перед своей героиней вопрос: не мало ли этого? Аннета мечтает о бескровной Революции человечества, о пробуждении добрых чувств в людях. Она хочет быть Матерью всех страждущих, искалеченных войной. И сама чувствует, сколько наивности в этих мечтаниях.

Роллан не раз в статьях и особенно в письмах говорил о том, как тесно связаны пути Аннеты и Марка с его собственным жизненным опытом. Эта связь становится очевидной в двух последних книгах — «Смерть одного мира» и «Роды». В развитие сюжета естественно вплетаются многие реалии современной романисту действительности: первые западные отклики на революцию в России, победа фашизма в Италии и выступления авангарда европейской интеллигенции против него, гандистское движение в Индии и вызываемые им отзвуки в странах Европы, англосоветские происки империалистических держав, первые заметные успехи социалистического строительства в СССР и их влияние на передовую мысль Запада... Эти два тома насыщены страстной авторской публицистикой — Роллан заставляет своих героев взволнованно размышлять и спорить, вмешивается в эти размышления сам, как повествователь, даже вводит себя как действующее лицо и вступает в беседу с Марком Ривьером, а потом и с Аннетой, чтобы морально поддержать их.

Оба главных героя «Очарованной души» как бы воспроизводят в главных чертах путь самого писателя: они выходят из «пустыни индивидуализма», покидают позицию «независимости духа», чтобы включиться в активную борьбу за социальное переустройство мира.

В последнем томе, «Роды», Марк Ривьер, уже проявивший себя в качестве антифашистского публициста, продолжает мучительно размышлять над проблемой революционного насилия. Он горячо желает, чтобы ему не

пришлось на боевом посту проливать ничью кровь, кроме своей собственной.

Аннета, Марк и его жена Ася едут на отдых в Италию. Они убеждены, что им не грозит там никакой опасности, — они верят, что в государстве Муссолини соблюдаются хотя бы элементарный порядок и законность. Но не успели они переехать через границу, как чуть не попадают в полицейскую ловушку, подстроенную провокатором Буонамиго. Проходит еще несколько дней — и Марк, заступившись на улице за подростка, избиваемого чернорубашечниками, гибнет сам, получив удар кинжалом в сердце. Он не пролил ничьей крови, но поплатился жизнью. А убийцы остались безнаказанными.

Смерть Марка становится для Аннеты последним трагическим уроком. Подобно горьковской Пелагее Нилловне, она встает в строй, чтобы продолжать дело сына.

Финалу «Очарованной души» Роллан придавал большое принципиальное значение. Еще в 1927 году, обдумывая конец романа, он писал Софии Бертолини, что книга будет носить «характер завещания», ибо он выскажет в ней «самую суть своей мысли» и даст «цели-целостную оценку современных поколений».

А 30 декабря 1933 года Роллан сообщал Горькому: «Я окончил мой длинный цикл романов «Очарованная душа». Два последних тома только что вышли в Париже... То, что я написал, это новая «Ярмарка на площади», но более жестокая; и она распространяется далеко за пределы одной нации — на весь мир. Из двух моих героев один герой — сын — падает в пути, окровавленный, но освобожденный. Другой герой — мать — продолжает путь, идет дальше, как бы держа на руках тело сына, но нравственно поддерживаемая им, его духом. («Роды», название последней части, посвящается не только рождению нового мира, но и таинственному «возрождению» умершим сыном матери, одетой в траур...»)»

Роллан хотел, чтобы его верно поняли, чтобы его поняли до конца. И после выхода последних двух томов «Очарованной души» он несколько раз их комментировал в письмах к различным лицам.

22 января 1934 года он писал американскому исследователю У. Х. Беквиту:

«Разрешение противоречия, существующего между индивидуализмом и коммунизмом, — таков предмет двух

последних томов «Очарованной души». Марк и Аннета ценою крови и душевных мук одерживают трудную победу, отказываясь от бессильного, бесплодного индивидуализма, который был идеалом и смыслом существования для буржуазной элиты вчерашнего дня. Индивидуализм имеет шанс возродиться, лишь преобразуясь, претворяясь в социальный коллектив, находящийся в походе и

V. Ulenov (Vlad) villa Olga
Dimanches. 26 mai 1922

Cher Maximilien G. Ulenov,

Je vous remercie de votre aimable lettre du 24 novembre, et je suis heureux des nouvelles que vous me donnez. J'espère aussi que le livre ira bien son chemin. J'ai reçu certains: Israël, Kis Malanensis, notamment de M. G. Berton. En ce qui concerne de la maison Harrold, à qui je n'aurais pourtant pas fait envoyer le volume. Vous pouvez donc, à l'occasion, lui demander (s'il ne l'a fait) de faire prendre un bon nombre d'exemplaires dans les bibliothèques de genre.

En voici une lettre du Carnet critique dont je ne puis lire la signature. Voulez-vous faire envoyer un exemplaire à cette revue.

Начало и конец неопубликованного письма Роллана по поводу издания «Очарованной души». (Подлинник — в коллекции проф. Ю. Кучинского, ГДР.)

в бою, — точнее, вливаясь в растущие части социального организма (ибо у этого организма, постоянно изменяющегося, есть и мертвые, и цветущие ветви: надо делать выбор между смертью и жизнью). Стихи в конце — не загадка. Они понятны, или будут понятны, тому, кто знает, или будет знать, какие тяжкие духовные бои мне пришлось выдержать (подобно Марку, но в более зре-

Liveright, de New-York, 105 West 40th Street, qui m'a déjà publié ma Lilith, et qui depuis longtemps ne demande ni de mes romans. Si Mill j'obtenez le change de négociation, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais, en ce cas, on peut accélérer la réponse par retour de courrier, ou par câble.

— Voulez-vous avoir l'obligeance de m'expédier (dans les conditions les plus sûres) les jeux de cartes hollandais, de A à I. Je vous en remercie d'avance, ainsi que des autres exemplaires qui viennent d'arriver.

— Je n'ai pas trouvé dans votre enveloppe la copie de lettre d'Italie, concernant Berton que vous m'annonciez. Voulez-vous me l'envoyer un plus tôt, lorsqu'il s'agit d'une affaire à éclaircir.

Au revoir, cher Maximilien G. Ulenov, et
votre dévoué, à tout jamais, et
à tout jamais, à tout jamais

Maximilien G. Ulenov

La lettre que
vous m'avez envoyée de la guilde Harrold. Vous n'avez pas

лом возрасте, и на основе гораздо более обширного опыта) — бои с самим собой, со всем тем, во что я верил, во что я хотел и не мог больше верить, — начиная с конца войны. Вся моя жизнь прошла в бою — ради того, чтобы избавиться от сетей лжи, которыми нас опутали общество и воспитание».

Буржуазные идеологи много раз утверждали: коммунизм уничтожает личность, требует ее беспрекословного подчинения, растворения в коллективе. Такого рода рассуждения Роллан не раз слышал, впрочем не только от прямых противников коммунизма, но и от ультралевых сектантов и догматиков — Гильбо, Бернье, Мартине. К концу двадцатых годов эти люди, один за другим, порвали с коммунистическим движением и утратили право говорить от его имени.

Тесный духовный контакт с Горьким, переписка с советскими читателями-друзьями — все это укрепляло в Роллане убеждение, что «противоречие между индивидуализмом и коммунизмом» не столь неразрешимо, как ему это казалось раньше. Личность не уничтожает и не теряет себя, а, напротив, обретает новую силу, когда включается в общую борьбу за справедливое переустройство мира. К такому выводу приходят герои «Очарованной души» в последних томах романа.

Об этих томах Роллан писал 22 декабря 1934 года еще одному американскому корреспонденту, журналисту Люсьену Прайсу:

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что в эти книги (наряду с «Неопалимой купиной») я вложил самое сокровенное, что во мне есть; конечно, много страданий, много мук, горький опыт всей жизни, и вместе с тем веру, которая вновь и вновь возрождается из пепла (см. эпиграф к «Неопалимой купине»). Показательно, что вокруг этих книг воцарилось почти что гробовое молчание, — тогда как предыдущая книга, гораздо более слабая, возбудила некоторый шум. Дело в том, что в предыдущей книге я только лишь произносил уничтожающий приговор *«Миру, который умирает»*. А обвинение по адресу существующего социального строя, видимо, легче стерпеть, чем утверждение нового Революционного порядка. То, что Ромен Роллан присоединился к нему и стал его поборником, — это факт опасный, который по политическим соображениям, насколько возможно, игнорируется».

Итак, сам Роллан считал «утверждение нового Революционного порядка» одной из кардинальных, итоговых идей «Очарованной души».

Какими средствами выражена эта идея?

О величии Октябрьской революции, о влиянии Советского Союза на лучшую часть интеллигенции Запада в романе говорится по преимуществу в публицистической, обобщенной форме. Говорится с глубокой, искренней убежденностью.

В третьем томе, «Мать и сын», появляется в качестве эпизодического лица французский рабочий — социалист Питан — представитель того революционного меньшинства, которое борется против войны. Не такого ли склада люди в свое время писали автору «Над схваткой» ободряющие письма, называя его «товарищем»? Питан очерчен эскизно, но с самой живой авторской симпатией. Он относится с полным пониманием к гуманистическим порывам Аннеты, оказывает ей поддержку в добрых делах, — хотя его собственная деятельность и шире и значительнее.

Гораздо более сложной задачей для Роллана было представить в живых людях новое, советское общество. Для этого требовалось такое знание материала, каким он, живя в Швейцарии, не мог обладать.

Вместе с тем СССР занимает в «Очарованной душе» столь важное место — как проблема, как сила, как побеждающая реальность, — что романисту невозможно было обойтись без персонажей, связанных, прямо или косвенно, с Советской страной.

В последних двух томах на передний план действия выдвигается наряду с Аннетой и Марком Ася Волкова — молодая русская женщина, прошедшая через огонь и кровь гражданской войны, унижительное бездорожье эмиграции, нищету парижских трущоб.

«Меня иногда спрашивают, — сказала мне в личной беседе вдова писателя, — не я ли прототип Аси? И я всегда отвечаю: нет, между мной и Асей нет ничего общего».

Сходства между Марией Павловной и Асей на самом деле нет, ни в смысле биографии, ни в смысле характера. И ведь мы знаем, что Роллан не любил придавать своим персонажам портретную похожесть на реальных людей. Но для Марка Ривьера, как и для Романа Роллана, жена, русская по национальности, становится посредницей между ним и миром социализма.

На пути идейных поисков Марка и Аси встает личность, обрисованная с некоторой примесью экзотики, единственный советский гражданин в большом романе — Дито Джанелидзе, сын бакинского мясника, в прошлом профессиональный революционер незаурядной отваги и вместе с тем человек циничного и деспотического склада.

Зачем понадобился Роллану такой персонаж? Можно ли считать, что романист здесь в последний раз отдал дань своим былым антикоммунистическим предубеждениям?

Видимо, дело обстоит не так просто. Роллан, как мы знаем, не раз сталкивался с догматиками, узколобыми сектантами, подчас и с политическими авантюристами, которые подменяли идеи Маркса и Ленина извращениями в духе грубой уравнительности.

Именно таков Джанелидзе. Мораль для него — пред-рассудок. Человек для него — щепка. «Это был один из тех безыменных и неизвестных, кто втихомолку оплетал мир паутиной наблюдения, отбивая мух у другого паука — Интеллидженс сервис Британской империи...»

Роллан не берется судить, действительно ли нужны Советскому государству, хотя бы на отдельных опасных участках, деятели такого типа и пользуются ли они влиянием в стране. Но для Роллана бесспорно: на пути зарубежных «людей доброй воли» к революционной мысли и революционному действию такие, как Джанелидзе, образуют барьер, тормоз. И если Марк и Ася идут на сближение с социалистическим миром, то не потому, что властный кавказец вмешался в их жизнь, а — наперекор этому вмешательству.

Ася по сравнению с Джанелидзе и умнее и благороднее. Она со всей искренностью тянется к покинутой родине, необычайно высоко ставит «животворную энергию Советского Союза, энергию тех, кто действует». Но и она — по крайней мере в тот момент, когда она впервые появляется в романе, — склонна считать идеалистическим хламом понятие «душа» (а быть может, и такие понятия, как «доброта», «чуткость»), она подчас суха и резка в своем отношении к людям, не любит искусства...

В содержательных диалогах, которые ведут Марк и Ася, Аннета и Ася, обнаруживается сложное взаимодействие их характеров и воззрений. Ася помогает Аннете и Марку увидеть, насколько абстрактен и беспомощен идеал «независимости духа». Но сама она, прислушива-

ясь к ним, постепенно вырабатывает в себе более широкий и гуманный взгляд на вещи.

Очень важный эпизод — спор Аси с банкиром-фашистом Дзара, случайным спутником по поездке в Италию, — незадолго до смерти Марка. Наперекор Дзара, который рассматривает народы как стадо, подчиняющееся волевым натурам, *animatori* (возбудителям), — Ася отстаивает нравственное содержание пролетарской революции: «Я не нуждаюсь ни в каких *animatori*... И мы боремся в СССР не ради того, чтобы вылепить статую самовлюбленного лицедея. Мы боремся за всех людей, за лучшее будущее».

После смерти Марка Ася покидает Францию, возвращается — в итоге сложных перипетий — в Советский Союз: об этом рассказано скороговоркой и без большой достоверности. Гораздо ближе сердцу автора и интереснее читателю Аннета Ривьер, нашедшая свое место среди борцов за новую жизнь.

Аннета вовсе не принимает идеи коммунизма как готовую истину или некую новую веру: она старается внести свой вклад в осмысление и утверждение этой истины. «Ее прямота, ее женский ум, практический и склонный к упрощениям, немало способствовали необходимым сдвигам в отношениях между партиями. Равнодушная ко всем и всяческим ярлыкам и бюрократическому формализму, Аннета побуждала деятелей обоих Интернационалов, братьев и врагов, показать себя на поле действия. О теории еще успеет поспорить!» (Именно в этом направлении работали в начале тридцатых годов Роллан и Барбюс, закладывая основы единого фронта трудящихся против империалистической войны и фашизма.)

Болезнь и смерть прерывают деятельность Аннеты. Многое, что она не успела сделать, остается на долю ее молодых друзей, внуков, воспитанников. Картины умирания Аннеты выражают в поэтически приподнятой манере — через цепь сложных образов — излюбленную Ролланом мысль о непрерывности, вечной возобновляемости бытия. Человек — часть великого целого, дело его жизни не пропадает даром, оно будет продолжено другими. И ведь недаром Роллан дал своей героине фамилию Ривьер, что значит река, символ непрерывного движения.

Вскоре после выхода последних томов романа — 16 декабря 1933 года — Роллан писал Кристиану Сенешалю:

«Есть пословица в Абрудцах, которую я включил в свою коллекцию девизов: «Кто сомневается, тот не пропадет». Ее глубокий смысл недоступен почти всем религиозным мыслителям Востока, да и большинству западных тоже. Но в ней есть своя религиозность. Во всяком случае, этот девиз необходим для поддержания здоровья и искренности духа. Вы найдете трагический комментарий к нему на страницах, которые следуют за смертью Марка, в бунте принципа «Что я знаю?» против завораживающей флейты Кришны. Да будет вера! Но сомнению — свое место! Слишком уж легко быть уверенным в том, чего *не знаешь*. Это называется героизмом веры. Но самый высокий героизм — тот, который обходится без веры. И я даже хотел бы, чтобы у самого верующего человека хватило смирения (настоящего христианского духа!), чтобы сказать своему Богу: «Боже, я не знаю... Не знаю, существуешь ли ты... Ты сам, сам знаешь — и *да сбудется воля твоя!*»

Эта на первый взгляд очень неожиданная хвала сомнению ни в коем случае не перечеркивает того, что утверждает Ролланом в финале «Очарованной души»: он же сам, под конец письма, добавляет: «Кола Брюньон, Сильвия, Аннета выражают это единство сомнения и веры, каждый из троих по-своему»*.

Роман об Аннете Ривьер — вечно движущейся Реке — был закончен.

Поиски Роллана продолжались.

2

Ленин и Ганди. Эти два имени нередко стоят рядом в статьях, дневниках, письмах Романа Роллана. Он видел в них обоих «спасителей и апостолов» современного человечества. И в те годы, когда он работал над последними томами «Очарованной души», по мере того, как он становился ближе к Советскому Союзу и идеям Ленина, — он не отворачивался от Ганди, но стремился разобратся, насколько опыт гандизма применим в нынешней борьбе народов за мир и социальный прогресс.

В письме к швейцарскому журналисту, почитателю Ганди, Эдмону Прива (от 5 мая 1931 года) Роллан делился своими размышлениями по этому вопросу. Учение Ганди показало свою эффективность в Индии, — там оно

связано «с развитием религиозной мысли и вековыми традициями социальной жизни». Но надо еще выяснить, «отвечает ли оно потребностям современной деятельности в Европе». Ганди, писал Роллан, привык к патриархальным правам, которые не исключают известного добродушия в отношениях между классами. «Ганди еще не сталкивался с той новой Силой, имя которой Деньги, Силой безличной и безжалостной». Можно ли посредством гандистского ненасилия сладить с анонимной властью современного капиталистического государства? Или с итальянскими чернорубашечниками? Роллан вспоминает о Ленине, о России в октябре 1917 года, ссылаясь на «прекрасную книгу Джона Рида»: решение, принятое Лениным, было исторически справедливым, ибо в тот момент «бездействовать означало предоставить поле действия злу».

Роллан и Ганди давно собирались встретиться. Эта встреча состоялась в декабре 1931 года — Ганди приехал в Вильнев. Роллан подробно воспроизвел в дневнике весь ход бесед со своим гостем.

«...Он поднимается ко мне, — я слышу на лестнице его негромкий отрывистый смех, — и я усаживаю его на большое вращающееся кресло у письменного стола. Он тут же снимает сандалии и поджимает под себя скрещенные босые ноги, кутаясь в бурнус. Он в больших очках, составленных из двух полукружий, дающих возможность видеть и вблизи, и вдали. Кожа скорей загорелая, выдубленная солнцем, чем темная от природы... Нос прямой, немного вдавленный, приплюснутый на конце, с большими ноздрями. Уши широко оттопырены. Лоб большой, прочно построенный, с глубокими складками, которые появляются, когда он говорит; но щеки и все остальное лицо, словно литое, без той сети морщин, какая бывает на наших европейских лицах. Впечатление хрупкости, возникающее вначале, обманчиво: этот человек крепок. Руки, большие и худые, которыми он прижимает к себе бурнус, костлявы и жилисты, мускулы напряжены. Своим постоянным трепетом они (как и ноги, спрятанные под бурнусом) выдают нервозность этого человека, столь спокойного (хотя и оживленного) и всегда владеющего собой».

Оба собеседника излагали друг другу свои взгляды пространно, не торопясь. Ганди говорил по-английски, Мадлена Роллан переводила; два секретаря Ганди

и Мария Кудашева записывали ход каждого разговора.

Роллан спрашивал:

«В 1917 году рабочий пролетариат создал, ценою страшных мук, новый мир, сильно вооруженный. Это вооружение — необходимость, навязанная ему старым миром. Военные интервенции четырех или пяти великих держав в России, постоянные заговоры, дьявольские хитрости денежных империй, которые хотят уничтожить СССР, — СССР защищается. Что можем делать мы, люди Запада? Скрестить руки, стоя между двумя лагерями? Советовать СССР скрестить руки? Мы чувствуем, что его гибель означала бы гибель надежд всего мира. Объявить забастовку силами наших рабочих масс, чтобы помешать враждебным действиям против России? Пусть так, но надо же понять, что это будет означать восстание, гражданскую войну...»

В первый день бесед, который был для Ганди, согласно принятому им режиму, «днем молчания», он спокойно слушал, делал записи в блокноте и ответил лишь на следующий день. Он подтвердил, что придает принципу «ненасилия» универсальное значение. Только ненасилие может спасти Европу — иначе она погибнет. «То, что происходит в России, — добавил он, — загадка. Я мало высказывался о России, но отношусь с глубоким недоверием к успеху ее эксперимента».

Другим предметом обсуждения была Италия и фашизм. Роллан предостерегал своего гостя против задуманной поездки в Рим, напоминал ему, как итальянские власти, за пять лет до того, постарались ввести в заблуждение Тагора.

Ганди не изменил намеченного маршрута.

Дружески распровавшись с Ролланом и его сестрой, он вместе со своими спутниками выехал из Женевы в Милан, а оттуда в Рим. Через несколько дней Роллан стал получать из Италии письма и газеты, сообщавшие, что Ганди был у Муссолини и беседовал с ним. А потом и сам Ганди, в письме, которое он отправил на виллу «Ольга» с парохода, по дороге домой, рассказал о своем визите к итальянскому диктатору:

«Муссолини для меня загадка. Многие из реформ, которые он провел, меня привлекают. Он, кажется, много сделал для крестьянского класса. В самом деле, перчат-

ка у него железная. Но так как сила (насилие) является основой западного общества, реформы Муссолини заслуживают беспристрастного изучения. Его забота о бедных, меры, которые он принимает против перенаселенности городов, его стремление добиться координации капитала и труда, все это, по-моему, требует специального внимания. Я желал бы получить от вас разъяснение по этим вопросам...»

Итак, Ганди, вслед за Тагором, поверил демагогу-дуче! Роллан был удручен и начал было писать Ганди длинное письмо с подробным анализом сути и методов итальянского фашизма, но получил известие об аресте Ганди в Индии. Тут уже было не до споров о «корпоративном государстве» Муссолини: надо было поддержать индийских друзей в их борьбе. И Роллан стал писать статью за статью в защиту борцов за независимость Индии (эти статьи — всего их было девять — появлялись под общим названием «Вести из Индии», в журнале «Эроп» с февраля 1932 по апрель 1934 года).

Все это время Роллан — как бы ни был он занят разными другими делами — внимательно следил за развитием событий в Индии, читал прибывавшие оттуда газеты, журналы, получал много писем от разных лиц. И для него становилось все очевиднее, что Ганди как мыслитель и политический деятель во многом уязвим, что в европейских делах он разбирается слабо, да и не всякое его суждение по проблемам его собственной страны можно принимать как непреложную истину.

Показательно письмо Роллана к мисс Грэйвс от 29 сентября 1933 года:

«Разумеется, Ганди — святой. Он предпринял героическую задачу — примирить святость (в смысле моральном) с политикой. Но ему это не удалось. При всем почтении, с которым я отношусь к нему, я должен признать, что политическое движение Индии должно, чтобы жить и победить, выйти за установленные им границы; так и поступают в настоящее время все молодые активные партии. В дальнейшем Ганди постепенно сосредоточится на религиозных благотворительных задачах, не связанных с политикой»*.

Но вместе с тем Роллан считал необходимым — в интересах самого индийского народа — оберегать моральный авторитет Ганди от необдуманных нападков слева.

В ноябре 1933 года Роллан получил письмо от моло-

дого индийского коммуниста Саумьендраната Тагора (племянника великого писателя), находившегося во Франции: автор письма самым резким образом, с сектантской нетерпимостью осуждал Ганди и его идеи и призывал Роллана выступить в печати против этих идей.

Роллан ответил в спокойном и решительном тоне. Он заявил, что питает к Ганди как личности глубокое и неизменное уважение. Он посоветовал Саумьендранату Тагору вернуться в Индию, присмотреться, не на расстоянии, а вблизи, к развитию освободительной борьбы, встретиться с Ганди лично, обменяться с ним мнениями по спорным вопросам, но ни в коем случае не поднимать кампании против него, чтобы не раскалывать сил индийского национального движения.

«Роль, какую я избрал себе в нынешних битвах, — писал Роллан, — пусть вам, с вашей молодой непримиримостью, и будет трудно это понять, — заключается в том, чтобы быть связующим звеном между двумя Революциями, той, которая была начата Ганди, и той, которая была начата Лениным, чтобы они вступили в союз во имя уничтожения старого мира и создания нового строя.

Эту свою роль я публично отстаивал и перед Западом и перед Россией. На Международном конгрессе против империалистической войны в Амстердаме в 1932 году, одним из инициаторов которого был я, наряду с Барбюсом, я призвал к борьбе всех организованных сторонников Ненасилия (отказывающихся от военной службы, а также гандистов) и Революционного насилия — все партии, которые полны искренней решимости вести эту борьбу до конца, предоставляя каждой стороне пользоваться избранной ею тактикой. Я добился того, что Конгресс принял эту точку зрения, как боевой план. В том состоянии кризиса, в котором находится нынешняя Европа, где сопротивление (какое бы то ни было) империалистической войне и фашизму организовано очень слабо (идет ли речь о сопротивлении насильственным или ненасильственным) — право же, не следует этим армиям уничтожать друг друга! Они должны, пусть на время, вступить в союз против угрожающего им общего врага».

Амстердамский конгресс, о котором говорит здесь Роллан, — это было заметное и в некотором смысле знаменательное событие международной политической жизни начала тридцатых годов. И Роллан и Барбюс положили

на его организацию немало времени, а главное — душевных сил.

Коммунисты, социалисты, пацифисты разных оттенков, марксисты и сторонники Ганди, верующие и атеисты, люди разных национальностей, возрастов, профессий — всего 2200 человек из двадцати стран (включая различные государства Европы, а также США, Индию, Индонезию, Китай, Японию) собрались в августе 1932 года в Амстердаме, воодушевленные единой целью — не допустить нового всемирного побоища, прекратить захватнические войны, вспыхивающие то там, то здесь в разных концах мира. Конгресс принял Декларацию, текст которой был написан Ролланом. Советская делегация на конгрессе не присутствовала — правительство Голландии не дало ей виз. Но собравшиеся заслушали приветствие, присланное Горьким; в Декларации было особо отмечено, что долг трудящихся и эксплуатируемых всех стран — «охранять СССР от всех угроз, которые таит в себе створ империалистов».

Люди разных убеждений могут и должны — оставаться верными своим убеждениям — объединиться ради принципа *общих*, насущно важных задач. Таков был принцип, предложенный Роменом Ролланом. Этот принцип единства действий был принят коммунистическими партиями различных стран, представители которых участвовали в Амстердамском конгрессе, и теми рядовыми социал-демократами, которые участвовали в нем вопреки воле руководства II Интернационала.

Так было положено начало движению нового типа: оно включало людей разных партий, разных политических и религиозных взглядов, охваченных общей тревогой перед лицом опасностей, грозивших человечеству.

Это движение стало предтечей и прообразом нынешнего — гораздо более мощного и массового — международного движения сторонников мира.

За Амстердамским конгрессом последовал ряд больших собраний, созданных на такой же широкой интернациональной основе: Антифашистский конгресс, состоявшийся летом 1933 года в Париже, в зале Плейель; Конгресс молодежи против империалистической войны и фашизма — осенью 1933 года, Всемирный женский конгресс — летом 1934 года, не говоря уже о многочисленных национальных и региональных съездах. Сформиро-

вался Мировой комитет борьбы против империалистической войны и фашизма, работавший в Париже.

Неутомимый Анри Барбюс, вместе со своей преданной помощницей Аннетой Видаль, ездил из страны в страну, убеждал, объединял, организовывал, выступал перед многотысячными аудиториями. Ромен Роллан оставался у себя в Вильневе — дальние поездки и большие собрания были для него физически непосильны. Но Барбюс советовался с ним обо всем, опирался на авторитет его имени. Оба они вместе были признанными идейными руководителями всего движения.

Некоторые из немцев — сторонников мира, явившихся в августе 1932 года в Амстердам по призыву Роллана и Барбюса (поддержанному А. Эйнштейном и Генрихом Манном), были готовы протестовать против японской агрессии на Дальнем Востоке, против произвола английского империализма в Индии, но ни в малой степени не представляли себе, какая угроза нависла над их собственной страной.

Образованные жители Берлина или Гамбурга привыкли иронически усмехаться, проходя мимо предвыборных плакатов, на которых была изображена малоинтеллигентная физиономия с жесткими усиками, с прядью, нависшей на лоб. Чтоб этот фигляр, этот маляр-неудачник мог править страной Канта и Гёте? Не бывать этому никогда! Германия — это не Италия! Здесь весь народ грамотен, да и рабочее движение как-никак имеет сорокалетние традиции...

На ноябрьских выборах 1932 года в рейхстаг коммунисты получили около шести миллионов голосов, социал-демократы — свыше семи миллионов. Эти миллионы людей, взятые вместе, и в самом деле представляли внушительную силу. Но руководство социал-демократической партии отклоняло все предложения компартии о единстве действий. А иные коммунистические ораторы все еще продолжали по инерции метать громы и молнии на социал-демократов...

Раскол германского рабочего движения облегчил победу Гитлера.

В феврале 1934 года — к тому времени, когда баракки, наскоро построенные в Дахау, Ораниенбурге, Заксенхаузене, уже вместили сотни тысяч заключенных — коммунистов, социал-демократов, либералов, нацифистов и вовсе далеких от политики людей «неарийского» и «арий-

ского» происхождения, — французские фашистские организации «Патриотическая молодежь», «Боевые кресты», в свою очередь, зашевелились. Шестого февраля они вышли на улицы Парижа и попытались взять штурмом Палату депутатов.

Коммунисты призвали трудящихся встать на защиту республики. 12 февраля бастовали заводы, остались закрытыми почтовые отделения и станции метро, учителя не явились в школы. Площадь Насьон была захвачена народом: коммунисты, социалисты, беспартийные действовали совместно. Атака фашистов была отбита.

Через несколько дней в одной из французских коммунистических газет появился рисунок, изображающий гитлеровский концлагерь. За колючей проволокой стоят двое мужчин с изможденными лицами ижимают друг друга руки. У одного на нарукавной повязке изображен серп и молот, у другого — три стрелы, эмблема с.д. Под рисунком подпись: «Порадуемся успеху наших братьев во Франции! Они извлекли урок из нашей общей беды».

Четырнадцатое июля 1935 года — традиционный праздник взятия Бастилии — парижане отметили небывалой по размаху демонстрацией. Рядом с руководителями компартии шли политические лидеры, недавно еще враждовавшие с коммунистами: Леон Блюм, Даладьё. Полмиллиона человек, вышедшие на улицы под красными — пролетарскими и трехцветными — республиканскими знаменами, с пением «Интернационала» и «Марсельезы», заявили о своей дружной готовности преградить дорогу фашизму.

Антифашистский народный фронт стал реальностью.

А еще две недели спустя, 27 июля 1935 года, на VII конгрессе Коминтерна, в жарком, переполненном делегатами и гостями Колонном зале Дома союзов выступил один из основателей Французской компартии, директор «Юманите», седовласый Марсель Кашен.

«Напомню, — сказал он, — ...начальную дату, когда мы после Амстердамского антивоенного конгресса в августе 1932 года полностью прониклись необходимостью работы по осуществлению идеи единого фронта, идеи народного фронта. Я рад приветствовать здесь движение, созданное двумя людьми, которые всегда давали Советскому Союзу свидетельство своей глубочайшей симпатии, — Роменом Ролланом и присутствующим здесь Анри Барбюсом».

Зал загремел аплодисментами. Барбюса и Роллана — инициаторов антивоенного, антифашистского единства действий — приветствовали коммунисты разных континентов и стран. Аплодировали сидевшие в президиуме Эрколи (Пальмиро Тольятти), Вильгельм Пик, Морис Торез. Аплодировал Георгий Димитров, — он хорошо помнил, как горячо заступался за него Роллан, совсем еще недавно, во время процесса о поджоге рейхстага...

Годы 1933—1935-й были для Роллана периодом необычайно разносторонней, интенсивной деятельности — и литературной и в особенности общественной.

О своем образе жизни в этот период он рассказал в письме к австрийскому литератору и ученому Паулю Аманну от 25 декабря 1933 года:

«...Но вы безжалостны, мой друг (как я был безжалостен в сорок лет, потому что мне, как и вам сейчас, не хватало знания реальности), когда вы выражаете (пусть сдержанно) чувство горечи по поводу того, что я не берусь больше читать рукописи. (Так и я бывал огорчен, когда старик Роден, который, впрочем, очень любил моего «Микеланджело», говорил мне, что ему некогда прочесть моего «Жан-Кристофа»...) У вас нет никакого представления о том, как живет старый человек вроде меня, обремененный разными задачами (и вдобавок тяжелобольной, задыхающийся, спящий три-четыре часа в сутки, да и то не всегда!), — человек, который каждое утро получает десять-двенадцать писем, из которых по крайней мере шесть представляют призывы, торопливые, умоляющие, властные, бранные (если чего-нибудь не сделают еще вовремя, потому что ведь каждый из пишущих претендует иметь права на меня) — и в куче почты одна, две, а то и три рукописи для прочтения (не проходит почти ни одного дня, чтобы я не получил такого рода подарок), иногда даже не перепечатанные на машинке и написанные неразборчиво (для его глаз, мол, и это достаточно хорошо!).

Во времена моего «Жан-Кристофа», когда я тяжким трудом зарабатывал на жизнь, у меня был час в день для собственной работы. А теперь, когда пришел успех, я не располагаю больше чем *получасом* в день, чтобы сосредоточиться на «Очарованной душе» — особенно в течение последних пяти-шести лет. Представьте себе мозговое напряжение, какое мне требуется, чтобы в условиях этого непрерывного потока держать в сохранности мою подвод-

ную лодку, мое сочинение, и не терять способности управлять ею. Я еще ни разу не выпустил руля из рук, — но какой ценой мне это дается?»

Все это похоже на грустную жалобу, но Роллан не жаловался. Он понимал, что не мог бы жить иначе. Об этом ясно говорит конец письма:

«Отдыхаю, читая газеты (и это — самое горькое в нашу эпоху сражений!). Но когда мне еще их читать? А быть в стороне от сражений я не могу»*.

Он не мог быть в стороне от сражений — вот это было важнее всего. Не мог быть в стороне, когда Ганди объявлял одну из своих бесчисленных голодовок; когда Антонио Грамши, отказавшийся просить Муссолини о помиловании, медленно умирал в своей тюрьме-могиле; когда Альберт Эйнштейн, демонстративно вышедший из состава Германской академии наук, должен был навсегда распрощаться со своей страной, чтобы не стать жертвой фашистских убийц; когда перед Берлинской оперой пылали костры из книг, а в Париже «Боевые кресты» копили запасы оружия... Все страшное, бесчеловечное, позорное, тревожное, что происходило в мире, отзывалось в душе Роллана, только очень недальновидные или предубежденные люди представляли его себе отрешенным от жизни отшельником, охраняющим свой покой на берегу Женевского озера.

Он не мог быть в стороне от сражений. И, откладывая в сторону корректуры «Очарованной души» или рукопись исследования о Бетховене, отвечал на срочные письма, редактировал или писал воззвания, протестовал против преступлений фашизма и империализма, объяснял свою позицию вчерашним единомышленникам-нацифистам и сторонникам «ненасилия», ободрял страдающих, старался вдохнуть мужество в колеблющихся...

Публицистические работы Роллана — главным образом выступления против войны и фашизма — были им объединены в двух сборниках, вышедших в Париже в 1935 году, — «Пятнадцать лет борьбы» и «Мир через революцию».

Одна из небольших статей сборника «Пятнадцать лет борьбы» озаглавлена «Письмо одному немецкому другу против отступничества социал-демократической партии». Она очень выразительна, и ее стоит привести целиком.

«Меня не так удручает грубый триумф фашизма, как почти полное отступничество противостоящих ему партий.

Вы пишете, что социализм бездействует, ибо он слишком ясно видит, что, действуя, он потерпел бы поражение. Но именно поражением из поражений, несмыслимым позором для крупной, активно действующей партии является боязнь поражения! Надо не страшиться быть побежденным, но лишь в бою, с оружием в руках, сражаясь, не прося пощады, не соглашаясь на сговор. Таков один из основных принципов действия для тех, кто хочет построить новый мир. Вся история этому свидетельство. Не было ни одной значительной социальной победы, заранее не оплаченной одним или несколькими кровавыми поражениями. Без Коммуны 1871 года и подавленной революции 1905 года невозможен был бы Октябрь 1917 года. Надо знать, на что идешь! Если ты стремишься, подобно выродившимся социалистам, спасти свою шкуру, действовать без риска — тогда убирайся с поля битвы! Значит, ты годен лишь на то, чтобы заполнять регистрационные карточки в библиотеках. Ни один из руководителей Второго Интернационала не имел права узурпировать руководство. Они обманули чаяния масс, доверившихся им. Ганди осудил бы их так же, как и Ленин. Ибо главное не в том — «Насилие или ненасилие». Главное — «действовать!» Не дезертировать и не уклоняться в решающий час. Подлинное поражение — единственно непоправимое поражение — исходит не от врага, а от самого себя».

Немецкий, точнее, австрийский друг, которому было адресовано это письмо 31 марта 1933 года, — Стефан Цвейг. (Полный текст письма имеется в Архиве Роллана.) И смысл его не только осуждение немецкой социал-демократической верхушки, уклонившейся от боя с гитлеровским фашизмом, но, по сути дела, и критика тех деятелей культуры, которые, по крайней мере на первых порах после прихода Гитлера к власти, воздерживались от выступлений против него.

Как должен вести себя интеллигент, человек искусства, в момент острой политической борьбы: действовать или стоять в стороне? Этот вопрос был постоянным предметом спора между Ролланом и Цвейгом.

Стефан Цвейг был искренним противником фашизма, но не хотел участвовать в борьбе против фашизма в какой бы то ни было форме. Он и на Амстердамский конгресс не поехал, ссылаясь (в письме к Роллану от 1 сентября 1932 года) на то, что не был своевременно изве-

щен о дне его открытия. Сотрудничество с деятелями рабочего движения, особенно с коммунистами, Цвейг считал для себя неприемлемым — к ним он относился с возрастающей неприязнью и недоверием. И по сути дела, он не видел смысла в политических выступлениях интеллигенции, во всех этих конгрессах, воззваниях, манифестах, демонстрациях — к чему они? Ведь история все равно идет своим неумолимым ходом.

В книге «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», вышедшей в 1933 году, Стефан Цвейг воплотил свою жизненную позицию в образе прославленного гуманиста Возрождения. Герой книги презирает невежество и мракобесие, клеймит позором глупость человеческую. Но в конфликте между Лютером и римским папой Эразм ни за того, ни за другого. Он воздерживается от участия в политических боях своего времени, ставя личную независимость превыше всего.

Эта позиция, занятая Стефаном Цвейгом в исторически ответственный момент, причиняла Роллану боль, — именно потому, что он в течение стольких лет дружил со своим младшим австрийским коллегой, любил его. Она причиняла Роллану тем более сильную боль оттого, что Цвейг был далеко не одинок в своем отрицании политики, утверждению нейтралитета как принципа поведения. Такую точку зрения разделяло немалое число европейских интеллигентов.

В последнем томе «Очарованной души» Роллан на многих страницах — передавая тревожные мысли Марка Ривьера — высказал свою горечь по поводу тех деятелей культуры, которые, подобно Цвейгу, возводили социальную пассивность в своего рода жизненное правило:

«Для этих витязей духа нет иной свободы, кроме бесплодной: вера без дел... если не считать деятельности в эмпириях чистых идей, где все идет, как часы в четырех стенах мастерской, огражденной от случайностей и толчков внешнего мира. Поистине они свободны... свободны от жизни или мертвы».

«...Социальное действие тяжело как цепи, а они не собирались носить этих цепей или накладывать их на другого. Эти свободные умы позабыли простейшие требования, предъявляемые землепашцу. Чтобы заколосилась нива, нужно сначала поднять целину, убрать камни, выжечь лес, а затем налечь посильнее на плуг и провести лемехом прямую, длинную и глубокую борозду — первую

борозду! Тут не отделаешься царственным жестом сеятеля. Тут нужно неволить, неволить упрямую землю, неволить волов, изнемогающих под ярмом, неволить свои руки, неволить свое сердце!»

Сама взволнованная интонация этих строк говорит, что тут идет речь о проблемах, кровно близких Роллану, глубоко им выстраданных. Любопытно, что он, говоря о долге интеллигенции, обращается здесь к кругу образов из области, казалось бы, вовсе ему чуждой — из сферы земледельческого труда. И это не совсем случайно. Роллану страстно хотелось — именно теперь, перед лицом нарастающей фашистской угрозы — связать, объединить людей «мысли» и людей «действия», помочь творческим умам осознать свою общность с рядовыми трудящимися, с теми потомками Кола Брюньона, которые в XX столетии и впрямь решились «взять в свои руки кормило и весло»...

И Роллан писал статью за статьей, стараясь вывести европейских «витязей духа» из состояния пассивности. Не в меньшей мере, чем Горький, он был убежден, что мастера культуры могут и должны принять участие в социальных боях современности — хотя бы средствами слова, авторитетом личного примера. В условиях резкого размежевания международных общественных сил от деятелей культуры особенно настоятельно требуется высокая принципиальность — идет ли речь о больших вопросах политики или о частных вопросах личного поведения.

Роллан понимал, что реакционным диктаторам вовсе не безразлично, как относятся к ним и как ведут себя крупные ученые, мыслители, художники. Он помнил, как удалось цинику-дуче обвести вокруг пальца раньше Тагора, а потом Ганди. Роллан внимательно следил за событиями культурной жизни Германии после фашистского переворота. Развертывая поход против прогрессивной интеллигенции, гитлеровцы вместе с тем маневрировали, старались привлечь на свою сторону или по крайней мере нейтрализовать и удержать в стране людей с мировыми именами — будь то прославленный физик Макс Планк, престарелый драматург Гергарт Гауптман или бывший друг Роллана композитор Рихард Штраус.

Правительство Третьей империи сделало даже неуклюжую попытку купить ценою демонстративно оказанной почести автора «Жан-Кристофа», который издавна пользовался в литературных и музыкальных кругах репутацией друга Германии. В апреле 1933 года германский

консул в Женеве сообщил Роллану, что по поручению рейхспрезидента Гинденбурга должен вручить ему «Медаль имени Гёте» (этой медалью ежегодно награждались выдающиеся деятели искусства, немецкие и иностранные).

Роллан ответил категорическим отказом. Он напомнил при этом, что всегда уважал культуру Германии — страны Гёте и Бетховена, Канта, Шопенгауэра, Карла Маркса.

«Но то, что происходит сегодня в Германии: подавление свобод, преследование партий, оппозиционных к правительству, грубая и гнусная травля евреев, — вызывает возмущение во всем мире, и во мне тоже. Вам не может быть неизвестно, что я уже выразил это возмущение посредством протестов в печати. Я считаю, что такая политика губит Германию в глазах миллионов людей, во всех странах земли; она представляет преступление против человечества».

Свою последовательно антифашистскую позицию Роллан подтвердил и по более частному поводу.

Группа молодых литераторов, эмигрировавших из Германии, задумала издавать в Амстердаме журнал под названием «Замлюнг» («Сбор»): это была одна из первых попыток объединить немецкие писательские силы за пределами страны, показать всему миру, что немецкая литература продолжает существовать и развиваться в изгнании — наперекор гитлеровским варварам.

Ромен Роллан, узнав о выходе нового журнала, отправил дружеское приветственное послание на имя его редактора Клауса Манна (это был старший сын Томаса Манна, способный прозаик). С разрешения Роллана это приветствие было опубликовано в третьем номере «Замлюнг».

Санкции не замедлили последовать: Роллан получил извещение от своего издателя из Штутгарта, что печатание «Очарованной души» на немецком языке приостановлено. Произведения авторов, которые сотрудничали в немецкой эмигрантской прессе, вычеркивались из издательских планов, изымались из книжных магазинов и библиотек Третьей империи: таким способом гитлеровцы пытались оказать идеологический нажим на писателей, немецких и иностранных.

Молодой коллектив, выпускавший «Замлюнг», был особенно благодарен Роллану за поддержку потому, что как раз в тот момент журнал оказался в трудном положении.

Несколько видных мастеров немецкой прозы (Альфред Дёблин, Рене Шиккеле и даже сам Томас Манн) отказались от сотрудничества в журнале после того, как их издатели в Германии пригрозили им бойкотом. Отказался участвовать в «Замлюнг», к огорчению Роллана, и Стефан Цвейг.

И Роллан 8 ноября 1933 года написал своему другу письмо, где призывал его отрешиться, наконец, от своей тщательно оберегаемой нейтральности, которая таит в себе угрозу моральной изоляции, творческого оскудения, упадка сил. «Если ни один из враждующих лагерей для вас неприемлем, — найдите свой лагерь, пусть даже он будет под перекрестным огнем остальных двух! Ибо самое худшее — это когда в вас стреляют, а вы не нашли лагерь, к которому могли бы примкнуть»*.

Сделайте выбор, примите решение, найдите свой лагерь! Эта мысль проходит через многие письма Роллана, обращенные к разным людям.

Еще перед Амстердамским конгрессом — 2 июня 1932 года — он писал Жан-Ришару Блоку:

«В эпоху действия «оказать доверие человеческому духу» — это не значит уклониться от действия. А если дух действует — надо же, чтобы он сделал выбор. Этот выбор может быть относительным, с точки зрения абсолюта. Но с точки зрения относительной, то есть с точки зрения повседневной жизни, надо, чтобы этот выбор был абсолютным. Нельзя говорить «и да, и нет» или «ни да, ни нет». Это значило бы отречься от самого себя.

Все знамена запятнаны кровью, все они несут в себе зло. Всякое действие несет в себе зло. А бездействие — зло еще большее. Жить — это всегда значит превышать какую-то меру. А не жить — значит убивать.

Когда мы говорим, что избираем нашим отечеством СССР — это не означает, что мы избираем одну нацию за счет других. *Союз Советских Социалистических Республик* — это не нация. Он воплощает в себе все нации настоящего и будущего, которые захотят освободиться и объединиться. Это — единственный идеал человеческого общества, который нынешние надежды человеческого духа представляют себе как идеал осуществимый. Поддерживать его — это и значит «оказать доверие человеческому духу».

Мы не застрахованы от разочарования. Но, если мы заранее поддадимся разочарованию, это значит, что мы

хотим быть побежденными. А я — побежденный, который не хочет им быть, и, если я им буду — я скажу, как говорит мой герой у подножия эшафота (на последней странице «Торжества разума»):

«Я опередил победу, но победа за мной»*.

Ромен Роллан был непоколебимо убежден, что Советский Союз — единственная сила, реально противостоящая фашизму, силам империалистической реакции и войны. Он был непоколебимо убежден, что будущность человечества связана с социалистическим строем. Он бесконечно уважал Советскую страну уже за то, что она сделала первую в мировой истории героическую попытку осуществлении социализма. При этом он понимал и сколько трудностей пришлось и приходится преодолевать советским людям. И, взвешивая все «за» и «против», занимал позицию активной поддержки Советского Союза, с полным сознанием своей исторической ответственности. И эту свою позицию он разъяснял вновь и вновь — в печатных выступлениях и личных письмах.

Роллан не был — и не считал себя — знатоком и авторитетом в вопросах экономики. В годы первой, а затем и второй пятилетки, когда западные обозреватели и эксперты наперебой обсуждали ход осуществления народнохозяйственных планов СССР, перипетии коллективизации, успехи и заминки на пути индустриализации, подсчитывали цифры, составляли прогнозы, анализировали поступавшие в печать сведения о разворачивании великих строек, — Роллана интересовало по преимуществу другое. К оценке советского общества и происходящих в нем перемен он подходил не как социолог или статистик, а как художник, психолог, моралист. Для него важнее всего были процессы, происходящие в людях — в их поведении и душе. Самым привлекательным, самым покоряющим в жизни советского общества был, с его точки зрения, не подъем кривых на экономических диаграммах, а бескорыстный энтузиазм рядовых рабочих, колхозников, интеллигентов, которые в нужде и лишениях работали для будущего.

В таком духе он и отвечал своим знакомым и друзьям — людям либерального, пацифистского, религиозного толка, иногда вовсе аполитичным людям, — которые спрашивали его мнение о том, что происходит в Советском Союзе. Он писал, например, Кристиану Сенешалю 2 января 1933 года:

«Вы хотите знать, какова, в точности, моя позиция по

отношению к СССР? Она отчетлива. Я с ним, против всех тех, кто ему угрожает, кто бы ему ни угрожал! Я мало-помалу убедился, что он — единственная действенная, прочная социальная надежда для нашего старого мира; и я поддерживаю его всеми силами, какие у меня еще остались. Я не вступил в «Партию» — потому что никогда не даю себя завербовать никакой партии. Но я борюсь и буду бороться за то же дело в качестве независимого, который, наверное, стоит десятка завербованных. Я, как они говорят, их «попутчик». Это дает мне возможность спорить (и я так поступаю в их газетах, и они меня печатают и ко мне прислушиваются), — идя вместе с тем к той же цели. Присматриваясь вблизи к этим молодым «марксистским материалистам», которые с суровой радостью приносят себя в жертву ради блага и счастья грядущего человечества, я нахожу в мизинце любого из них больше подлинного идеализма, чем в пустых сосудах выспренного идеализма Запада»*.

Эта же мысль — выношенная, выстраданная Ролланом — встает и в последнем томе «Очарованной души», там, где передаются раздумья Аси:

«В серпе и молоте пролетарской, марксистской, материалистической, не верящей в бога молодежи, которая с суровой радостью жертвует собою ради счастья и общего блага тех, кто будет, когда ее уже не будет, больше истинной веры, чем во всех церковных и нецерковных псалмах ханжей и святош лживого Запада. Вне деяния все есть ложь и только ложь! И только по делам пусть судят о них и о нас!»

Когда-то Роллан — в пору своих стычек с Гильбо или молодыми «бешеными» из группы «Кларте», — отчасти принимая на веру путанные, вульгарные толкования марксистских идей, опасался, как бы коллективизм нового общества не привел к угасанию личности, не превратил бы это общество в некое подобие исправно функционирующего муравейника. Чем больше он узнавал теперь — не только из книг и газет, но и из доходивших до него частных писем — о реальной жизни, заботах и настроениях советских граждан, тем очевиднее для него становилось, как он был когда-то не прав. Нет, молодые строители Днепростроя или Магнитостроя — вчерашние люди из захолустья, разбуженные огнями домен и свистками паровозов, поднимающиеся к грамоте, к знаниям, приобретающие вместе с рабочей квалификацией и новое ощущение

своей человеческой ценности, меньше всего похожи на покорных и безликих муравьев! И Роллан отвечал своим нетерпеливо вопрошающим и спорящим корреспондентам, попутно рассеивая остатки собственных предубеждений.

«В доказательство того, что я вас читал, — писал он 27 ноября 1933 года молодому журналисту Пьеру Бужю, — разрешите сделать небольшое замечание по поводу вашей статьи «Коммунизм и муравейник». Я тоже был, да еще и остался озабочен тем, не движется ли человечество к муравейнику. Но дело тут не в одном определенном строе. Нивелировка личностей и их слияние или стирание в анонимной и аморфной массе в настоящее время столь же ощутима в демократических государствах Запада и Америки, как и фашистской Италии или Германии; и там она более ощутима, чем в коммунистическом СССР. Не надо доверяться обманчивым ярлыкам. Коммунизм СССР, по сравнению с нашей французской демократией, гораздо больше заботится о развитии критической и творческой индивидуальности трудящихся. Рекомендую вам прочесть (среди многих других свидетельств) только что вышедшую маленькую брошюру Ж. Муссинака «Рабочие у себя на заводе» (Бюро д'Эдиссон, Париж-10, Фобур Сен-Дени). Подлинный индивидуализм может найти в мощных отрядах Советской России более благоприятные возможности и среду, чтобы закалиться, чем в тепленькой и стоячей водичке мелких буржуазий Запада»*.

Свидетельства, на которые ссылается здесь Роллан, это — наряду с документальными данными, наряду с работами прогрессивных зарубежных литераторов и журналистов, побывавших в СССР, — и произведения советских писателей, их рассказы, очерки, романы на современные темы. Роллан жадно читал эти произведения по мере того, как они выходили на французском языке, а иногда знакомился с ними по устным переводам и пересказам Марии Павловны.

Книги советских писателей делали образ нового общества более осязаемым и зримым. Они помогли найти ответ на вопросы, которые не так давно представляли для Роллана камень преткновения.

Во второй половине двадцатых годов Роллан, как мы помним, порой беспокоился: не приведет ли индустриализация СССР к некоему «культу машины» на американский манер? В марте 1932 года Роллан в письме к директору Объединения государственных издательств А. Б. Ха-

латову хвалил книгу М. Ильина «Рассказ о великом плаве»: эта книга, утверждал он, помогает увидеть, чем отличается индустриализация советская от американской, — она «во всем вскрывает человеческое под механическим и показывает социальное освобождение при помощи машины»¹.

Прочитав первые номера советского журнала «Интернациональная литература» на французском языке, Роллан писал французскому литератору-коммунисту Леону Муссинаку (17 октября 1933 года):

«Впечатление у меня, в общем, очень хорошее. Конечно, различные статьи или отрывки неодинаковы по своей ценности. А все в целом получилось содержательным и живым. Некоторые вещи замечательны.

Само собой разумеется, насколько важно здесь участие Горького, а также посмертное участие Маяковского...

Романы о труде (заводском или сельскохозяйственном) не всегда удачны. Они не вполне удовлетворяют двум требованиям (из которых обязательно хотя бы одно): им не хватает остроты личного отношения к материалу или объективной наблюдательности, силы проникновения в человеческие характеры и в их взаимодействие, не свободное от столкновений. Меня живо заинтересовала обширная панорама, нарисованная в «Кара-Бугазе» Паустовского, в основе которой — земля, или уголок земли, и перемены, происходящие там с течением времени: тут есть нечто новое, что в дальнейшем может вырасти в оригинальный эпический жанр».

Роллан особо отмечал, что у Паустовского — как и в романе И. Эренбурга «День второй» — затрагиваются «отношения людей мысли (ученых и т. д.) с Революцией, причем наиболее искренние среди этих людей силою событий выходят из своей изоляции, покидают позиции чистой науки, чтобы завербоваться в великую Армию...» Эту тему он считал очень важной.

Роллан высказал пожелание, чтобы в журнале чаще публиковались дневники, «письма-исповеди» — словом, человеческие документы. Пусть на страницах «Интернациональной литературы» высказываются западные писатели, которые сумели войти в личный контакт с миром социалистического строительства, и рядовые советские люди, способные поделиться своим жизненным

опытом. Пусть журнал передаст, писал Роллан, «порывы, надежды, энергию, потоки новой жизни, которыми вдохновляются лучшие, наиболее деятельные и горячие представители пролетарской молодежи!»¹.

Чтение книг современных русских писателей неизменно связывалось у Роллана с размышлениями о новом советском обществе, о людях, растущих там. 4 августа 1934 года Роллан в письме к Марселю Мартине рассказывал о Сергее Кудашеве, сыне Марии Павловны, который три месяца гостил у матери и отчима в Вильневе. Как многие молодые люди в СССР, Сергей увлечен точными науками. «Он говорит: «Коммунизм, по своей сути и целям, соответствует требованиям разума». И возвращается, спокойный, к своим уравнениям»*.

А за этими строками следует — по естественной для Роллана ассоциации — отзыв о советской книге, прочитанной недавно и произведшей на него сильное впечатление:

«Читали ли вы... роман Шолохова, вышедший в переводе, *Поднятая целина*? Это первый роман новой России, в котором я нахожу нечто от великого психологического мастерства Толстого (я в настоящий момент перечитываю *Войну и мир*. Вот это пища — «для всех времен», «для всех людей». Молодые и старые, больные и здоровые могут всегда найти там своих «двойников», или вернее — более значительные оригиналы, «двойниками» которых они являются)»².

Роллан еще юношей, студентом привык мерить свои литературные впечатления величественным масштабом Толстого. К этому критерию он обращается и здесь. О книгах советских писателей он судил, как взыскательный друг. Он хотел, чтобы литература нового советского общества была по своему уровню достойна самых высоких классических образцов: с этих позиций он иногда — и в письмах и в беседах — упрекал русских собратьев за недостаточное внимание к сложным сферам внутренней жизни.

Вместе с тем Роллан видел и то новое, что присуще лучшим книгам советских писателей, что отличает эти книги от русской классики, как и от современной лите-

¹ Отдел рукописей ИМЛИ имени А. М. Горького.

² Слова, поставленные в кавычки внутри скобок, написаны Ролланом на немецком языке.

¹ Отдел рукописей ИМЛИ имени А. М. Горького.

ратуры Запада. Он рассуждал об этом в письме к советским коллегам, которое отправил в Москву в августе 1934 года, накануне I съезда писателей СССР.

Здесь Роллан — так же, как и в письме к Мартине, — ссылается на Шолохова, с одной стороны, и на недавно перечитанную «Войну и мир» — с другой. Очевидно, что лучшие советские романы преемственно связаны с «великой реалистической традицией прошлого века». Но классики минувших эпох — даже и такой гений, как Толстой, — не могли видеть направления исторического развития. В советской литературе живет дух великих перемены, общество выступает в его бурном, полном драматизма движении вперед. «В ней всегда представлен мир, устремляющийся к цели, ближней или дальней, которую поставило перед ним сознание».

Роллан высоко оценивает ту откровенность, с какой советские писатели показывают трудности, противоречия, недостатки. Именно благодаря этой бескомпромиссной самокритике советская литература, утверждает он, является для своих читателей «мужественной школой совести».

Чтение советских книг усиливало у Роллана желание увидеть своими глазами страну, где эти книги были написаны.

3

23 июня 1935 года Ромен Роллан с Марией Павловной приехал в СССР и пробыл почти месяц, по 21 июля.

Иностранные писатели и журналисты, желавшие познакомиться с Советским Союзом, обычно включали в план своего путешествия, помимо Москвы, Ленинград, иногда Киев, иногда Тбилиси и курорты Закавказья, а иногда добирались и до Средней Азии; они осматривали крупные стройки, заводы, электростанции, образцовые колхозы и совхозы, школы, университеты. Роллану вся эта программа было недоступна. Ему было необходимо соблюдать режим, придерживаться строгой диеты, находиться под наблюдением врачей. Первые несколько дней он провел в Москве, а потом гостил у Горького в загородном доме в Горках, почти не выезжая оттуда.

Собираясь в дорогу, Роллан отдавал себе отчет, что

его знакомство с Советской страной останется ограниченным и неполным. Он все же надеялся увидеть и понять многое, быть может, даже больше, чем видят и понимают обычно иностранные путешественники. В Москве у него было немало друзей, знакомых, корреспондентов. Некоторые советские деятели культуры бывали у него в Вильневе (например, К. Федин или известный дипломат и писатель А. Аросев), некоторые вели с ним содержательную переписку (как, например, художник Е. Кибрик, иллюстрировавший «Кола Брюньона»). Разумеется, Роллан многого ожидал от встречи с Горьким, с которым был в таком близком заочном общении в течение почти двадцати лет. Словом, в СССР было с кем поговорить: обилие личных контактов могло возместить неполноту внешних впечатлений.

Немаловажно и то, что Роллана сопровождала жена, для которой Россия была родной страной и у которой остался здесь свой круг родственников и знакомых. В Москве его ждал Сергей Кудашев, названный сын, милый, умный юноша, — с ним у отца успели установиться добрые, доверительные отношения.

За год до поездки в СССР у Роллана возникла необходимость вмешаться в судьбу Сергея в связи с его поступлением в университет. Он написал 26 апреля 1934 года письмо во Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, на имя М. Аплетина:

«Мой пасынок (сын моей жены г-жи Кудашевой, которая теперь — г-жа Роллан), Сергей Кудашев, 17 лет, этой весной заканчивает подготовку в университет. Ему надо представить свои «документы» в Московский университет, — я хотел бы, чтобы он специализировался там по математике (он очень способен к точным наукам и желает посвятить себя им).

Он, в частности, должен предъявить документы, удостоверяющие его «социальное происхождение». К сожалению, со стороны отца дело обстоит не совсем просто. Его отец был князем, но он умер в возрасте 23 лет, когда ребенку было всего три года. Что касается его матери, то она, можно сказать, «пролетарского происхождения»: она работала с 14 лет до замужества и два года спустя снова стала работать. Но, так как она живет теперь в Вильневе со мной, я просил бы составить документ, удостоверяющий ее «трудовой стаж». Прилагаю список ее должностей, начиная с 1921 года. Думаю, что вам не-

трудно будет его проверить, а в крайнем случае положить на нас. Помимо этого, так как Сергей Кудашев теперь мой пасынок, я думаю, что можно принять во внимание и мое ручательство за него. Прошу упомянуть это в тексте документа, удостоверяющего «трудовой стаж» его матери»*.

С подобным же письмом Роллан обратился к наркому просвещения Бубнову.

Сергей Кудашев был принят в Московский государственный университет; очень возможно, что решающую роль тут сыграло не столько его родство с прославленным французским писателем, сколько его собственные блестящие способности к математике. Так или иначе, Роллану запомнился этот эпизод. Хорошо ли, справедливо ли, что судьба молодого человека, вступающего в жизнь, в какой-то мере зависит от того, кем были его родители? Частный факт, с которым близко столкнулся Роллан, дал ему повод задуматься над нерешенными проблемами советского общества.

В Москве Роллана поместили в гостинице «Савой» (теперь она называется «Берлин»), в самом центре города. Он постепенно знакомился с Москвой; в один из первых дней он побывал в Музее новой западной живописи, был рад, что нашел там полотна любимых им Моне, Ренуара, Сезанна, и оставил в книге посетителей растроганную запись. Позже — уже накануне отъезда из Москвы — он посетил и Третьяковскую галерею, — его восхитила древнерусская живопись, в особенности произведения Андрея Рублева.

В былые годы Роллан во время своих заграничных поездок обстоятельно и со вкусом смотрел архитектуру, живопись, анализировал увиденное в дневнике и письмах. Здесь, в Советском Союзе, его интересовали в первую очередь не столько художественные и исторические достопримечательности, сколько сам народ, его сегодняшняя жизнь.

Ему обязательно захотелось, например, увидеть спортивный парад на Красной площади, который был назначен на воскресенье, 30 июня.

Об этом дне вспоминает писатель А. Исбах, который утром 30 июня, вместе с А. Сурковым и В. Ильенковым, навестил Роллана в гостинице:

«В этот день на Красной площади должен был состо-

яться традиционный парад физкультурников. Роллан был приглашен на трибуну. Однако, как пожаловался он нам, врачи запретили ему выходить. Это очень огорчало его.

— Помогите мне убежать, — улыбаясь, попросил он нас, воспользовавшись минутным отсутствием Марии Павловны...

Очень тепло простились мы с Ролланом, а через несколько часов отправились на Красную площадь.

Каково же было наше удивление, когда внизу, у правительственных трибун, мы увидели Романа Роллана. Он сидел на специально принесенном стуле, закутанный в плед. Рядом с ним стоял Максим Максимович Литвинов. А с другой стороны над ним склонилась высокая фигура Алексея Максимовича Горького. Как узнали мы потом, Роллан настоял на своем и убедил врачей отпустить его на площадь на полчаса.

Однако прошло уже и полчаса, и час, и два часа, а Роллан все не уходил с площади. Мы стояли неподалеку и видели, как он то и дело взволнованно привставал со стула, махал рукой физкультурникам, которые узнали любимого писателя и восторженно приветствовали его и Горького...

В один из первых дней приезда в Москву Роллан с женой был приглашен к Сталину.

За годы пятилеток он стал относиться к Сталину иначе, чем прежде, — былая настороженность постепенно ослабевала, и на первый план выступало уважение. Успехи Советского Союза как бы бросали ответ на того, кто стоял во главе страны. Роллан, понятно, верил и тем оценкам, которые находил в статьях Горького или слышал от Барбюса.

Роллану, с другой стороны, были известны резкие нападки на Сталина со стороны западных публицистов, причислявших себя к «коммунистической оппозиции». Некоторые из них были ему знакомы еще по дискуссии в «Кларте», и он их издавна терпеть не мог, — в последние годы для этого возникли новые основания. Троцкистские или близкие к троцкизму группировки в разных странах выступали против политики единого фронта, поднимали дезорганизаторский шум вокруг международных конгрессов. Перед конгрессом молодежи против империалистической войны и фашизма — в сентябре 1933 года в Париже — троцкистская газета «Веритэ»

вышла под заголовком «Против барбюсизма и сталинизма». У Роллана подобные выступления вызывали вполне понятный гнев, — эти раскольники старались сорвать антифашистское единство, которое он и Барбюс устанавливали с таким трудом!

Идя на беседу в Кремль, Роллан вовсе не имел в виду ограничиться обменом любезностями. Он хотел высказаться — и высказался — о том, что у него наболело.

Он поставил прежде всего некоторые вопросы международного характера. Он выразил пожелание, чтобы Советский Союз и зарубежные коммунистические партии больше считались со своеобразием условий в разных странах. У каждой нации свои обычаи, свои традиции. Нельзя исходить из предпосылки, что путь и пример СССР во всех деталях обязательны для всех народов, — утверждая это, мы рискуем оттолкнуть живые и здоровые силы, которые могут принести пользу революционному движению.

Роллан ссылаясь на совсем недавнее событие — встречу Сталина с главой французского правительства Лавалем и коммунике, появившееся в печати об этой встрече. У Советского государства есть свои серьезные основания для сближения с Францией. Но французский рабочий класс борется с кабинетом Лавала — это тоже надо понять.

Большое место в беседе Роллана со Сталиным заняли некоторые острые проблемы внутренней жизни СССР.

Ромен Роллан — к тому времени успевший опубликовать и «Прощание с прошлым», и «Панораму», и последние тома «Очарованной души» — был искренне убежден, что насилие по отношению к врагам революции в определенных исторических условиях становится суровой необходимостью. Он полагал, что Советское государство вправе и даже обязано защищаться от враждебных ему сил, — это мнение он отстаивал и в беседах с Ганди. Однако Роллана глубоко тревожил вопрос: не слишком ли суровы меры, применяемые во имя безопасности Советского государства, не превышаются ли здесь пределы необходимой самозащиты?

Сталиць беседовал с Ролланом — как свидетельствует и Мария Павловна — в доброжелательном, уважительном тоне. Он постарался успокоить французского гостя. От-

вечая Роллану на поставленные вопросы, Сталин развивал тезис об обострении классовой борьбы по мере роста успехов социалистического общества. Противники советского строя прибегают к самым коварным приемам, вовлекают даже подростков в свои преступные замыслы.

А если в борьбе с этими врагами порой допускаются ошибки и перегибы, то — по вине отдельных второстепенных работников, которые по недостатку культуры проявляют излишнюю горячность.

В Роллане вся эта аргументация вызвала противоречивые чувства. Он не мог не верить тому, что было сказано. Но не мог вместе с тем подавить в себе некоторые сомнения. Так или иначе, он объяснился откровенно — и хотел надеяться, что к его словам прислушаются.

Несколько дней спустя — когда Роллан уже находился в загородном доме у Горького — туда приехал на ужин Сталин. Роллан внимательно слушал то, что ему рассказывали о строительстве Московского метро, первая очередь которого только что вступила в действие, о всенародном сборе средств на новый самолет-гигант «Максим Горький» взамен недавно погибшего; он заинтересовался эпизодами гражданской войны, о которых вспоминали в ходе беседы. Но в целом этот вечер, как он отметил в дневнике, оказался утомительным — трудно было следить за многоголосьем разговором, смущало обилие пышных тостов.

Жизнь в Горках заключала для Роллана немало приятного. Здесь была столь необходимая ему тишина, кругом была мягкая подмосковная природа, которая ему нравилась. Здесь представлялась возможность и побыть одному, сосредоточиться и встретиться с разнообразными гостями: многие из людей, приезжавших к Горькому, — журналисты, литераторы, деятели искусства — оказывались интересными собеседниками.

После первой беседы с Горьким Роллан сделал в дневнике следующую запись:

«Разговор касается многих предметов — в том числе и тех, о которых шла речь вчера у Сталина, — речь идет и о старой, отсталой России, которая еще жива. Горький хотел бы, чтобы о больших вопросах говорилось открыто... Иногда он огорчается, что его покидают старые товарищи. А когда я говорю, что растерял на моем пути почти всех друзей, он с грустью отвечает: «И я тоже. Но что же делать?..» Все надежды он возлагает на

детей, на превосходный моральный склад нового поколения».

Роллан и сам тянулся к советской молодежи, хотел поближе познакомиться с ней. И обстоятельно, с явным удовольствием описал в дневнике встречу, которая произошла в Горках 10 июля:

«В 4.30 прием делегаций, которые приехали ради Горького, а также и ради меня: за длинным столом, за чаем — не менее сорока гостей. Отборная группа самых отважных молодых парашютисток. Делегация работниц метро. Делегация комсомола. Несколько армянских пионеров — мальчиков и девочек, — находящихся проездом в Москве. Одна из парашютисток, маленькая, пухленькая, с манерами крестьянки, в одно и то же время коренастая и хрупко сложенная, по просьбе Горького с адским апломбом повествует о своих прыжках с высоты...»

Подробно изложив рассказ парашютистки, Роллан продолжает:

«Потом одна из работниц метро, высокая молодая женщина, с такой же смелостью манер, речи и взгляда (как они умеют смотреть прямо в глаза!) с радостью и гордостью рассказывает о тяжелых работах, о подземных шпывунах, об опасностях и о бесстрашии этих маленьких тружениц, которым пришлось сломить упорство дирекции, чтобы быть принятыми на работу (вначале их не хотели принимать); она посмеивается над английскими и американскими инженерами, которые утверждали, что работницы не справятся, не научатся обращаться с механизмами, — а они научились не только обращаться с механизмами, но и производить их...»

И я подметил в этих героических маленьких женщинах дух соперничества по отношению к товарищам-мужчинам! Работница метро прямо говорит, что присутствие женщин хорошо действует на них, заставляет их следить за своими манерами и языком. Вижу, как при этом иные рослые комсомольцы исподтишка смеются или сердито закатывают глаза.

Еще несколько женщин рассказывают о своей жизни. А потом молодой комсомольский председатель произносит небольшую речь с заключительными припевами в честь СССР и Горького и в мою честь. Я должен отметить, что всегда, когда они говорят о собственных трудах и успехах, они скромны и даже склонны себя недооценивать».



Роллан и Горький.



Роллан и Горький в Горках.

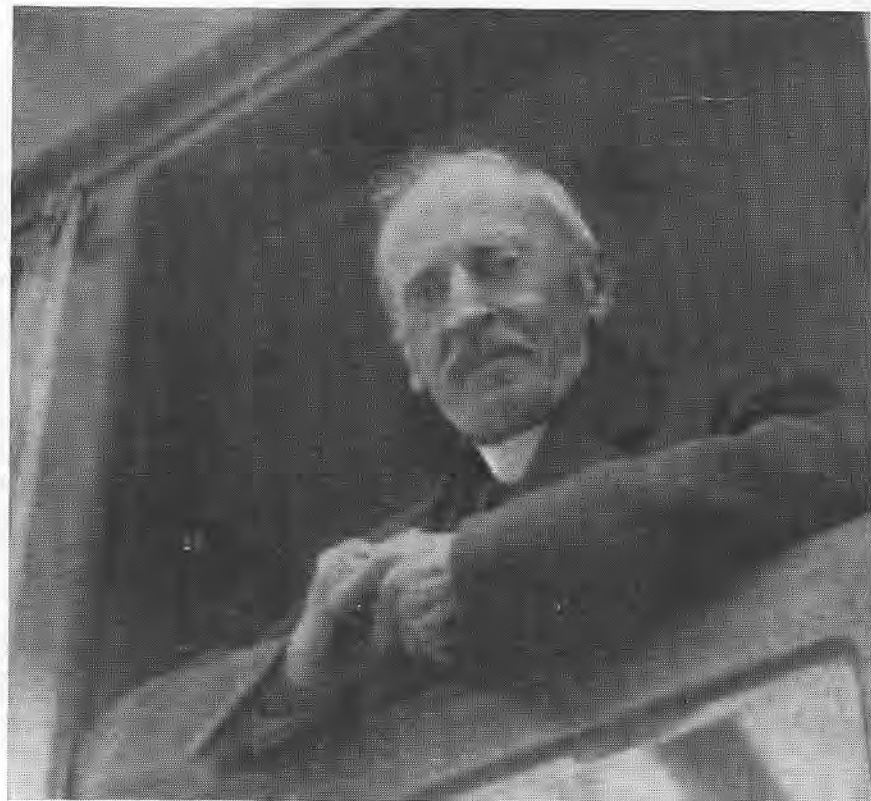
В «Межрабпом-фильме».



Р. Роллан, А. М. Горький, А. В. Косарев среди комсомольцев.



В Парке культуры и отдыха (юноша в берете — Сергей Кудашев).



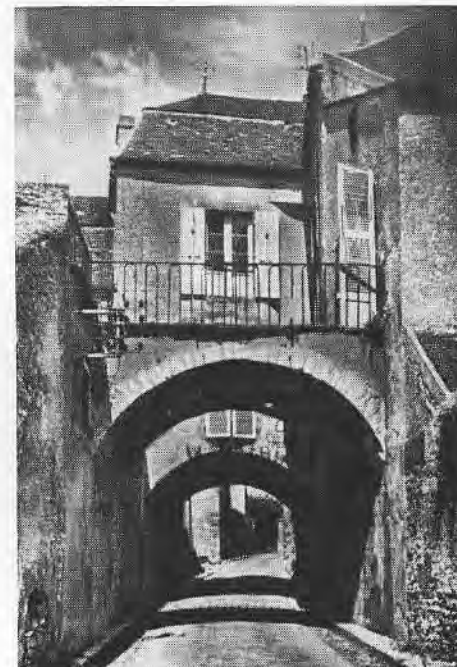
Перед отъездом из Москвы.



На Красной площади.



Везеле. Общий вид.



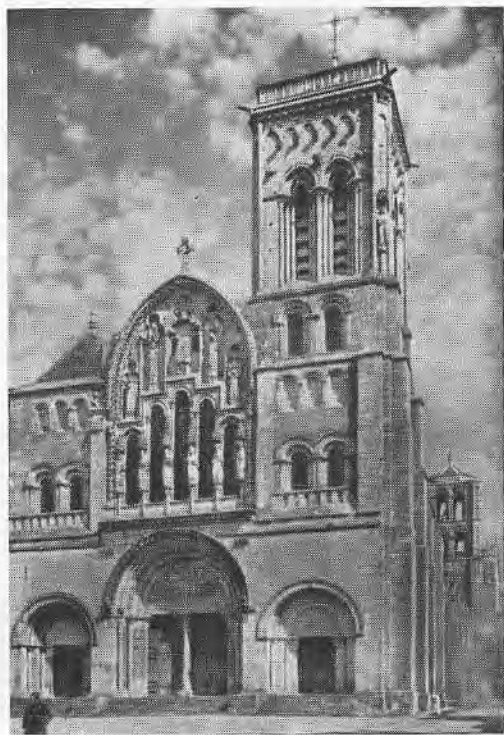
Везеле. Улица.



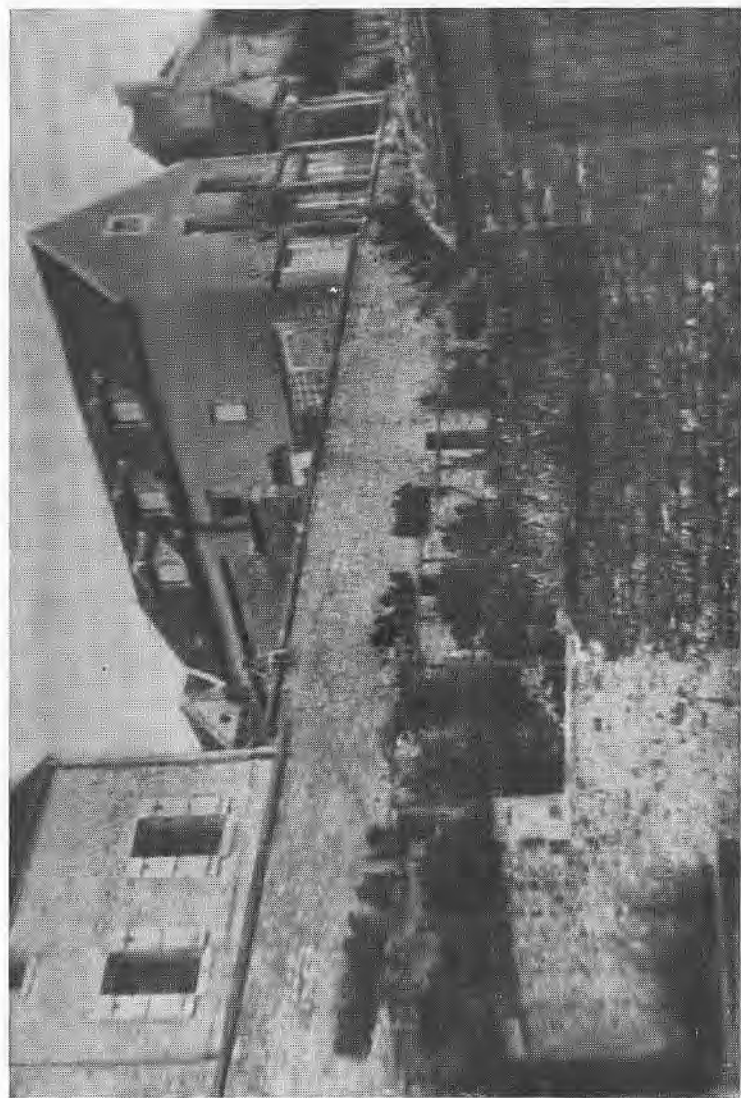
Везеле. «Круговая дорога».



Везеле. «Круговая
дорога».



Везеле. Церковь св.
Мадлены.



Дом Роллана.

Роллан и Мария Павловна
в Везеле.





Мария Роллан и Илья Эренбург среди участников Коллоквиума памяти Ромена Роллана в Везеле (1966).

Памятная медаль (художник Шинделарж, Чехословакия).





Марки, выпущенные в честь столетия со дня рождения Роллана (СССР, Чехословакия, Румыния).

Эти строки — как и другие записи, которые приводились выше, — заимствованы из фрагментов московского дневника Роллана, обнародованных его вдовой в журнале «Эроп» в 1960 году. Московский дневник в целом — довольно объемистая рукопись — остается неизвестным читателям. Сам Роллан сделал специальное распоряжение, согласно которому эта рукопись может появиться в печати только через пятьдесят лет после ее написания.

Перед отъездом из Москвы Роллан написал дружеское приветственное письмо Сталину; на вокзале он произнес краткую, очень теплую по тону прощальную речь, которая была записана на пленку; после возвращения домой он дал в журнал «Коммю» статью о своей поездке, также очень краткую.

Роллан рассказал об этой поездке и в нескольких личных письмах. Он охотно сообщал о своих впечатлениях — не только людям, близким ему по взглядам (например, Жан-Ришару Блоку, давно уже ставшему коммунистом и активным другом СССР), но и тем своим корреспондентам, у которых он мог предполагать противоречивое, отчасти скептическое отношение к Советскому Союзу, — например, Стефану Цвейгу и Марселю Мартину.

Стоит привести письмо, которое Роллан отправил 9 июля 1935 года — еще находясь в СССР — критику Кристиану Сенешалю:

«Мне хочется послать вам дружеский привет из этой великой страны, о которой я мечтал с молодых лет и куда я, наконец, приехал, преодолевая усталость.

Если бы я не явился сюда, я никогда не мог бы себе представить, какую массу любви и дружбы я здесь найду: ведь не из французской же печати я мог бы об этом узнать! Если бы не оберегающие барьеры, которыми я окружен (я сейчас нахожусь в загородном доме Горького), меня задушили бы в объятиях. Сколько Жан-Кристофов и Аннет пишут мне из разных концов СССР! И что особенно трогательно, в этом широком потоке дружбы объединяются и коммунисты, и те, кто привержены к иным мечтам...»

«Экономическое положение, кажется, хорошее. В течение последнего года условия жизни нашего улучшились. Этот громадный город, который насчитывает теперь четыре миллиона жителей — водонад жизни, здоровой, горячей, хорошо упорядоченной. В этой толпе крепких,

подвижных, сытых людей мы сами себе казались пришельцами из голодного края.

Надеюсь вернуться в Вильнев до конца этого месяца. Придется потом неделями отдыхать. Такое путешествие — немалый подвиг для изношенного семидесятилетнего тела»*.

Вскоре после возвращения — 5 августа — Роллан в письме к тому же адресату снова рассказывал о своем путешествии. Его порадовали встречи с разнообразными людьми, которые бывали в доме Горького. «Добавьте к этому кучу писем, в которых я еще не успел до конца разобраться и которые приходили из всех частей СССР — самые трогательные, самые простые, самые скромные: и из деревень, и с заводов, и из армии. Непостижимо, сколько там читают, и с каким увлечением! Жан-Кристоф, Кола Брюньон, Очарованная душа приобрели там тысячи друзей, не только в городах, но и в крестьянской рабочей среде. Жан-Кристоф еще в годы гражданской войны был товарищем молодых людей, которые сражались. Теперь, в последние годы, к нему присоединились Кола, Аннета и Марк...»

Далее Роллан высказывает мысль, которую он несколько позже обосновал и в своем известном предисловии к книге Николая Островского «Как закалялась сталь»: самое большое достижение Октябрьской революции — это люди, созданные ею. «Революция имеет глубокие корни в почве СССР, в этом огромном рабочем народе, который знает, что он обязан ей всем...» В гуще советского народа, утверждает Роллан, вырастают деятели, способные в будущем взять на себя руководство страной. «Я видел некоторые их образцы, — вышедшие из низов, из беднейших слоев рабочего класса, закаленные в огне гражданской войны и достигшие собственными усилиями самых высоких сфер интеллекта, причем мысль неотделима у них от действия. Полноценные личности. Новая человеческая порода»*.

Через несколько месяцев после возвращения из Москвы, в январе 1936 года, Роллан писал своей бывшей жене, Клотильде Бреаль-Корто:

«Я не намерен публиковать описание путешествия в СССР. Мои заметки могут пригодиться только на будущее. У меня их много.

Во время путешествия я находился в привилегированных условиях и не выезжал дальше Подмосковья.

Но я собираюсь вернуться туда в будущем году и посетить другие области этой огромной страны. Учусь русскому языку...»

«В целом — если оставить в стороне те или иные оттенки — у меня создалось и сохранилось впечатление потока энергии, веры, радости, превосходящего все, что можно вообразить. Особенно привлекательна та радость, которая чувствуется в людях от 20 до 35 лет, выросших уже за годы революции. Они счастливы тем, какими они стали, какую работу выполняют, какой дорогой идут! И я с ними поистине счастлив. Руководители там выдающиеся, но элита широких масс еще больше заслуживает внимания. Я уверен в их победе.

Все это, конечно, не исключает и промахов, ошибок и недостатков. Это цена любого дела. Но они достаточно разумны и сильны, чтобы отдать себе отчет в этих недостатках и справиться с ними.

Не говорю об искусстве. Оно в данное время относительно менее интересно. Но и для него время придет; в толще людей много неистраченных сил; есть здесь и те, которых искусство вовсе еще не коснулось. В доме Горького я слышал поразительную хоровую полифонию Грузии и хорошую музыку из Средней Азии и Монголии».

И это и другие письма Роллана помогают понять, почему он не выступил в печати с рассказом о своем путешествии в СССР. Он отдавал себе отчет, что его знакомство с советской жизнью — несмотря на все радужные, с которым его принимали, — все-таки осталось неполным, недостаточно глубоким: месяц — слишком небольшой срок, а условия его жизни в Горках были во многом не похожи на те, в каких находится большинство советских людей. Он вместе с тем и из соображений такта не желал (как он писал позднее Ст. Цвейгу) «обнародовать свои интимные впечатления о тех, чьим гостеприимством только что воспользовался».

Роллан старался воспринимать все, что он видел и слышал, трезво — без предвзятости, но вместе с тем и без наивной восторженности. Он видел в большом советском доме не только свет, но и тени, понимал, что перед народами СССР очень много сложных и нерешенных задач, и не считал уместным делиться с широкой публикой своими суждениями по этим поводам. Так или иначе, радостные, положительные впечатления были

главным, что он вынес из своей поездки, — об этом и говорится в приведенных письмах.

И непосредственно перед путешествием в СССР и после него Ромен Роллан продолжал — не только в статьях, написанных для печати, но и в личных письмах — защищать Советский Союз от всяческих нападок, отвечать на недоуменные вопросы, рассеивать сомнения, которые высказывали разнообразные его корреспонденты.

Так, еще до поездки — 7 января 1935 года — Роллан возражал Клер Женью, которая высказывала предположение, что индустриализация СССР может пойти во вред духовной культуре:

«Что до ваших тревог по поводу того, что расцвет техники помешает расцвету Духа, — они обоснованы только применительно к Западу, где культивируется несовместимость того и другого. В подлинной Республике трудящихся машина раскрепощает дух, и не противостоит ему, и ни в коем случае не подменивает его. В детстве, живя в провинции, я встречал честных буржуа, которые всерьез говорили: «Что же останется рабочему, если его не будут заставлять работать? Трактир!» А ныне в Стране Советов каждый город — улей, жужжащий машинами, — это вместе с тем культурный центр, имеющий свой университет, иногда даже и не один, свои библиотеки, театры, концертные залы, и половина рабочего времени, сбереженного благодаря помощи машин, может быть отдана усвоению духовной пищи»*.

Совсем незадолго до отъезда в СССР — 23 мая 1935 года — Роллан отправил большое письмо студенту-филологу Марселю Тетю. Здесь затронуты принципиальные вопросы международной политики, философии, морали.

Отвечая студенту, который выразил недоумение по поводу встречи Сталина с Лавалем, Роллан объяснял, что социалистическому государству иногда, в силу стечения исторических обстоятельств, бывает необходимо договариваться с буржуазными правительствами. Иногда бывает даже необходимо идти на тягостные уступки. Роллан напомнил о позиции Ленина в вопросе о Брестском мире:

«Гут был выбор: либо отказаться — и тогда германское нашествие раздавило бы русскую Революцию, не подготовленную к сопротивлению, — либо остановить это нашествие немедленным подписанием позорного, навязанного мира, — выиграть время, укрепить Революцию в военном и материальном отношении — и затем уже свести счеты.

Факты показали — даже раньше, чем Ленин мог надеяться, — насколько он был прав».

Комментируя советское коммюнике о беседе Сталина с Лавалем, Роллан утверждал, что руководитель СССР сделал полезное дело, сорвал, по крайней мере на время, расчеты гитлеровской дипломатии. Однако обнадеживающие слова, сказанные Сталиным Лавалю, оправданные в свете задач внешней политики СССР, «никак не связывают Коммунистический Интернационал, а следовательно, и французскую Партию».

И далее Роллан — отвечал, как это нередко с ним бывало, не только своему корреспонденту, но и самому себе — размышлял над тем, насколько опасно пренебрегать требованиями революционной целесообразности во имя отвлеченного, романтически понятого нравственного идеала:

«Перед СССР встают, и еще встанут, и более сложные моральные казусы. Когда пролетарская революция подвергается разгрому — в Китае — в Германии — в Австрии — в Испании (чей еще придет черед?) — мы слышим жалобы побежденных: почему, мол, СССР не объявляет войну всему миру, чтобы их спасти. Это романтические мечтания, которые ни к чему, кроме катастрофы, привести не могут. Долг СССР перед самим собой и перед всем миром — быть неуязвимым, чтобы обеспечить победу своего дела (которое вместе с тем и наше дело). Для этого придет свой час; он приближается. Но нужно иметь выдержку, чтобы не рисковать попусту, не допускать преждевременного развития событий».

В книге *«Пятнадцать лет борьбы»* я частично обрисовал битвы, через которые должны пройти мы, интеллигенты, чтобы избавиться от наших идолов, от той системы идей, которая нас сковывает. Я еще не сказал главного. Между мыслью, даже самой раскрепощенной, и действием масс имеется пропасть. Та, которая отделяет Гамлета от Фортинбраса».

В мыслях, говорит Роллан, легко одолеть любые препятствия; в действии, на практике все это значительно сложнее. Он ссылается на воспоминания венгерского писателя-эмигранта Эрвина Шинко о революции 1919 года в Венгрии. Нелегко было молодому интеллигенту, обле-

ченному властью в своем маленьком городке, судить и отправлять на расстрел врагов революции! Подобные проблемы неизбежно встают в моменты острой борьбы.

«Часто ли совпадают добро, справедливость, диктуемые потребностями немедленного действия во имя нового, лучшего строя, с добром, справедливостью в абстрактном и абсолютном понимании этих слов? И разве великий человек действия, имеющий несчастье обладать и разумом и сердцем, не бывает часто вынужден попирать собственное сердце?»

Роллан вспоминает здесь о Ганди: это великий «человек действия», который старается примирить потребности борьбы с законами абсолютного добра. Но еще неизвестно, добьется ли он успеха даже в Индии, а в Европе условия иные. В Европе идет, по сути дела, непрерывная необъявленная война, и руководители Советского Союза выдерживают сражения не менее тяжелые, чем битвы Бонапарта.

«Вот под этим углом зрения и надо их судить — а не исходя из норм Абсолюта. Хотим ли мы на самом деле, чтобы в СССР был построен новый мир, пример которого распространится и в остальных странах? Если так — надо, чтобы этот новый мир выиграл сражение!» *

Это письмо к Марселю Тетю очень показательно. Роллан продолжал напряженно размышлять над сложнейшими проблемами современности. Те идеи, которые он утверждал в своей публицистике — особенно в статьях сборника «Пятнадцать лет борьбы», были итогом трудной, многолетней внутренней работы. Эта работа не прекращалась в Роллане, конечно, и после его поездки в СССР. Он все время стремился проверять заново — в свете новых событий международной жизни, в свете собственных чтений и впечатлений — те выводы, к которым он пришел.

Но показательно, что Роллан и через два года после своего путешествия — в изменившейся, усложнившейся обстановке — с прежней готовностью выступал, не только в публицистике, но и в переписке, как друг Советского Союза и защитник дела социализма.

Об этом свидетельствует, в частности, письмо к литератору Альфреду Луази, которое Роллан отослал (и переписал в свой дневник) во второй половине 1937 года.

Роллан благодарит Луази за его книгу «Нравствен-

ный кризис нашего времени и воспитание людей» и выражает сожаление, что автор недостаточно осведомлен о жизни в Советском Союзе.

«Не надо спотыкаться о слово «материализм» — оно представляет своего рода знамя, и, по подлинной сути этого учения, оно вовсе не имеет того неприятного смысла, какое ему приписывают; громадный идеализм живет в сердцах этих миллионов, поднимающихся к свету (я говорю о СССР), громадная радость созидания нового мира, — радость, конечно, юношеская и наивная, но несомненно великодушная, ибо она не замыкается в пределы личного благополучия; она неизменно устремлена к освобождению всех народов от всяческих бедствий, и в материальном, и в моральном плане (все это подтверждается сотней писем, которые я получил оттуда, от молодых мужчин и женщин). Не думайте, что для них сокращение рабочего времени — приглашение к праздности, нет, это предпосылка большой дополнительной работы по просвещению, самообразованию, которым увлекается эта молодежь, жадная к знаниям, пожирающая книги. (Они печатаются миллионами — произведения разных литератур, разных времен, на всякие сюжеты — и они поглощаются немедленно, и всегда их не хватает.) Добавлю мимоходом, что обвинять этот новый мир, живущий под знаком Маркса и Ленина, в том, будто там разрушается семья, — значит наносить ему незаслуженное оскорбление. Маркс и Ленин сами были примером супружеской верности, высокого достоинства в семейной жизни, и они сурово осуждали проявления распущенности, прикрывавшиеся именем революции как плащом. По моим сведениям, в СССР сегодня семья не менее прочна и не меньше окружена почетом, чем в нашей Франции...» *

И это и другие подобные письма Роллан писал с самой искренней убежденностью. Благодаря разнообразным личным контактам с советскими людьми — а теперь и благодаря впечатлениям от поездки — он знал о Советской стране много больше, чем иные западные «эксперты», бравшие на себя смелость судить о ней. И все же он отдавал себе отчет, что жизнь СССР известна ему только в самых общих, главных чертах. Ему хотелось знать о ней гораздо больше, понять ее глубже.

...Речь, произнесенную на вокзале перед отъездом из

Москвы, Роллан закончил словами: «Я говорю вам не «прощайте», а «до свиданья!». В тот момент он был убежден, что действительно приедет вторично, и по возвращении домой на самом деле взялся за изучение русского языка (в сентябре 1936 года он в письме к пионерам Игарки похвастался, что уже читает в оригинале «Сказку о царе Салтане» и собирается читать «Рассказ о великом плане» М. Ильина).

Роллану не довелось больше приехать в Советский Союз. И не только из-за одолевавших его болезней. Сразу же после поездки на него нахлынуло множество новых неотложных дел — и литературных и, главное, общественных.

30 августа умер Анри Барбюс. Он выбыл из строя в момент, когда международное антифашистское движение особенно нуждалось в горячем писательском слове. И во Франции и во всей Европе шла острейшая политическая борьба. Фашизм бесновался, готовился к новым грандиозным провокациям. Силы Народного фронта поднимались, чтобы дать ему отпор.

Ромена Роллана все это кровно касалось.

4

Первой работой, которую написал Роллан после возвращения из СССР — осенью 1935 года, — было введение к сборнику «Спутники». В эту книгу он включил литературные выступления разных лет: раннюю полемическую статью «Яд идеализма», направленную против декаданса, предисловие к «Уленшпигелю» Шарля де Костера, воспоминания о встрече с Ренаном, и еще воспоминания — о давнем друге, швейцарском поэте Шпителере, очерки о Шекспире, Гёте, Гюго, Толстом. Сборник завершался статьей «Ленин. Искусство и действие», впервые опубликованной в 1934 году.

Введение к «Спутникам» — своего рода исповедь. Продолжая, дополняя то, что было сказано в «Прощании с прошлым» и «Панораме», Роллан анализирует пути своего духовного развития с юных лет и до старости.

Здесь встают в серьезном философском контексте имена литературных героев, которых Роллан упоминал и в цитированном письме к Марселю Тетю, — Гамлета и Фортинбраса.

Над антитезой этих двух шекспировских характеров Роллан много размышлял еще в восемнадцатилетнем возрасте, — мы это знаем теперь и из «Воспоминаний юности». Он находил в этих характерах две разъединенные половины собственной мятущейся души. «Словно в выпуклом зеркале, узнавал я в этой трагедии свое отражение. Оно двоилось: я был и Гамлет, и Фортинбрас».

Гамлет обладает большой силой интеллекта, но мало способен к борьбе. Фортинбрас готов ринуться в бой, даже сам толком не зная зачем. Они предельно несхожи — и тяготеют друг к другу. Гамлет, умирая, подает свой голос за Фортинбраса, а тот велит похоронить датского принца с воинскими почестями.

В юности Роллан, симпатизируя Гамлету, был склонен считать, что будущее принадлежит именно таким, как Фортинбрас. Долгий жизненный опыт убедил его, что действие стихийное, бездумное столь же мало плодотворно, как и пассивно бездействующая мысль. За лучшее будущее человечества могут успешно бороться лишь люди *осмысленного действия*. Люди, способные принимать решения на основе трезвого знания реальности, и претворять достижения человеческого духа в практику — на благо народам.

Такой идеал деятеля Роллан нашел в Ленине.

Во введении к «Спутникам» Роллан дает сжатый очерк умственных поисков человечества за сто с лишним лет, — поисков, ведущих от Гёте и Гегеля к Марксу и Ленину.

«Единство субъекта и объекта, которое Гёте и Гегель искали в диалектическом развитии, осуществляется только в практической деятельности, только ею. Мышлению отводится задача направлять общественную деятельность, которая изменит действительность, — и таким образом, сам того не подозревая, Гёте приводит к Ленину. Мечта и действие подают друг другу руки».

Гёте приводит к Ленину. Роллан здесь близок к мысли, высказанной Лениным на III съезде комсомола: пролетарская культура — закономерное развитие тех знаний, тех духовных богатств, которые накопило человечество в прошедшие эпохи. В этом смысле естественно, что Ленин в книге Роллана завершает собою ряд великих мастеров культуры: тот ряд, в котором стоят Шекспир, Гёте, Гюго, Толстой.

Читая на протяжении многих лет работы Ленина,

документы и воспоминания о нем, Роллан постепенно все лучше узнавал его — не только как политического деятеля, но и как живую, духовно многогранную личность. На Роллана произвело большое впечатление и то, как Владимир Ильич еще на заре века призывал русских революционеров — «Надо мечтать!»; и ленинский анализ творчества Толстого, проницательно истолкованного, как «зеркало русской революции»; и слова, сказанные Лениным в поддержку сатиры Маяковского; и засвидетельствованная Горьким любовь Ленина к бетховенской музыке...

«Весь арсенал ума, — пишет Роллан о Ленине, — искусство, литературу, науку — мобилизует он для действия, все, вплоть до самых стихийных порывов, до подсознательных глубин существа, вплоть до мечты».

В свете идей Ленина Роллан возвращался к проблеме, которая живо занимала его еще в раннюю пору творчества: художник и общество, искусство и народ.

«Искусство всегда участвует в битвах своего времени» — эта мысль отстаивается Ролланом и в книге «Спутника», и в несколько более ранней статье «О роли писателя в современном обществе».

С другой стороны подходит Роллан к той же проблеме в письме к Франсу Мазерлю от 27 мая 1936 года. Искусство может участвовать в битвах времени, если находит отклик в читателях, зрителях. К кому же должен обращаться художник — к «элите» знатоков, могущей оценить его мастерство, или к неподготовленной массе? По мнению Роллана, эта дилемма — ложная. Большое, настоящее искусство в конечном счете будет понято, должно быть понято массами. Важно, чтобы художник был одушевлен большой гуманистической идеей и не превращал «технику» в самоцель:

«Цель самого высокого искусства должна быть — обращаться одновременно и к элите, и к массам. Думаю, что старинные соборы или венецианские фрески неплохо справляются с этой задачей. Также и — великие полотна Рубенса. И еще — Самофракийская победа! И немалая часть греческих шедевров эпохи расцвета.

Могу вам поручиться, что большой портрет Троиц Фарнезе, набросанный Тицианом, находящийся в Неаполитанском Музее, — может захватить человека с улицы не меньше, чем человека образованного.

Да, этот идеал вовсе не является неосуществимым.

Это можно подтвердить множеством примеров и из области изобразительных искусств, и из области литературы. Проблемы техники отравили искусство нашего времени (и литературу, и живопись): надо было пройти через этот этап; но теперь настало время шагнуть дальше, и писать, и рисовать *среди* людей, *вместе* с людьми и *ради* людей. А люди — это я, это ты — в более крупном, более широком, более полном смысле»*.

В этом плане Роллан неоднократно размышлял, конечно, и над собственным художественным творчеством. Да, у него много друзей и почитателей среди интеллектуально развитой публики разных стран. А народ Парижа — тот, кому была посвящена драма «Четырнадцатое июля», — признает ли он его, Роллана, *своим* человеком? *Своим* писателем?

Большие радости доставило Роллану его семидесятилетие, исполнившееся 29 января 1936 года. Он провел этот день в Вильневе, в кругу близких и получил невиданное множество приветствий и поздравлений из разных стран.

Он рассказал об этом в письме к Горькому от 11 февраля 1936 года:

«Как вы можете себе представить, из всех посланий самые «любовные» были из СССР (я вполне могу сказать это слово); они дышали таким теплом, что могли растопить снег.

Сколько писем от простых людей, которых я никогда не видел и никогда не увижу и которые нам ближе родных! Многие из них наивно повторяют: «Ромен Роллан, отчего вы не живете у нас?» (Они близки к тому, чтобы сказать: не только в СССР, но и в той местности, где они живут...) «Вы наш. Вы нам принадлежите...»

Но что меня особенно поразило, это то, что и другая страна требует меня и говорит: «Нет, ты мой!..» И это та страна, где я родился! Впервые предъявляет она свои права на меня в таком духе! Народное празднество, устроенное в мою честь 31 января в Париже, приняло такие масштабы и было проникнуто таким подъемом, что даже те, которые его организовывали, были сами прежде всего удивлены. Впервые у нас (второй раз — если считать пышные похороны Барбюса) народ Парижа демонстрировал единство духа и мысли с писателями. Кастовые барьеры были разрушены. Это было

поистине новое явление! Празднование в мою честь было не чем иным, как поводом для мощного события, которое подготовлялось в течение двух лет, — с той поры, как интеллигенция Франции решилась, наконец, примкнуть к движению масс и образовать общий фронт против общего врага. Как бы то ни было, в этот вечер (до меня донесся лишь отголосок его издали) я пожал все, что посеял в надежде на этот народ, которому я посвятил мое «14 июля» тридцать лет тому назад. И это мне доставило больше радости, нежели одобрение моих французских братьев».

Весна 1936 года была счастливой не только для Роллана, но и для антифашистов всего мира. Выборы в Испании в феврале, а затем выборы во Франции в апреле—мае принесли победу Народному фронту. По всей Европе повеяло воздухом свободы.

Театры, радиостанции, даже киностудии в разных странах заинтересовались революционными пьесами Роллана. Парижский театр «Альгамбра» назначил на 14 июля премьеру «Четырнадцатое июля». Тут уж писатель не выдержал: он приехал в Париж, пошел на спектакль, пренебрегая всеми врачебными запретами. Пусть новая постановка и показалась ему менее смелой, менее значительной, чем та, которая была осуществлена Фирменом Жемье три с лишним десятилетия назад, — отраден был сам факт, что пьеса вернулась на парижскую сцену. Роллан аплодировал актерам, одобрил музыкальное сопровождение, с интересом рассматривал занавес, выполненный по оригинальному рисунку Пикассо.

17 июля Роллан написал Стефану Цвейгу. Ему не просто хотелось рассказать о своем сценическом успехе, — была потребность в такой момент поделиться мыслями о времени и о себе.

«Нет, я не один, не одинока, как вы мне пишете. Я, напротив, чувствую себя окруженным дружбой миллионов людей из разных стран, и я возвращаю им эту дружбу. Не проходит и дня, чтобы она не доходила до меня горячим дыханием любви и доверия. Я объявляю себя солидарным с этой молодежью — я ежедневно могу оценить ее великодушие и преданность справедливым и гуманным делам. Время Клерамбо прошло. Такие, как Клерамбо, были последним прибежищем духа, наперекор безнадежности старого мира. Но теперь надежда явилась вместе с верой и энергией молодого, нового ми-

ра и благодаря ему. Мне не нужно больше, чтобы спасти свою свободу, запираюсь у себя в комнате. Сбываются слова Фауста: свободы достоин тот, кто каждый день, на разных полях земли, идет за нее на бой».

Далее Роллан критически отзываясь о парижских литераторах, из которых многие заняты лишь «собственной лавочкой», и добавляет:

«Вот почему смерть Горького — такой жестокий удар для меня. Ибо я чувствовал себя кровно связанным с этим большим художником, чуждым всякой литературщины; вся его сила была в его глазах и честном, искреннем сердце. Это громадная потеря для СССР и всего мира»*.

Смерть Горького — не единственное, что омрачало для Роллана эту радостную для него пору. Верно, антифашистское движение в Европе было на подъеме, оно достигло ощутимых успехов, но политическая обстановка продолжала оставаться тревожной.

Весной 1936 года гитлеровская Германия, попирая международные соглашения, ввела войска в Рейнскую область. А в августе того же года Франко поднял мятеж против республиканского правительства, законно избранного народом Испании.

Судьба Испании взволновала Роллана до глубины души. Он был убежден, что Франция обязана помочь южному соседу, помочь действительно — продовольствием, деньгами, оружием. Ведь прав Кола Брюньон: «Лучший способ стеречь свой дом — это защищать чужой!» Роллана удручала подлая политика «невмешательства», проводившаяся западными державами: кабинет Леона Блюма не оправдывал надежд французских избирателей, голосовавших за Народный фронт.

Роллан писал страстные статьи-призывы, статьи-предостережения: «Демократия в опасности! Мир Франции в опасности!» В его Архиве сохранилась почетная грамота — «Благодетелю республиканской Испании», подписанная Долорес Ибаррури и Альваресом дель Ваио: борцы за свободу Испании ценили его поддержку. Но отверженные усилия антифашистов разных стран — включая и писателей разных стран — не могли предотвратить надвигающейся трагедии.

У Роллана были и другие основания для тревоги. Его связи с советскими писателями, с различными общественными организациями СССР после смерти Горь-

кого стали постепенно ослабевать. Он иной раз вовсе не получал ответа на свои письма, ходатайства, запросы. В дневнике за октябрь 1936 года он с горечью писал о том, как недостаток информации затрудняет его работу, мешает давать отпор «бешеной клевете врагов СССР». А потребность в таком отпоре, конечно, была.

Осенью 1936 года мировая печать подняла шум вокруг книжки Андре Жида «Возвращение из СССР». Андре Жид, крупный французский прозаик, признанный апостол аристократического индивидуализма, на время примкнул к антифашистскому движению, выступал на митингах, объявил себя другом СССР. После короткой поездки в Советский Союз он поспешил опубликовать свои впечатления. Они были неблагоприятны, и реакционная пресса возликовала: вот и еще один откололся от большевиков!

Андре Жид проехал в сопровождении переводчика по традиционному туристскому маршруту — из Москвы на Кавказ — и воспринял все, что ему показали, с высокомерием езжей знаменитости. Ни до приезда в СССР, ни во время пребывания там у него не завязалось живых контактов с советскими людьми, — они не вызвали в нем интереса, показались примитивными и во всем одинаковыми. Ему бросилось в глаза то, что мог в первую очередь заметить чужестранец: скромный, на западный масштаб, жизненный уровень, однообразные лозунги и плакаты с портретами Сталина. А то, что привлекало Роллана, — бескорыстный энтузиазм советских людей, их страсть к знаниям, преданность делу социализма, их самоотверженный труд, меняющий лицо страны, — всего этого Андре Жид не смог понять и не пожелал увидеть.

Роллан отозвался на книгу Жида краткой полемической заметкой в «Юманите» в январе 1937 года. Еще раньше — 9 декабря 1936 года — он писал Стефану Цвейгу:

«Не разделяю вашего удовлетворения брошюрой Жида. Я ее нахожу удручающей. Особенно для него самого. Дело не только в том, что его выступление в настоящий момент — дурной поступок: он понимал лучше, чем кто-либо, как им воспользуются все бешеные псы фашизма и реакции. Но и когда он гладит, и когда он царапает, — он лишь слегка задевает кожу: все это поверхностно до смешного, — все это типичные впечатления литературного вельможи (а был ли он когда-нибудь

чем-либо иным?). Ничего он не увидел, ничего не постарался увидеть как следует. Во всей его мелочной злости очеь ясно чувствуется мелочная обида литератора, ущемленного в своем мелочном тщеславии, — начальство, извольте видеть, приняло его прохладно (так ему и надо!«).

Далее Роллан, отвечая Цвейгу, затрагивает тему намного более сложную:

«Что до московского процесса, о котором Жид не говорит и который гораздо важнее, чем все то, чем он занимается своих читателей, — вы об этом судите односторонне. Я не могу сообщить вам в письме все, что мне известно по этому вопросу.

И несколько далее: «Не спрашивайте меня больше ни о чем в данный момент!» *

Мы чувствуем в последней фразе интонацию неловкости: Роллану в тот момент хотелось надеяться, что он получит дополнительные разъяснения, сумеет лучше понять — и объяснить другим — то, что было неясно ему самому. Это чувство неловкости нарастало у него в течение последующих двух лет.

События 1936—1938 годов вызвали резкое расслоение среди западных деятелей культуры. Неустойчивые люди спешили отвернуться от СССР и отходили вправо — в стан антикоммунизма. Действительно большие, передовые художники Запада, оставаясь друзьями Советского Союза, мучительно размышляли, стараясь понять: что же происходит?

При всей остроте переживаний, омрачивших в эти годы жизнь Роллана, при всей глубине горечи, которая накоплялась в нем, он оставался вернейшим другом Советского Союза. Он дал для советской печати краткие статьи — приветствия к 20-й, а потом и к 21-й годовщине Октябрьской революции. «Только интернациональный социализм может спасти и спасет человечество»: в этом Роллан был убежден, и этим определялось его отношение к первой стране социализма.

Именно в эти годы Роллан постепенно становился ближе к французским коммунистам, встречался и беседовал с Кашеном, Торезом, Фрашоном. Он послал дружеские обращения конференциям Французской коммунистической партии в 1937 и 1939 годах.

Мало-помалу у Роллана созревало решение уехать из Швейцарии. Жить в Вильневе становилось неприятно, —

местные власти смотрели косо на антифашистскую деятельность писателя, иностранная пресса, необходимая ему для работы, доставлялась с большими перебоями, у него были сильные подозрения, что и его личная переписка подвергается контролю. Вместе с тем он чувствовал, что нужен своей стране — именно теперь. В декабре 1937 года он сообщил своему японскому корреспонденту Тосихико Катаяма: «Я решил, не без труда, оставить Швейцарию, потому что больше не могу дышать там свободно: она поддалась заразе «коричневой» или «черной» чумы. Мое место — во Франции Народно-го Фронта, тем более, что она под угрозой»*.

Роллана влекло в родные бургундские места. Его выбор пал на Везеле — маленький городок, расположенный недалеко от Кламси, на возвышенности, постоянно овеваемой ветрами, среди полей и виноградников. Там ему легко дышалось, и он надеялся, что сможет работать без помех.

О своем переезде он с оттенком юмора рассказал Стефану Цвейгу в письме от 24 июня 1938 года:

«Мы уже дней пятнадцать как переселились — не без труда, но без повреждений. Пока устроимся, пройдет еще немало недель.

Не столь легкое дело — перетащить через Юрский хребет 80 ящиков книг и бумаг, не говоря уже о других вещах, о людях, пяти кошках и большой собаке!.. Дом нас не разочаровал. Единственный его недостаток — что он слишком мал, чтобы принимать там друзей. Но есть хорошая гостиница поблизости. Особенно прелестен сад. Даже в самые жаркие дни он дает достаточно тени; там чудесная липовая аллея, а над ней розарий. Кругом расстилается широкий горизонт.

Весь этот край для меня полон воспоминаний. Я ездил в мой милый Кламси (20 минут на машине); еще ближе — деревня Брев, где спят мои предки с отцовской стороны (Боньяр, апостол свободы) и где непрерывно бродит тень Кола Брюньона. Он хорошо знаком местным жителям, многие говорили со мной о нем...»*

Постепенно Роллан привыкал к новому жилью. Везеле — своего рода музей: его история связана с крестовыми походами, его главная достопримечательность, церковь Св. Мадлены, — выдающийся памятник романоготической архитектуры. Каждое воскресенье сюда устремлялся поток туристов. Площадь перед гостиницей запол-

нялась машинами; стайки экскурсантов растекались по узеньким улочкам, осматривали церковь, поднимались на башню, любовались видом на окрестности; в ресторанчике «Отдых крестоносца» целый день толпились посетители; лавочки и ларьки бойко торговали местными сувенирами — значками, открытками, статуэтками святых, керамической посудой, покрытой ярко-зеленой или малиновой глазурью с золотистым отливом... А в будни царила благословенная тишина. Можно было и посидеть над рукописью, и отдохнуть в саду, и пройтись по «шмен-де-ронд» — круговой дороге вдоль старинной городской стены, и побеседовать с друзьями, которые хоть изредка, да приезжали: двести двадцать километров от Парижа — не такое уж большое расстояние.

А в мире становилось все тревожнее.

В последних числах сентября 1938 года — незадолго до пресловутого Мюнхенского соглашения — группа учителей обратилась к Роллану с просьбой подписать манифест против войны. Документ этот был очень расплывчат по содержанию, но Роллан не решился отказать учителям и дал свою подпись. Манифест появился в печати уже после того, как Мюнхенское соглашение стало фактом. Подпись Роллана вызвала немало кривотолков: неужели прославленный писатель-антифашист одобряет постыдный сговор западных держав с Гитлером?

Федерация профсоюзов департамента Луары (входящих в ВКТ — Всеобщую конфедерацию труда) послала в Везеле недоумевающее письмо, и Роллан ответил:

«Дорогие товарищи,

Я подписал декларацию против войны, составленную в общих выражениях и не содержащую нападок на какую бы то ни было партию, потому что я, как все французы, не хочу войны.

Но если противники ВКТ и коммунистической партии ссылаются на меня — это нечестно. Я сохраняю верность ВКТ и Французской коммунистической партии, которые всегда энергично боролись против войны.

Если все мы любим мир и хотим мира, — мы вместе с тем считаем, что Мюнхенское соглашение — это уничижительная капитуляция, которая дает новое оружие врагам Франции»*.

Еще до того как Мюнхенское соглашение было подписано, 23 сентября, Роллан дал интервью Франсуа Вогаду, корреспонденту газеты «Курье де ля Ньевр», вы-

ходившей в Кламси. Это интервью появилось в газете 10 октября:

«Я считаю, что коммунизм — наиболее последовательное, мощное и эффективное проявление действующих ныне социалистических сил. И я считаю, что он в будущем распространится на все страны».

«...Самое важное, с чем надо считаться в первую очередь, — это непрерывное экономическое и социальное развитие громадного народа Советских Республик. СССР стремится к миру, который создает ему благоприятные условия для дальнейшего подъема. Но он готов ко всяческому неожиданностям. Его огромные военные силы и пламенная вера, одушевляющая его молодые поколения, дадут ему возможность противостоять любым коалициям».

Интервью кончалось призывом — быть бдительным по отношению к международному фашизму.

После Мюнхена Роллан с возрастающей тревогой следил за судьбами Чехословакии. Он выразил дружеские чувства к чехословацкому народу и осудил предательство «малодушных и беспринципных руководителей западных демократий» в письме на имя президента Эдуарда Бенеша 7 октября 1938 года.

Вскоре после того как Мюнхенское соглашение стало фактом, «Женский союз экономического возрождения Чехословакии» обратился к Роллану за помощью. Стало известно, что французское правительство намерено уменьшить импорт из Чехословакии; авторы письма просили Роллана ходатайствовать, чтобы это намерение не осуществилось, иначе разорение их страны пойдет еще более ускоренным ходом.

В ответе Роллана чехословацким женщинам чувствуется искренняя душевная боль:

«Сударыни,

Я — один из тех многочисленных французов, которые восприняли Мюнхен как горе и позор. Я всегда был преданным другом Чехословакии... Вы не можете сомневаться в чувствах глубокой симпатии, с которыми я отношусь к вам; я перешлю ваше письмо г-ну президенту Эррио. Но я, к сожалению, не имею никакого влияния на французское правительство. Помимо того — позвольте объяснить вам, в чем трагическая сложность нынешнего положения. Чехословакия утратила свою независимость. Для каждого француза это повод к тому, чтобы испытывать угрызения совести. И вместе

с тем для Франции в целом это — опасность: и наши государственные деятели не могут не остерегаться — как бы помощь, предназначенная для Чехословакии, не обернулась потом оружием против Франции. Как выйти из этой дилеммы? И сможет ли французское правительство контролировать дальнейший ход событий?..» *

После того как Чехословакия в марте 1939 года была оккупирована гитлеровцами, Роллан опубликовал в «Эроп» статью «Траур над Европой», полную скорби и гнева.

Роллан и в это трудное время по-прежнему упорно, планомерно занимался писательской работой и, как обычно, поддерживал связь с многочисленными корреспондентами, в том числе и с молодыми литераторами, которые искали у него помощи.

Марсель Тетю, ставший преподавателем коллежа в Мелэне, пробовал свои силы в области художественной прозы. Он обратился к Роллану за советом — как организовать свой творческий труд?

Роллан ответил 9 января 1939 года:

«Вы спрашиваете, на основе каких правил можно управлять собой в процессе писанья. Самое главное — ковать железо, пока горячо, — перечитывать вечером то, что вы написали утром, и перечитывать опять на следующее утро, не приостанавливая порыв рассказа, но поддерживая его, сохраняя его единство и тональность. Когда произведение (или определенная часть произведения) будет закончено, отложите его, с тем чтобы оно совсем от вас отделилось. Когда наступит подходящий момент — возьмитесь за него опять и перечитайте его свежими глазами, залпом, как бы паря над ним сверху. Но остерегайтесь, как бы не впасть при этом в чрезмерную суровость! Бывает и такая, вполне естественная, инстинктивная реакция. Если вы ей поддаетесь — пусть рукопись полежит еще немного! Только последующий, окончательный просмотр может быть справедливым и объективным».

Если вы находите в моих произведениях определенную уравновешенность, соблюдаемую даже в страсти, — это значит лишь, что я немало бил молотом по наковальне, обуздывая страсть. Всю жизнь я ее обуздывал. А если это мне иной раз не удавалось (в статьях, которые слишком поспешно вышли из-под пера) — то я не достигал

уравновешенности и потом вынужден был строго критиковать себя за это.

Художественное творчество — замечательная школа самообладания. Даже если единственное, чего удастся достигнуть, это умение управлять своими внутренними силами, это само по себе — один из прекраснейших трофеев, вырванных у жизни. Тех, кто этого добился, можно по пальцам пересчитать»*.

В Везеле Роллан закончил работу, которая была задумана еще очень давно — еще в начале столетия, — драму «Робеспьер». Она была опубликована в 1939 году — к 150-летию юбилею Французской революции.

Французская прогрессивная печать широко отмечала эту дату. Память о великой революции связывалась в сознании передовых французов с теми героическими национальными традициями, которые могут быть опорой в борьбе против фашистского мракобесия. Роллан написал к юбилею небольшой исторический очерк «Вальми».

В пьесе Роллана «Робеспьер» отразились его многолетние размышления над острыми вопросами истории и современности. Ему хотелось исследовать, уяснить самому себе те внутренние законы, которые движут большими социальными переворотами. Конечно, можно было бы создать к памятной дате еще один радостный сценический апофеоз наподобие «Четырнадцатого июля». Но драматург пошел гораздо более трудным путем — показал революцию не в дни торжества, а в дни поражения.

В «Робеспьере» нет никакой нарочитой модернизации прошлого. Более того: в этой монументальной трагедии-хронике Роллан больше, чем во всех прежних своих драмах, верен исторической правде. Образ революции, овеянный величественной и суровой поэзией, нарисован густыми рембрандтовскими красками, с резкими контрастами светотени. Французская революция раскрывается здесь не как взрыв роковых «коллективных страстей», а в своей действительно сложной сути: как могучее народное движение, имевшее всемирно-исторический смысл, и вместе с тем как *буржуазный* переворот, который по объективным условиям эпохи не мог осуществить своих гуманистических лозунгов.

«Для того ли Революция отняла привилегии у знати, чтобы даровать привилегии богатству?» — спрашивает Сен-Жюст. Деятели якобинской диктатуры рисуются Ролланом как люди, искренне преданные народу, желаю-



Robespierre

Рисунок к суперобложке венгерского издания «Робеспьера» (1966).

щие дать ему обещанное благоденствие. Но Робеспьер, готовый согласиться с требованием Сен-Жюста об изъятии награбленного имущества у буржуа, вынужден считаться с реальной силой этих буржуа: ведь в их руках и торговля и кредит, от них зависит снабжение войска. Старая крестьянка, которую случайно встретил Робеспьер, горько упрекает его: «Теперь пошли новые богачи. А бедняки так и остались бедняками». И Неподкупный смущен, ему нечего возразить...

Революция должна защищаться от своих врагов, она обязана быть сильной, а когда нужно, и беспощадной; в прежних пьесах Роллана эта мысль была заявлена лишь в самой общей, декларативной форме, она не подкреплялась, а то и опровергалась логикой действия. В «Робеспьере» эта истина утверждается всем ходом со-

бытий — наглядно и неопровержимо. Драматург передает адскую напряженность обстановки, в которой приходилось действовать Робеспьеру и его ближайшим сподвижникам. Молодая республика находится в непрерывной острой опасности, ее существованию угрожают и уцелевшие остатки старой аристократии и соседние монархические державы. Политика всепрощения в таких условиях была бы гибельной.

Однако Роллан заставляет читателя задуматься: всегда ли верно, всегда ли в нужном направлении действовала карающая рука якобинской диктатуры?

Анализируя с суровой трезвостью сильные и слабые стороны якобинцев, Роллан не сомневается и не дает читателю усомниться в величии революции и бессмертия ее дела. Робеспьер и Сен-Жюст идут на смерть с сознанием своей исторической правоты. Борьба человечества за счастливое будущее проходит через тяжелые кризисы, сопряжена с громадными трудностями, жертвами. Но эта борьба продолжается. Таков закон истории.

Роллан обрадовался, когда получил в марте 1939 года один из первых читательских откликов на новую драму — письмо от Стефана Цвейга. Австрийский писатель, сколь ни был он далек от революционных симпатий, сумел почувствовать не только трагедийность «Робеспьера», но и его жизнеутверждающий дух:

«То новое, что вы дали современному театру, заключено в финале. Я всегда чувствовал, что историческая драма в какой-то мере мертва, если не удастся оживить ее идеей. В двух последних сценах прежние узкие рамки разбиты; чувствуется воздух нашего времени и большой поток нашей жизни. Это вам превосходно удалось: пьеса не оставляет ощущения, что речь идет о поражении революции. Мы должны чувствовать и чувствуем, что этот человек — одна из жертв на пути, но что сам путь не закрыт»*.

Еще до выхода «Робеспьера» отдельной книгой, осенью 1938 года, Роллан прочитал его в кругу литераторов и театральных деятелей, в доме писателя Рене Аркоса; читал необычайно увлеченно, как вспоминал потом Аркос, — три часа без перерыва, не выпив и глотка воды. Пьеса была принята для исполнения по радио.

Роллан и сам был удовлетворен своим новым произведением. «Думаю, не ошибусь, — писал он А. Сеше, — что это — самая важная часть моего цикла о Револю-

ции. Единственное, что говорит против нее, — это размеры. Но это, как мне кажется, вещь очень волнующая, и в драматическом и в человеческом смысле». Для исполнения «Робеспьера» в театре Роллан — обычно нетерпимый ко всякого рода купюрам — был готов сделать сокращения в некоторых слишком пространных диалогах.

Пятого июля 1939 года состоялась премьера другой его драмы, «Игры любви и смерти», в «Комеди Франсез». Она прошла с успехом. Роллан с грустной иронией вспоминал о честолюбивой мечте своей молодости — увидеть хотя одну из своих пьес на подмостках старейшего национального театра. Вот эта мечта и осуществилась — почти полвека спустя!

Теперь ему хотелось добиться постановки «Робеспьера» в Париже. Хотелось, но не удалось.

Тучи новой войны сгущались над Францией — и над всем миром.

На первых порах пребывания в Везеле Ромен Роллан, живя в провинциальном уединении, все же никак не чувствовал себя оторванным от событий, происходивших в стране и во всем мире. Каждое утро почтальон приносил ворох писем, газет, журналов на разных языках. Телефоном Роллан не любил пользоваться, а радиопередачи слушал, к этому он привык еще в Вильневе. Время от времени он выезжал с женой в Париж; в числе гостей, которые навещались к нему из столицы, были Морис Торез, Жорж Коньо, Жорж Садуль, Жан-Ришар Блок.

Но наступил момент, когда эти визиты прекратились. Роллану было очень необходимо поговорить с политически осведомленными людьми, объяснить начистоту, чтобы разрешить свои сомнения, — а объяснить было не с кем.

24 августа 1939 года голос диктора сообщил, что в Москве подписан пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией. А потом заговорили комментаторы, обрушивая проклятия на большевиков, предсказывая близкое начало войны в Европе. Обыватели Везеле заметались. Мужчины призывного возраста собирали вещевые мешки в ожидании скорой мобилизации, хозяйки запасались продовольствием. В городке воцарилась растерянность.

Растерян был и Ромен Роллан. Внешнеполитические обозреватели буржуазной печати перекладывали на Мо-

ску ответственность за срыв военных переговоров с Францией и Англией, злорадно расписывали подробности дипломатических встреч Молотова с Риббентропом. Они использовали пакт как удобный повод для разжигания антисоветских страстей.

Пришло письмо от Жана Кассу, известного писателя, главного редактора «Эроп». Он сообщал об острых разногласиях в редакционном комитете. Люк Дюртен и Рене Лалу требовали, чтобы журнал выступил с резким протестом против советско-германского договора. Жан-Ришар Блок и Арагон безоговорочно одобряли договор. Сам Жан Кассу считал, что в сложившейся обстановке целесообразнее всего временно закрыть «Эроп», не публикуя никаких деклараций по этому поводу. Роллан согласился с ним. Публичный спор между видными литераторами, которые в годы Народного фронта работали согласно, мог бы только сыграть на руку реакции. Еще придет время возродить «Эроп», восстановить распавшееся единство демократической интеллигенции.

Роллан вновь и вновь обдумывал сложившееся положение. Он приходил к мысли, что у Советского Союза были, видимо, свои серьезные причины для заключения договора с Германией; он старался понять эти причины, подыскивал объяснения. У него возникала смутная надежда, что со временем все встанет на свое место и то, что непонятно сегодня, наверное, прояснится.

Хладнокровнее всех в доме Ролланов был в эти дни Сергей Кудашев. Он провел каникулы в Везеле, а в конце августа срочно собирался домой, чтобы успеть попасть в Москву — через Швецию и Финляндию — по возможности до того, как начнется война в Европе. Он ничуть не сомневался, что ему рано или поздно предстоит сражаться с гитлеровцами в рядах Красной Армии. Уезжая, он спокойно сказал матери и отчиму, что прощается с ними, возможно, навсегда. Ведь он математик — значит, пойдет в артиллерию, он даже точно знает, что будет офицером средней артиллерии; а там процент смертности, как показывает военная статистика, очень высок... Мария Павловна мучительно тревожилась за Сергея: сумеет ли он благополучно добраться домой? И что будет с ним дальше? Роллан разделял тревоги жены. Но еще более тяжким было для него состояние неуверенности перед лицом неожиданно нахлынувших событий. Вдобавок и почта перестала доставляться. Ни-

кто из друзей не приезжал — всем было не до того. Роллан вдруг почувствовал себя очень одиноким.

Война Францией с гитлеровской Германией вот-вот начнется — это было очевидно. Долг честных французов в этой войне — не стоять «над схваткой», а сражаться. «Фашизм — враг, которого нужно разбить», — так не раз писал Роллан в своих статьях. На этой позиции он оставался и теперь, и ему хотелось громко заявить об этом.

В день объявления войны, 3 сентября, Роллан отправил письмо премьеру Даладье:

«В эти решающие дни, когда французская республика встает, чтобы прекратить путь гитлеровской тирании, обрушивающейся на Европу, — разрешите старому борцу за мир, который издавна обличал варварство, коварство, наглые притязания Третьей империи, — высказать вам свою полную преданность делу демократий, Франции и всего мира, находящихся ныне в опасности...»

В этот же самый день, 3 сентября, была закрыта газета «Юманите». Начались повальные аресты коммунистов, всех антифашистов, полицейский поход против прогрессивных организаций. У Роллана были все основания пожалеть о своей наивной доверчивости по отношению к правительству Даладье: становилось все более очевидным, что это правительство вовсе не намерено воевать всерьез с гитлеровской Германией, что оно воюет в первую очередь с передовыми силами в собственной стране.

Начался затяжной период так называемой «странной войны»: на фронтах было тихо, а внутри Франции свирепствовал полицейский террор.

Роллан замкнулся в горестном молчании. Поведение тех французских литераторов, которые заняли в это время официальную, «конформистскую» позицию, было ему отвратительно. Он писал Стефану Цвейгу 18 декабря 1939 года:

«Не ждите от меня статей! Мне не разрешили бы печатать (или написать — даже обращаясь к друзьям) больше, чем половину правды или одну ее треть. Половина или треть правды — это ложь, которая может быть выгодна в военных условиях. Нет, эта пища — не для меня. Мне надо либо все сказать, либо ничего.

Нужно уничтожить Гитлера и гитлеризм — в этом мы с вами согласны и будем полностью согласны — до

конца. Мы были антигитлеровцами первого часа и остаемся ими до последнего часа.

Но о многом другом у нас тоже есть что сказать. А это нам не дозволено. Даже в Швейцарии и в нейтральных странах в ходу лишь очень куца правда. «*Cedat armis veritas!*»¹. А между тем *полная* правда была бы так замечательно интересна и поучительна, и даже так полезна для крупных государственных деятелей и для крупных историков, которые должны были бы быть их советниками!..

Я утешаю себя тем, что пишу Воспоминания молодости. Описал уже годы пребывания в Нормальной Школе и Риме, дошел до лет супружества, между 1892—1901 гг., — в это время я был молодым Жан-Кристофом, непримиримым, несправедливым, бунтующим, толкался и ошибался то справа, то слева.

Эта война, помимо всего прочего, разорительна для нас, писателей. Наши ресурсы совершенно истощены, а расходы возросли. Одни лишь видные «конформисты», вроде Дюамеля, Жироду, Жюля Ромена, отлично приспособились. Лекция Жюля Ромена в Женеве — образец того, чего я никогда не сделаю. У этих господ часы всегда идут в соответствии с большими часами Информационного центра*.

...Знакомые, приезжавшие к Роллану еще до войны, сразу же обращали внимание, что против его дома стоит двухэтажное здание казенного вида, с трехцветным знаменем над дверью и вывеской «Французская жандармерия». Извилистая улочка с пышным названием Гранд Рю де Сент-Этьен в этом месте особенно узка. Кто-то из гостей Роллана шутки ради измерил ширину мостовой — шесть шагов! Но в довоенное время такое близкое соседство жандармерии не мешало ни ему самому, ни приезжавшим к нему друзьям.

С первых же дней войны за домом Роллана было установлено наблюдение. Из окон жандармерии отчетливо просматривались и калитка, и терраса, и окна роллановского особнячка. В течение всех лет войны писателю предстояло жить в шести шагах от неусыпно надзирающих «блюстителей порядка». В глазах полиции Даладье, а тем более впоследствии полиции Петена Роллан был (как вспоминала потом его жена) «очень опасным

¹ «Истина уступает оружию» (латин.).

человеком». Посетителей, выходявших от него, иной раз останавливали жандармы и спрашивали у них документы. Письма, которые он отправлял и получал, доставлялись с задержками: они, как и следовало ожидать, подвергались цензуре. Всякая возможность контакта с друзьями была почти что сведена к нулю. Роллану, разумеется, было известно, что коммунисты — включая и его близких знакомых — подвергаются преследованиям, но он очень слабо представлял себе, какова сейчас их позиция и тактика. «Ничего теперь не знаю о тех, на кого надет намордник, — с горечью писал он Мазерелю 26 января 1940 года. — Должен сознаться, что я их не понимаю. Дожидаюсь возможности услышать их голос, чтобы иметь суждение о них» *.

Роллан и его жена делали попытки вырваться, хоть на время, из того плена, в котором они фактически находились в Везеле. Еще до войны они сняли маленькую квартирку в Париже, на бульваре Монпарнас, № 89, — таким образом, им было где остановиться при кратковременных отлучках в столицу. В мае 1940 года им удалось даже уехать в Швейцарию (Роллан оставил за собой виллу «Ольга», и там продолжала жить его сестра). Но не успели они приехать и расположиться, как французский консул посоветовал им немедленно вернуться в Везеле: наступление гитлеровской армии ожидалось со дня на день, считалось вероятным, что и Швейцария будет оккупирована.

Франс Мазерель, служивший в противовоздушной обороне, написал Роллану, спросил, нельзя ли передать ему на хранение рукописи и рисунки. Роллан ответил 2 июня: он, разумеется, согласен принять работы Мазереля, но не может ручаться за их целостность. «Департамент Ионы уже стал военной зоной, и если случится такое несчастье, что наши враги будут наступать, мой дом, наверное, не удастся уберечь. Вы же знаете, что мое имя у гитлеровцев в черном списке» *.

В первых числах июня в небольшом доме в Везеле собралось много народу: спали как попало, во всех комнатах, на матрацах, разложенных прямо на полу. Семья Ролланов широко предоставила приют знакомым, отчасти и вовсе малознакомым людям, которые спасались из Парижа перед неминуемым фашистским нашествием.

Парижское радио передавало молебны вперемежку с противоречивыми сообщениями: жителей столицы то при-

зывали эвакуироваться, то — сохранять спокойствие и оставаться дома. По шоссе, которые вели из Парижа на юг, двигался поток беженцев: кто на машинах, кто на велосипедах, а кто и пешком.

В доме Роллана царило смятение. Жгли письма, тысячи писем в предвидении обыска, — писатель не хотел подвергать опасности своих многочисленных корреспондентов. Мария Павловна уговаривала мужа уехать: нашлись знакомые, обладатели большого автомобиля, которые были готовы взять их с собой. Сохранился лист бумаги, который Роллан, собираясь покинуть дом, прикрепил к своему книжному шкафу. Надпись крупным почерком: «Библиотека Ромена Роллана. Я отдаю ее под охрану Нации и всех порядочных людей, которые уважают культуру». И дата: 16 июня 1940 года.

Все уже было готово к отъезду. Но утром 16 июня на главной площади Везеле появился мотоциклист в черном мундире эсэсовца. За ним последовал танк, еще танк, броневики. Солдаты вермахта в серо-зеленой форме вылезали из машин, расходились по улицам и переулкам, грабили дома, брошенные жителями. Роллан и его гости часами сидели вместе в большой комнате, тихо переговаривались, стараясь подбадривать друг друга и все время ожидая: вот-вот ворвутся гитлеровцы. Раздался грубый стук в дверь, вошел фельдфебель и попросил дать несколько досок: ему нужно было срочно сколотить гроб для офицера, который разбил свою машину и сам разбился насмерть.

Прошло еще несколько дней. Немецкие части ушли; в разграбленном, загаженном городе стало тихо; потом пришли новые немецкие части, и все началось сначала. Роллана не трогали. Он продолжал вместе с женой разбирать и сжигать письма. Немецкий солдат подошел на улице к молодой служанке Ролланов, заговорил с ней на ломаном французском языке, сказал ей: «Передай хозяйке, не жечь бумаги, дым видно».

Захватчики, конечно, имели понятие, кто такой Ромен Роллан. Его всемирно известное имя в какой-то мере ограждало его от произвола со стороны местных военных властей: для того чтобы убить или даже только арестовать его, требовалось указание оккупационного начальства, — такое указание не было дано. Роллан был, в сущности, не опасен гитлеровцам, он и так был у них в руках, — старый, больной, изолированный в маленьком

городке, где каждый его шаг был на виду. У кого-то из берлинских заправил возникли даже иллюзии — не удастся ли приручить знаменитого писателя, знатока немецкой литературы и музыки? (О том, как он отказался от медали имени Гёте, к тому времени, видимо, уже забыли.) К Роллану явился офицер вермахта и передал предложение некоего издательства — выпустить новый немецкий перевод «Жан-Кристофа», правда, с «небольшими» сокращениями и поправками. Роллан решительно отказался. А потом узнал, что правительство Петена включило школьное издание «Жан-Кристофа» в список запрещенных книг.

Вскоре после того как немцы водворились в Везеле, Роллан усилием воли заставил себя вернуться к работе.

В 1939—1940 годах он писал обширные «Воспоминания», охватывающие период от поступления в Высшую Нормальную Школу до начала нового столетия. Под заключительной главой этих «Воспоминаний» стоит дата: «Везеле, 26 июня 1940 года (в период немецкой оккупации)». Со времени вторжения гитлеровцев прошло всего *десять* дней!

Отложив в сторону «Воспоминания», Роллан взялся за рукопись автобиографического очерка «Внутреннее путешествие», над которым он работал в двадцатые годы в Вильневе. Теперь он добавил к этому очерку новые страницы, прежде всего — «Прелюдию», датированную 2 августа 1940 года.

«...В эти бессонные ночи, когда в ушах непрерывно стоит грохот тысяч моторизованных чудовищ, ринувшихся навстречу своей гибели, — мой дух, придавленный жестоким настоящим, ощупью ищет выхода в будущем или в прошлом.

Но о будущем говорить еще не приходится, ибо хозяева сегодняшнего дня намерены распорядиться им сами (этим всегда обольщались калифы на час)...

В дни тяжкого плена я не причитал над развалинами, неотступно не взывал о помощи свыше, а собирал и пересчитывал накопленные нами богатства, те, что не может отнять у нас победитель, — наши воспоминания».

В этих строчках не только горечь, но и гордость. Роллан, несмотря ни на что, не хотел сдаваться. Немецкие оккупанты были для него *«калифами на час»*, а обращение к духовным богатствам прошлого — способом *противостояния* им. Он продолжал писать, работать —

не только потому, что труд сам по себе давал ему моральную опору и утешение, но прежде всего потому, что хотел и в это невыносимо тяжкое время «служить новым судьбам родины — двойной родине: Франции и всему миру».

Этот же дух мужественного противостояния чувствуется в письмах, которые Роллан писал в первые два года войны молодому рабочему-коммунисту Эли Валаку. Их знакомство началось еще в предвоенную весну 1939 года: семнадцатилетний Валак, пламенный почитатель автора «Жан-Кристофа», приехал навестить его в Везеле. (В дни войны Эли Валак вступил в партизанское соединение, которым командовал прославленный полковник Фабьен, и летом 1942 года был расстрелян фашистами.)

Роллан писал юноше 1 марта 1940 года:

«Лучший врач для меня, как это было всю мою жизнь, — работа. Я пишу для лучших времен.

В наше время слово бессильно; главное — надо быть смелым и терпеливым, и всем вместе вести борьбу против гитлеризма, до победы над ним...»

По истечении восьми месяцев оккупации — 12 февраля 1941 года — Роллан писал Валаку:

«Мы лично не пострадали. Но мы заперты здесь, и с этим приходится мириться. Я нахожу поддержку в моей работе, которую я никогда не прекращал. Я написал много томов воспоминаний о моей юности, теперь продолжаю мои труды о Бетховене. Разумеется, я не буду ничего публиковать, пока в стране не восстановится нормальная жизнь. Я, впрочем, часто встречал больше понимания и симпатии к Кристофу и к Кола у иных посетителей-оккупантов, чем в некоем известном вам курортном городке на водах.

Вам лучше будет пока не приезжать и пореже писать. Надо только быть терпеливым и верить в будущее. Вам повезло — ваше будущее будет долгим. У меня же лишь сердце молодое, и мое будущее — это будущее других. Я довольствуюсь этим. Я привык жить на несколько десятков лет — а то и веков — вперед. Мне не надо при этом спешить и надрываться: человечество ползет как улитка (это все же лучше, чем пятиться, как рак!). *E pur si muove!* (И все-таки движется!)»

Слова о посетителях-оккупантах, которых Роллан предпочитал обитателям «городка на водах» (то есть предателям из Виши), не должны нас удивлять. Те немецкие солдаты, подчас и офицеры, которые заходили к знаменитому антифашистскому писателю, чтобы выразить почтение или получить автограф, — это, конечно, были не нацисты, а скорей всего люди, которые тяготились своим положением. Один из таких посетителей Роллана (как свидетельствует французский исследователь Рене Шеваль) впоследствии дезертировал из гитлеровской армии. Можно понять, что для Роллана могло быть более приемлемо общение с такими немцами, чем с французами, утратившими чувство национального достоинства.

Очень тягостны стали для него встречи с бывшим приятелем Альфонсом де Шатобрианом. Еще за несколько лет до войны их идейные пути резко разошлись. Роллан в принципе считал, что можно поддерживать добрые отношения даже и при наличии политических разногласий; 1 января 1935 года он с оттенком юмора писал об этом Шатобриану («Твои предки, эмигранты, и мои, санкюлоты, перекрикивались и поддразнивали друг друга, стоя по разные стороны Рейна...»). Но уже немного времени спустя, в декабре 1936 года, он в письме к общей знакомой, Клер Женье, с большой горечью осуждал «преступный абсурд Шатобриана»*, который стал яростным антикоммунистом и почитателем Гитлера. В период фашистского нашествия Шатобриан выпускал журнальчик «Жерб» в духе политики Виши и пытался — без существенного успеха — привлечь французскую интеллигенцию к сотрудничеству с оккупантами. (Можно предположить даже, что это он посоветовал немецким властям не трогать автора «Жан-Кристофа».) Он приезжал в Везеле, но Роллану было не о чем с ним говорить. После начала войны гитлеровской Германии против Советского Союза Шатобриан прекратил свои визиты.

В начале войны Роллан был твердо намерен ничего не печатать, пока в стране не восстановится, как он говорил, нормальная жизнь. В 1942 году он все же решился под давлением крайней материальной нужды опубликовать у своего старого издателя Альбен Мишеля книгу «Внутреннее путешествие» (в сокращенной редакции — без «Прелюдии» и без последней главы, «Кругосветное плаванье»). В 1943 году в издательстве «Саблие», кото-

рым руководил Рене Аркос, вышли два тома большого труда Роллана о Бетховене под общим названием «Незавершенный собор». Остальные рукописи Роллан откладывал («до лучших времен»).

Трудности военного времени сказывались в захолустном Везеле еще более резко, чем в больших городках. Не хватало продуктов питания, временами не было электричества, воды. Мария Павловна то перекапывала грядки в огороде, то ходила по соседним деревням, чтобы достать молока или картофеля. Роллан, насколько позволяло здоровье, придерживался привычного ритма жизни. Каждое утро он писал по нескольку страниц, а в свободные часы много читал.

Письма, которые он посылал в Париж Рене Аркосу, говорят о неубывающей интенсивности его умственной жизни в это время.

«Перечитываю Геродота, — сообщал он в декабре 1940 года. — Наслаждаюсь им, он прелестен. В нем есть что-то неуловимо похожее на Монтеня или на Анатоля Франса. Что до его Предсказаний и Сновидений, которые он тщательно излагает, — они могли бы составить «Ветхий завет» в духе ионийцев, не хуже библейского».

«Читаю много книг по точным наукам, — говорится в письме от 12 июля 1941 года. — Не скажу, что одолеваю алгебру без препятствий. Но в конце концов мне удается с ней сладить, — разгрызаю орешек. Великолепное дело: что бы ни происходило в мире, наука идет себе и идет своей собственной дорогой. Да еще какими семимильными шагами! Именно в этой области можно ощутить дух свободы — нетронутый, неприкосновенный, не искаженный предрассудками. Здесь нет ни наций, ни рас. Эйнштейн, принц де Брольи, великие немцы и англосаксы подают друг другу руки. В нашем мире искусства далеко до этого. У нас гораздо больше духовных перегородок...»

В муниципальной библиотеке Везеле Роллан нашел старые комплекты одного из наиболее солидных толстых журналов, «Ревю де дё монд». К таким изданиям он привык относиться неприязненно, как и ко всему тому, что пользовалось влиянием в буржуазном литературно-артистическом Париже. Теперь, читая на досуге «Ревю де дё монд», он размышлял о том, что передовым литературным деятелям надо ближе присматриваться к своим про-

тивникам, извлекать то ценное, что есть в их опыте. И он в январе 1942 года делился своими раздумьями с Рене Аркосом, старым соратником по редакции «Эроп»:

«Я нахожу здесь много интересных статей на разные темы: история литературы, неизданные мемуары, точные науки, путешествия, политика. Общий дух не так уж антипатичен — он старается быть объективным. Что мне бросается теперь в глаза, так это недостатки наших старых журналов. Нам не удавалось сделать их интересными, разнообразными. Они слишком замыкались в рамки литературных и политических группировок. Не хватало человеческого элемента — в историческом и критическом разделе, а также и в романах. В том, что я сейчас читаю, я нахожу немало интересных предметов, которыми ранее пренебрегал, и, если «Ревю де дё монд» заслуживает упрека за то, что там эти предметы трактуются поверхностно, с чисто внешним блеском, в угоду светским людям, — все же этот журнал дает пищу для мысли во многих направлениях, которым наши журналы просто не уделяли внимания. Да и нам самим полезно знать — что противостоит тем тезисам, которые мы защищаем. В нашей умственной жизни было немало упущений. Великий долг интеллигента (даже и в том случае, если он со всей силой темперамента борется за дело определенной партии) — уметь видеть (заставить себя видеть) то, что происходит за рамками партии, или то, что происходит *во всех партиях*, в каждое данное время. Не только в политике, но и в литературе шоры предвзятости застилают зрение...»

Есть основание доверять общему свидетельству Аркоса относительно настроения его друга в дни войны: «Пусть все знают, что Роллан в уме и душе хранил верность своим прежним убеждениям и упрямо верил в будущее человечества». Аркос приводит строки из его письма от 6 марта 1942 года по поводу самоубийства Стефана Цвейга: «Бедный Стефан. Он был таким европейцем — и такой отчаянный конец. А нам надо держаться. Худшее из зол не может быть долговечным».

Держаться — это, по мысли Роллана, значило прежде всего работать, писать. Творческая работа — это и была та форма сопротивления захватчикам, которая была для него доступна.

Самопознание, самоанализ — одно из важных направлений, по которым шла на протяжении десятилетий писательская деятельность Роллана. Его автобиографические труды, созданные в разное время — «Прощание с прошлым» и «Панорама», «Воспоминания» и «Внутреннее путешествие» — необычайно обогащают читателя мыслями и знаниями. История творческой личности встает тут в тесных связях с окружающим миром. Можно сравнить эти труды Роллана, взятые вместе, с такими классическими произведениями мировой литературы, как «Поэзия и правда» Гёте, «Былое и думы» Герцена.

В различных частях автобиографического цикла Роллана сказались разные стороны его сложной писательской индивидуальности. В «Воспоминаниях», как и в «Прощании с прошлым», на первом плане — картина эпохи, среды, портреты современников, друзей, соратников, оценка общественных конфликтов, в которых участвовал или на которые так или иначе реагировал герой-повествователь. Так, в «Прощании с прошлым» в центре внимания автора — первая мировая война и связанная с нею борьба идей; в «Воспоминаниях» немалое место занимают события французской истории конца XIX века — буланжизм, дрейфусиада, развитие социалистического движения. Иначе строится «Внутреннее путешествие»: здесь преобладает анализ душевной жизни писателя, его раздумья об окружающем мире и самом себе.

Между этими — различными и по материалу и по манере письма — автобиографическими произведениями Роллана (как и между различными, наиболее социальными или наиболее интимными страницами «Воспоминаний») нет непроходимой пропасти. То внутреннее «я», которое исследует, о котором рассказывает Роллан, — это мыслящее, ищущее, необычайно совестливое «я». Это человек, живо озабоченный судьбами мира, собственного народа, других народов. Это человек, который не способен замыкаться в кругу эгоистических интересов. Даже когда этот автор-герой «путешествует» в глубь собственной души, он помнит, что живет в век исторической ломки, когда любая отдельная личность, хочешь не хочешь, вовлечена в общественные бури. И от этих бурь некуда укрыться, невозможно, да и недопустимо жить в стороне от них.

В предыдущих главах мы много раз обращались к автобиографическим произведениям Роллана, к его свидетельствам об эпохе, современниках и различных моментах его собственной жизни. Сейчас нас интересуют те новые страницы, которые он написал в дни немецкого нашествия.

Осенью 1940 года, пересматривая заново рукопись «Внутреннего путешествия», писатель сделал добавление к последней главе, «Кругосветное плавание». Он постарался как бы подвести итог пройденному пути.

Эти страницы окрашены глубочайшей грустью. Роллан тяжело переживает поражение Франции и вместе с тем поражение международных антифашистских, антиимпериалистических сил, не сумевших уберечь народы Европы от новой военной катастрофы. Тяжело переживает он и собственную старость: у него нет больше сил для борьбы, он устал, подавлен разочарованиями и неудачами. «Я вышел из круга Действия», — говорит он.

Но старый писатель-борец ни от чего не отрекается. Он верен идеалам человечности, во имя которых работал и сражался в течение своей долгой жизни. И верит в конечное торжество этих идеалов.

«Поражение!.. О, я его познал, мне давно известен его горький, терпкий вкус! Вся жизнь моя с виду была длинной чередой проигранных сражений...

Да, но живущие во мне Кола и Кристоф сказали мне: *«В конечном счете победа будет за нами... Она за мной».*

Откуда придет победа? Роллан обращается здесь к туманным иносказаниям, говорит о властной руке Судьбы, о небесном «фюрере», который неизмеримо более могуществен, чем «тот, внизу». Он напоминает, что история человечества неизбежно идет «сквозь мир и войны, сквозь последовательное чередование революций и контрреволюций, переходящие гегемонии рас и классов»: что поделаешь? Местами может показаться, что создатель Кристофа и Кола призывает своих читателей и самого себя покориться таинственным силам Судьбы — ничего другого не остается.

Но тут же рядом, на тех же страницах, звучат иные мотивы — более активные и ободряющие.

«...А теперь, как старая крестьянка из моего «Робеспьера», я передаю свою ношу молодежи и желаю ей всяческой удачи! Я ничуть не жалею ее. Ей предстоит

тяжкий труд, который искупит все тяготы и принесет свои плоды. Только бы они не дали себя запугать видимостью несчастья! Испытание лишь оздоровит крепкое племя. И я вижу, как из глубины поражения восстает окрепшая и помолодевшая Франция, — стоит ей лишь этого захотеть. Я верю в будущее своей родины и всего мира».

И далее Роллан пишет:

«Завершая круг своей жизни, во время которой я наблюдал три великие войны и видел, как падали и взлетали вверх чаши на весах Фортуны, — замкнув последнее звено цепи своего кругосветного плавания и готовясь вернуться в гавань, я записываю в судовой журнал утешительные итоги своего долгого пути. Мне не раз пришлось испытывать на крепость материал, из которого сделана человеческая порода; и, несмотря на оказавшиеся в нем прорехи, я убедился в его прочности».

В свое время молодой Роллан закончил «Введение» к своей диссертации об итальянской живописи словами: «Народы сами творят свою историю: они не являются ее игрушкой». Старый Роллан, умудренный тяжким жизненным опытом, даже и в мрачные дни поражения не хотел видеть в человеке игрушку слепой судьбы. Сквозь все фаталистические раздумья, навеянные впечатлениями немецкого нашествия, пробивается у него упрямая вера в собственный народ и другие народы мира, в крепость, стойкость молодых поколений.

«Только бы не дали они себя запугать видимостью несчастья!»

Этот призыв Роллан отчасти обращал и к самому себе. И, не поддаваясь отчаянию, вернулся к труду о великом страдальце, написавшем оду «К радости».

Исследование «Бетховен. Великие творческие эпохи», над которым Роллан работал в течение пятнадцати лет — с 1928 до 1943 года, — отличается большой цельностью замысла. Здесь дается в одно и то же время живой портрет Бетховена-человека и детальнейший музыковедческий разбор всех его главных произведений. Роллан выступает здесь и как художник и как ученый.

В «Великих творческих эпохах» образ Бетховена сложнее и глубже, чем тот, какой был дан когда-то Ролланом в маленькой биографии-эскизе, написанной в начале века. Но и здесь, в монументальном труде, перед нами, в основе своей, тот же Бетховен — неукротимая

бунтарская душа, сын героического времени. «Он был эпическим певцом красноречивого и вооруженного разума. Это, можно сказать, его главная роль в истории. Французская революция и эпоха империи отразились в нем, как в зеркале».

Это мятежное, непокорное начало Роллан видит — и раскрывает посредством анализа — не только в пламенной «Аппассионате», но и в произведениях совершенно иного характера. Целый том исследования посвящен «Торжественной мессе». Роллан показывает, насколько она далека от официальной, ортодоксальной церковности. «Если Бетховен вначале и хотел писать для церкви, он был вынужден скоро отрешиться от этой иллюзии. Это произведение выходит за церковные рамки — и по духу, и по размерам...» Эта месса, говорит Роллан, выражает «не литургическое *Кredo*, но *Кredo* человека и его времени».

Исследователь рисует окружение Бетховена, передает настроение, которое господствовало на его застольных беседах. Друзья Бетховена были в оппозиции к реакционному режиму Меттерниха, они вели республиканские, антиправительственные разговоры. «Какой парадокс, что эта Месса была написана именно в такой атмосфере! И не бросает ли это удивительный свет на неукротимую независимость духа композитора *Кredo*?»

Но Роллан ни в коем случае не сводит содержание музыки Бетховена к мятежному пафосу и содержание внутренней жизни Бетховена — к гражданским чувствам. Жизнь великого мастера искусства всегда многообразна, она включает большой затаенный мир личных эмоций. И Роллан естественно переходит от анализа бетховенской музыки к обобщениям, которые касаются самой природы художественного творчества, психологии творчества. «Музыкант-творец движется в мире подсознательного, где гений улавливает самые глубокие, сокровенные движения мысли и руководит ими, не будучи способным передать их в словах, не умея поднять их с морских глубин — к свету разумного сознания». Задача научного, аналитического разума, по убеждению Роллана, «отвоевать у подсознательного эти скрытые на дне сокровища...».

Показать Бетховена в противоречивом единстве гражданского и интимного, в страстях, поисках, непрерывной внутренней борьбе — таков был замысел Роллана

в «Великих творческих эпохах». И этому замыслу он остался верен до конца.

Первые три книги исследования — «От Героической до Аппассионаты», «Гёте и Бетховен», «Песнь воскресения» — были опубликованы Ролланом до войны. В военные годы он написал следующие части — «Незавершенный собор» (включающий разборы Девятой симфонии и последних квартетов), а затем «*Finita commedia*» — рассказ о последнем периоде жизни композитора.

Сохранился ли в этих книгах жизнеутверждающий бетховенский дух?

Да, сохранился, хотя иные страницы и носят отпечаток мрачных переживаний военного времени.

Пожалуй, наиболее явственно эти переживания сказались в посвящении, которое датировано октябрём 1941 года и обращено к известному поэту-католику Полью Клоделю.

С Клоделем Роллан дружил в юности — они вместе учились в лицее Людовика Великого. В письме к П. Сейпелю от 15 января 1913 года Роллан вспоминал: «Мы тогда оба были романтиками, вагнерианцами, более или менее бунтарями. Потом жизнь нас разлучила. Он изменился — в большей мере, чем я. Он стал верной опорой трона и алтаря. Но его творчество настолько прекрасно, что я не задумываюсь над тем, католик ли он, роялист ли он, или нет»*. В годы войны оба писателя встретились в Париже; боль за Францию сблизила их, невзирая на все идейные разногласия, — тем более что и Клодель, на свой лад, занимал в то время патриотическую позицию.

«Посвящение» Клоделю, которым открывается книга о Девятой симфонии, проникнуто духом покорности Судьбе. Роллан повторяет здесь латинскую формулу, которая встречается и в его письмах, которую он произнес и в «Кругосветном плаванье»: «*Fiat voluntas!*» — «Да сбудется воля твоя!»

Во вступлении к книге о Девятой симфонии Роллан вспоминает, как он по-разному воспринимал Бетховена в разные периоды жизни. В молодости он черпал в бетховенских симфониях «героизм, идущий на штурм»... «Затем пришел час, когда в его последних произведениях я обрел отрешенность, — в такие минуты душа один на один беседует со своим Богом, играя мимолетными образами и утверждаясь в сердце Бытия». Более

существенное значение, чем прежде, придает Роллан религиозности Бетховена, — правда, по-прежнему истолковывая эту религиозность в смысле, далеком от христианской ортодоксии. «Основа и вершина искусства и души Бетховена — Бог. Если этого не понимают, то не понимают ни души Бетховена, ни его искусства». С формулой «Да сбудется воля твоя!», произносимой Ролланом в «Посвящении», перекликаются цитируемые им слова Бетховена, запись из дневника за 1816 год: «Терпи, смирись, смирись!»

В последних томах роллановского исследования образ Бетховена как бы приобретает дополнительное измерение, вся картина душевной жизни композитора становится более сложной, драматичной. И вместе с тем этот образ не меняет своей внутренней основы: мужество, героика остаются доминирующими его чертами. Анализируя последние квартеты Бетховена, в которых иные музыковеды хотят видеть прежде всего выражение пессимистических, предсмертных настроений, Роллан показывает, что в них звучит не только глубокая скорбь, но и большая сила упорства, стойкости.

В музыке Бетховена, утверждает Роллан, есть и лирическое самораскрытие и пафос борьбы. Одно не исключает другого. «Он творит, с одной стороны, для себя, осуществляя свои заветные мечты (за Бетховеном последуют, если смогут, немногочисленные родственные ему души!); с другой — для всех людей, для миллионов оды «К радости» и большие симфонии. Но и в том и в другом случае, будь то монументальные фрески или тайные исповеди, он никогда не поддается душевному смятению, разум его всегда во всеоружии...» «Вот почему Бетховен, единственный из всех музыкантов, достиг в своих симфониях самого величественного и вместе с тем самого простого стиля, созданного для народов, для их битв, для их побед, для их игр и их залитых огнями празднеств, а в камерной музыке с предельной выразительностью передал раздумье души, углубленной в себя, которая мечтает и возносит молитвы в полумраке катакомб».

По мысли Роллана, Бетховен ближе к современной эпохе, чем к своей собственной, ибо его гений смотрел далеко в будущее. Он оставил людям «бессмертное свидетельство о великой Мечте, всегда таящейся в сердцах людей, — мечте о царстве божьем на земле, основанном на братстве, справедливости и радости».

В финале своего большого труда Роллан, повторяя, как бы стягивая в один узел те идеи-лейтмотивы, которые утверждались в предыдущих частях (которые намечались еще в маленькой «Жизни Бетховена», в 1903 году), напоминает о коренных творческих принципах великого композитора. По мысли Бетховена, музыка — это «столь необходимое для счастья народов искусство»; отвергая искусство примитивно назидательное, подчиненное утилитарным требованиям, он, по собственным словам, «с неослабевающим рвением служил бедному, страждущему человечеству», «будущему человечеству». Одиннадцатилетнего Листа Бетховен напутствовал: «Нет ничего выше и прекраснее, чем давать счастье многим людям...» Роллан говорит о том, как автор Девятой в зрелые годы преодолевал «украшательство», отчасти свойственное его ранним произведениям, и приходил к «прекрасной наготе», строгой ясности языка. «Те, кто усвоил это из музыкального евангелия Бетховена, не могут уже вынести лжи ни в искусстве, ни в жизни. Бетховен учит прямоте и искренности».

Весь монументальный труд Ромена Роллана о Бетховене проникнут духом демократии и гуманизма. Он весь, от начала до конца, принципиально враждебен фашистскому варварству (этого не поняли цензоры, которые в 1943 году разрешили к печати «Незавершенный собор»).

Вместе с тем у Роллана постепенно созревало желание — взяться за вещь, имеющую более прямое отношение к современности, к ее острым вопросам, чем исследование о Бетховене. Так возник замысел биографии Шарля Пегги.

На этот замысел Роллана отчасти натолкнула продолжавшаяся им работа над «Воспоминаниями». Доведя изложение до 1900 года, он исподволь перечитывал старые документы, письма, журналы, чтобы воскресить в своей памяти атмосферу начала века. Он еще раз убеждался, насколько неотделимо связан большой период его жизни — от первой постановки драмы «Волки» и до завершения «Жан-Кристофа» — с «Двухнедельными тетрадами», с Шарлем Пегги и его окружением.

Имя Пегги, его наследие приобрели в годы войны новую актуальность. О нем то и дело вспоминали в оккупированной Франции, о нем говорили, писали, спорили. Религиозность Пегги, его привязанность к патриархальным традициям старицы, его нападки на буржуазную демокра-

тию справа — все это стало предметом спекуляции со стороны литераторов-коллаборационистов. Нашлись охотники представлять Пегги идеологом «христианского расизма» и чуть ли не предшественником предателей из Виши. Мистерия Пегги о Жанне д'Арк в угоду гитлеровским оккупантам трактовалась как произведение, в первую очередь направленное против Англии: при этом намеренно упускалось из виду, что главное в этой мистерии — пафос национальной независимости, защиты Франции от иноземных захватчиков, каких бы то ни было.

Французские патриоты, деятели Сопротивления не могли в условиях оккупации высказать в легальной печати своего мнения о Пегги (уже после освобождения Франции появилась брошюра «Два французских голоса — Шарль Пегги, Габриель Пери», где певец Жанны д'Арк поставлен рядом с известным коммунистическим деятелем, героем Сопротивления; Роллан успел одобрительно сослаться на эту брошюру в примечании к своему труду). Однако уже в годы войны наследием Пегги, его личностью заинтересовались и те прогрессивные литераторы, которые ранее относились к нему неодобрительно или равнодушно. Он звал на подвиг во имя Франции, он пошел на бой и погиб во имя Франции. И в этом смысле его память была дорога тем французам, которые сами были готовы отдать свою жизнь ради избавления страны от гитлеровского ига.

Роллан с сочувствием приводит слова Пегги: «В дни войны я принимаю всякого, кто не сдается, кто бы он ни был, откуда бы ни пришел, какова бы ни была его партия. Пусть он не сдается. Это все, что я от него требую». Образ писателя-патриота становится под пером Роллана знаменем единения всех здоровых сил страны, всех честных французов, верующих или неверующих, по-разному мыслящих, — во имя борьбы с фашистскими захватчиками.

Роллан вовсе не намеревался делать из Пегги своего рода икону. Он не намеревался умолчать — и не умолчал — о своих серьезных разногласиях с Пегги, наметившихся еще в самом начале их сотрудничества. Он вспоминает: «Мы были честными союзниками. Но мы были не в одном полку». Однако тут же добавляет: «Мы оба одинаково пламенно желали справедливости, правды, чистоты».

Труд Роллана о Пегги построен как серьезное исследо-

вание, богатое фактами: страницы личных воспоминаний, написанных в живой повествовательной манере, чередуются с разборами сочинений Пегги, обширными историческими экскурсами. Отчасти уже сам этот документальный, исследовательский характер работы предохранил автора от субъективного, идеализирующего подхода к своему герою.

Роллан не ставит себе целью оправдать все поступки и высказывания Пегги; он, например, осуждает Пегги за его яростные нападки на Жореса. Однако на первый план его труда выдвигается моральный облик Пегги, его несгибаемость, душевная стойкость. По мысли Роллана, человек, нравственно чистый и цельный не может принадлежать к лагерю реакции, даже если он в каких-то своих мыслях и высказываниях и соприкасается с ним. Значит, *нельзя* — как бы ни были серьезны ошибки и заблуждения Пегги — отдавать его современным мракобесам.

На этой основе и строит Роллан свой анализ мировоззрения и творчества Пегги. Да, Пегги был религиозен, но его вера имела мало общего с католической догмой, он не раз критиковал — подчас весьма остро и зло — христианскую церковь. Да, любовь Пегги к Франции в последние годы его жизни приобретала оттенок националистической иступленности, побуждала его высокомерно и неприязненно относиться к другим народам. Однако Роллан убежден, что господствующей страстью Пегги в эти годы была искренняя привязанность к родине и вместе с тем — предвидение немецкой агрессии, желание дать ей отпор.

Значит ли это, что Ромен Роллан — вопреки всему, что он писал ранее, — на старости лет признал справедливой ту войну, которую вел в 1914—1918 годах французский империализм? Нет, не значит. Он прямо говорит о том, что в первой мировой войне «самые чистые идеи должны были разделить ложе с самыми грязными интересами». И он высказывает предположение: «Если бы Пегги мог предвидеть, какая гнилая победа оказалась плодом жертвы, принесенной им, как и тысячами благородных юношей Франции, если бы он мог увидеть тот упадок, который последовал за победой, увидеть prostituted молодую молодежь, развращенную наслаждениями и деньгами, и расшатывание моральных устоев нации — в какую он пришел бы ярость!»

Шарль Пегги — как свидетельствует Роллан — еще до

войны чувствовал, что ему не по пути с воинствующими французскими реакционерами, с «традиционалистами Академии и «Аксён Франсез»; после того как он отошел от прежних своих друзей и союзников, социалистов и республиканцев-радикалов, он, по сути дела, остался одиноким. Быть может, — размышляет Роллан, — если бы Пеги не погиб в первой мировой войне, он двинулся бы влево, вернулся бы к идеям социализма. Не исключено даже, что он пришел бы к революции, к баррикадам. Ведь он сам был выходцем из народных низов и с юных лет тяготел к обездоленным. Роллан приводит слова Пеги: «Социальный долг, первый из первых — вырвать нищих из лап нищеты».

Пожалуй, нет смысла сегодня гадать, в какую сторону пошел бы Пеги, если бы остался жив. Важно, что Ромен Роллан на закате своей жизни — повествуя об исканиях и взглядах Пеги — таким способом передавал читателю *свою собственную* мечту о социальном обновлении, о свободе и счастье трудящегося человечества...

О ходе работы Роллана над биографией Пеги — отчасти и о его жизни в последние годы войны — мы можем узнать из его писем к давнишнему другу Луи Жилле.

Когда-то Роллан был в глубокой обиде на Жилле за то, что тот отвернулся от него в годы первой мировой войны. Но с тех пор прошло много лет. В памяти Роллана Луи Жилле остался все-таки прежде всего как один из его первых преданных учеников, который восторженно слушал его лекции в Высшей Нормальной Школе, играл роль Дантона в студенческом спектакле, начинал свою литературную деятельность в «Двухнедельных тетрадах» под его, Роллана, руководством. Теперь Жилле — критик, историк литературы — жил в университетском городе Монпелье на юге Франции, недалеко от Средиземноморского побережья. Он был стар и болен. Поль Клодель взял на себя посредничество в примирении Жилле с Ролланом. Они возобновили переписку, прерванную за двадцать семь лет до того.

Роллан писал 7 августа 1942 года:

«Мой дорогой Луи — стоит дожить до старости, если находишь в конце пути потерянного друга! Мне вас часто недоставало! Кто еще хранит в памяти столько общих переживаний? И сколько было еще потом переживаний, которые не с кем было разделить... Есть о чем поговорить.

Но когда это нам удастся? У меня нет никакой возможности попасть в ваши края. Мне нельзя выезжать из моей зоны. Я прижат к моей скале. Иногда удается разве только выпорхнуть в Париж, где я снова снял антресоли на бульваре Монпарнас, 89, возле церкви Нотр-Дам де Шан. Да и туда становится все труднее добираться из-за общих помех в передвижении и потому, что мне самому тяжело путешествовать. Не выберетесь ли вы в Везеле? Мы будем рады вас видеть, жена и я (ведь у меня есть теперь доблестная спутница жизни, которая разделяет мою судьбу, хорошо оберегает меня и управляется и с тяжелой работой в саду — помощников нет — и с умственными занятиями... Я читаю ей нашего старого Пеги, о котором пишу книгу)».

8 января 1943 года Роллан, поздравляя Жилле и его семью с Новым годом, снова рассказывал о себе:

«У меня нет родного сына, но есть приемный сын (есть ли он у меня еще?), красивый и славный юноша, умный и честный — я очень люблю его, и вот уже три года ничего о нем не знаю: ему повезло, к моей зависти, он нашел радость жизни в математике, как я в музыке... Заканчиваю вчерне моего огромного «Пеги». Наберется на два тома. Еще месяца три потребуется, чтобы все закончить и упорядочить. Нелегкий будет труд — переписывать его набело. Мои рукописи становятся неудобочитаемыми из-за обилия добавлений и поправок; а мое зрение, увы! Мое верное, хорошее зрение дрогнуло, оно грозит вовсе отказать. А лечиться здесь невозможно. И путешествовать тоже невозможно в это скверное время года...»

После того как Роллан перенес тяжелое воспаление легких, он писал (1 апреля 1943 года):

«Дорогой друг, вот я и возвращаюсь к жизни: мне снова разрешено взять в руки перо. Выздоровливаю медленно и осмотрительно. Провожу часть дня, сидя в кресле, — но из комнаты еще не выхожу. При каждом движении начинаю задыхаться; потребуется еще время, чтобы сердце пришло в порядок — если оно вообще придет в порядок... Принимаюсь опять за своего «Пеги»! Но одному Богу известно, когда он сможет увидеть свет!..»

2 июня Роллан снова писал: «Заканчиваю огромный комментарий к «Пеги», нить которого была, к моей досаде, прервана болезнью. Но так или иначе, опубликовать его в нынешних обстоятельствах — невозможно».

Луи Жилле умер летом 1943 года. А книга Ромена Роллана о Пеге была сдана в печать уже после освобождения Франции.

3

В начале 1944 года — 1 февраля — Роллан написал в Париж старому знакомому из круга «Двухнедельных тетрадей» С. Карре:

«...В течение пяти лет я живу обособленно на моей скале, вместе с моей доброй женой, которая в прошлом году вырвала меня у смерти (я совсем умирал ровно год назад). Связи с внешним миром почти что отрезаны. Вдоволь и времени, и тишины, чтобы работать. Я закончил три тома исследований о Бетховене, из которых два (о 9 симфонии и о последних квартетах) уже вышли, и большую книгу о Пеге, которая передана издателю, но не сможет выйти, пока не наступит мир. Я написал несколько книг Воспоминаний (но не в своеобразной манере «Внутреннего путешествия», а скорее в духе исторического повествования). Я подошел к периоду после 1900 года, — я, собственно, уже затронул его в моем «Пеге». Мне еще нужно несколько лет, чтобы вызволить то, что прячется в тайниках моей мысли. И я живу в состоянии неуверенности насчет того, что будет завтра. Это общая доля большей части человечества. Каждое мгновение, которое удается спасти, приобретает от этого еще большую ценность»*.

Что будет завтра? Обособленная жизнь в Везеле давала мало материала для прогнозов. Информация о событиях на фронтах мировой войны поступала скупо. А старческие немощи, которые становились все обременительнее, внушали чувство отрешенности от окружающего мира. Роллан сообщил Рене Аркосу 23 марта 1944 года: «В те редкие минуты, когда я свободен (свободен от болей, от медицинских процедур и забот), я пишу продолжение моих воспоминаний. Для кого? Для чего? Чтобы лучше понять самого себя. Для того, чтобы лучше видеть, пока у нас еще есть свет».

В письмах, которые Роллан писал разным людям в годы фашистской оккупации чувствуется его желание поддерживать, подбодрить корреспондентов. Поэту Жану Ламолю Роллан напоминал старую французскую поговорку:

«Кто страдает — тот побеждает». А давнему товарищу по Высшей Нормальной Школе Роже Жоксу он сообщал: «Мы знаем, что «жив курилка». Я вчера ездил в деревушку Брев, в края Кола Брюньона. Я его встретил. Он не изменился. Он умеет ждать».

Создатель «Кола Брюньона» и сам умел ждать и умел поддерживать в себе стойкость духа. Но он не был вполне уверен, что доживет до момента избавления Франции от гитлеровских захватчиков. И был счастлив, что дожил.

В августе 1944 года Париж был освобожден от оккупантов. И мало-помалу начали восстанавливаться контакты Роллана с друзьями — включая и тех, о ком он мало что знал в течение всех лет войны.

Один из старых литературных собратьев Роллана, Шарль Вильдрак, в годы оккупации участвовал в движении Сопротивления, опубликовал антифашистские стихи в сборнике «Честь поэтов», вышедшем нелегально в 1943 году, был членом Национального комитета писателей. Вокруг этого комитета и его органа, подпольного еженедельника «Леттр Франсез» постепенно объединялись все патриотические силы французской литературы.

Можно понять, почему деятели Национального комитета писателей не пытались привлечь Роллана к сотрудничеству, почему этого не попытался сделать, в частности, Вильдрак. Французским писателям-патриотам было, конечно, известно, в каком угрожаемом положении находится отшельник Везеле, старый, тяжелобольной, непрерывно подвергавшийся надзору. Было бы бессмысленно и жестоко ставить его под удар.

Однако немедленно после освобождения Парижа — еще до того, как страна была полностью очищена от захватчиков, — Вильдрак написал Роллану и послал ему декларацию Национального комитета писателей, приглашая его присоединиться к этому документу. Комитету предстояло продолжить работу по сборанию творческих сил, чтобы помочь национальному возрождению Франции. Авторитет имени Роллана мог в этих условиях многое значить.

И Роллан откликнулся — радостно, взволнованно. Он писал Вильдраку и его жене 7 сентября 1944 года:

«Дорогие друзья,

Какое это счастье — получить добрые вести о вас и пережить заново, через ваше посредство, дни освобожде-

ния Парижа! Мы очень опасались за вас, за общих друзей и за дорогой город.

Теперь для нас настали дни испытаний. Везеле находится на пути прохода армий, и мы уже выдержали порядочной силы удар — пушки, пулеметы, пожары. Все время живем в состоянии тревоги (хотя в принципе мы освобождены): пока идет наступление в сторону Голландии и дальше, про нас, жителей центральной Франции, как мне кажется, немного забыли!

От всей души подписываюсь под прекрасной Декларацией Нац. комитета писателей. Будьте столь добры, передайте им, что я к ним присоединяюсь. Да, все мы (и весь мир) еще живее почувствовали ценность Франции после того, как само ее существование было поставлено под вопрос. *Франция* — это значит и *должно* значить — *Свобода* и *Человечность*. Ее миссия — защищать их. Даже более того: в этом ее сущность, в этом и заключается природа подлинной Франции. Будем же достойны ее! Не совершим ничего такого, что могло бы заставить ее отступить с этого пути! И будем ей верны — даже и в дни сражений!

Братски обнимаю вас, так же как и Аркосов, — разделяю задним числом их беспокойство по поводу Филиппа, который, к счастью, оказался цел и невредим.

Ваш старый Р. Р.» *

Роллану и Марии Павловне были хорошо понятны родительские переживания Аркосов. Они сами ничего не знали о судьбе Сергея. Им еще не могло быть известно, что младший лейтенант Советской Армии, артиллерист Сергей Кудашев погиб в бою с гитлеровцами в самом начале Отечественной войны...

Состояние здоровья Роллана продолжало ухудшаться. Всякое передвижение было для него крайне трудно. Он тем не менее решил отправиться в Париж — ему была необходима серьезная медицинская помощь. И конечно же, хотелось увидеть «дорогой город» в радостной горячке первых недель после освобождения — без флагов со свастикой, без ненавистных пришельцев в серо-зеленых мундирах!

Квартирка на бульваре Монпарнас так и оставалась неприбранной, неустроенной — Ролланы всегда жили там, как на биваке. Но сквозь запыченные стекла щедро светило солнце. В эти золотые осенние дни 1944 года весь

Париж как-то неожиданно похорошел, и даже старое темно-серое здание церкви Нотр-Дам де Шан, которую Роллан видел из окна, казалось менее мрачным, чем обычно.

Время в Париже текло быстро. Визиты врачей, визиты друзей, знакомых, издателей... Шли корректуры обоих томов «Пеги». У Роллана не было сил их читать. Но было приятно, что его новый труд скоро выйдет.

В начале ноября пришло приглашение от советского посла Богомолова на прием в посольство СССР по поводу годовщины Октябрьской революции. Роллан чувствовал себя очень плохо. Он и в прежние годы, когда был здоровее, не любил больших сборищ. Но он решил обязательно поехать на прием. Это был способ снова выразить свои добрые чувства к великой стране, с которой его связывало столь многое, вклад которой в дело войны с гитлеризмом он так высоко ценил и от которой он столько лет был оторван.

Особняк советского посольства на улице Гренель был ярко освещен, узкая улица была загромождена машинами, подъезжали все новые и новые. Народу собралось видимо-невидимо: офицеры и генералы Советской Армии и союзнических армий, дипломаты разных стран, французские политические деятели, весь цвет парижской интеллигенции — литераторы, артисты, ученые... Было шумно и празднично, — пусть многие лица и сохраняли отпечаток перенесенных недавно лишений. Гости собирались группами, разговаривали и угощались стоя, как это обычно бывает на дипломатических приемах. Роллана и Марию Павловну усадили, к ним подходили, их приветствовали. Приподнято-радостная атмосфера вечера передалась Роллану. Он был доволен, что решился приехать. Но вскоре он почувствовал сильную усталость, и пришлось вернуться домой.

На следующее утро, 8 ноября, Роллан сел писать письмо в Москву Жан-Ришару Блоку. Все годы войны Блок провел в Советском Союзе, регулярно обращаясь к соотечественникам по Московскому радио. После освобождения Франции он немедленно написал Роллану, который теперь ответил ему:

«Дорогой мой друг, мы были счастливы снова увидеть ваш почерк, услышать ваш голос. Ваше письмо от 1 октября было переслано нам в Париж, куда я приехал, чтобы получить врачебные советы и помощь; ибо — вы пра-

вы, когда говорите «нет дыма без огня», — я очень тяжело болел в течение последних двух лет, а в прошлом году был совсем уже при смерти: сердце, легкие, кишечник, весь механизм был в расстройстве — только голова продолжала наблюдать и замечать, даже и тогда, когда бредила. Теперь мое состояние не столь опасно, но все же мне часто приходится тяжело, и очень трудно ходить из-за одышки. Ладно! Это все в порядке вещей, ведь мне 79 лет.

Мы все эти годы не покидали Везеле (куда мы собираемся вернуться к 20-му числу этого месяца). С наших высоких стен, которые нас замыкали, но не защищали, мы видели, как совершался в долине, в течение ряда дней, жалкий исход наших армий. Мы долго были в оккупации, под надзором, ожидая худшего; нас пощадил, неизвестно каким образом, благодаря невидимому присутствию Жан-Кристофа, которого хотели было аннексировать в «подчищенном» виде. В течение двух последних лет большие леса, окружающие нас, оцетинивались отрядами борцов Сопротивления, готовивших засады, куда и попали в последние месяцы колонны отступавших немцев. В довершение всего мы пережили в конце августа небольшую битву под Везеле, с пушками, пулеметами, горевшими домами — все это игрушки в масштабе тех чудовищных битв, которые опустошили мир. А когда мы приехали сюда, как это было волнующе — найти в неприкосновенности чудесную красоту Парижа! Подумать только, что еще немного — и она была бы разрушена.

Мы разделяем ваши тревоги по поводу вашей семьи, разбросанной по разным местам. И мы тоже в тревоге за судьбу нашего сына Сергея Кудашева, о котором ничего не знаем с 1940 года. Наводим о нем справки через посольство.

Блокированный в тишине Везеле и, по мере продолжения войны, все более оторванный от остальной Франции, получая сведения о шагах Судьбы только по лондонскому радио (московское было очень плохо слышно), — я находил опору лишь в мышлении. У меня скопилось много дум, много трудов, которые надо публиковать; я, в частности, закончил серию работ о Бетховене (музыка была мне верным товарищем в эти злые дни); Альбен Мишель выпустит мои два тома о Пеги. Но найдется ли время у настоящего, у будущего, чтобы заинтересоваться прошлым?

Когда я вас увижу? Не задерживайтесь! Так мало осталось верных и надежных друзей! И ведь мы нужны друг другу, чтобы удерживать жизнь — эту убегающую реку — эту туманную спираль, которая вонзается в ночь...

Братски обнимаю вас и вашу милую жену. Моя жена тоже вас обнимает. Если вы любите меня, любите ее! Я жив благодаря ей. Без нее, без ее неутомимой помощи и нежности, я не смог бы пройти через эти тяжелые, густые, мрачные годы моральной подавленности и болезни...

Ваш старый друг

Ромен Роллан

Р. С. Передайте мой привет всем друзьям в СССР — и советской молодежи, которая мне дорога!»*

Врачи задерживали Роллана в Париже, а его тянуло в тишину Везеле. Перед самым отъездом он узнал, что Морис Торез возвращается во Францию, и 29 ноября послал ему письмо:

«...Шлю вам сердечный привет по поводу вашего возвращения, которого так ожидали во Франции. Вашего голоса не хватало в Париже. Пока Париж его не слышал, он не мог себя чувствовать полностью освобожденным.

Теперь закончился ужасный кошмар пяти последних лет. Сделаем же так, чтобы он не мог повториться, и поработаем над тем, чтобы поднять Францию из развалин! Надо восстановить национальное единение и мир во всем мире на основе союза всех свободных народов.

Сожалеем, что должен уехать в мою провинцию в день, когда вы возвращаетесь сюда. Дружески жму вашу руку...»¹

Начался декабрь, холодный, мокрый, с дождями и туманами. Это время года Роллан всегда переносил плохо. Помощь парижских врачей не дала ощутимых результатов: силы убывали. Но мозг работал по-прежнему интенсивно.

Вернувшись в Везеле, Роллан обдумывал все то, что увидел, услышал, прочитал за недели, проведенные в Париже.

Как мало он знал раньше о ходе войны! Не только об обороне Ленинграда или битвах на Курской дуге, но и о том, что происходило в самой Франции. Только теперь получил он представление о размахе народной антифашистской борьбы, о подвигах партизан Нормандии и Верхней

¹ «Юманите», 5 января 1945 года.

Савойи, о забастовках шахтеров Севера, демонстрациях студентов Парижа. Он услышал о подпольной деятельности Французской коммунистической партии, вписавшей в мартиролог французского Сопротивления много благородных имен. Габриель Пери, Даниэль Казанова, Шарль Дебарж, Жак Декур, Жорж Политцер. И еще и еще имена... Десятки тысяч коммунистов погибли в партизанских боях или были расстреляны как заложники. Таких, как Эли Валак, было много, очень много. И кто знает, быть может, не один Эли Валак, идя на опасное задание, брал с собою в спутники мятежную тень Жан-Кристофа?

Друзья рассказали Роллану об участии писателей в Сопротивлении. Он познакомился с нелегальными изданиями, просмотрел миниатюрные книжечки, которые выпускало в дни войны «Издательство полуночи». Радостно было убедиться, что в эти трагические дни полностью оправдал себя принцип антифашистского единства действий. Патриоты, придерживавшиеся разных взглядов — и марксисты и католики, — вместе работали, рисковали жизнью, погибали, чтобы Франция стала свободной. Радостно было убедиться и в другом. За годы испытаний окрепли не только нравственные, но и творческие силы французской литературы. В газетах, журналах сразу же после освобождения появилось много молодых, неизвестных прежде имен. Патриоты, возвращавшиеся из плена, из фашистских концлагерей, приносили в литературу свои свидетельства о пережитом.

Роллан вспоминал статью «Извилистый подъем», которую он написал на исходе первой мировой войны. История человечества движется через жертвы, катастрофы, тяжелые потрясения — не прямой и не гладкой дорогой, а дорогой ухабистой, каменной, причудливо петляющей вверх. Но все-таки вперед и все-таки вверх! Меньше чем полгода назад могло еще казаться, что гитлеровские мерзавцы прочно осели на французской земле. Но они и на самом деле оказались калифами на час! Они изгнаны из Франции, и уже недалек день их окончательного разгрома.

Да, народы сами делают свою историю. Сами народы, сами люди, а не слепые силы Судьбы. Народы многое могут, когда отваживаются — как отважился в критическую минуту Кола Брюньон — сами взять в руки «кормило и весло». Лишь бы не ослабевала в них эта решимость теперь, после победы! Сегодня особенно важно

поддержать в людях дух гражданственности, героического деяния...

Как только Роллану становилось чуть-чуть лучше, он садился за письменный стол. Корреспонденты, ближние и дальние, ждали от него ответов. Ему и самому хотелось поделиться мыслями, которые бродили в нем. 7 декабря он написал супругам Мерсье:

«Мои дорогие друзья, благодарю вас за ваше сочувствие. Болезнь, с которой я борюсь в течение двух лет, не дает мне возможности ответить вам подробно.

Я думаю, что слово «вера» влечет за собой много недоразумений. Вера (по крайней мере у нас, людей, чуждых церкви, старающихся сохранить свободу духа) — это не просто уверенность в том, что будет. Это воля к осуществлению того, что, по нашему мнению, должно быть. Будущее пишется мало-помалу. И оно пишется при участии каждого из нас. Не надо преувеличивать слабость индивидуума перед лицом огромных слепых сил! Наше время, больше чем любое другое, обнаружило, что эти силы оказываются беспомощными, если отдельные личности не держат их в узде и не прищипывают их. Даже если оставить в стороне эти исключительные случаи — каждая человеческая душа может быть очагом, излучающим свет: надо только остерегаться, чтобы не потушить его! Неуверенность в результатах, знание опасностей, угрожающих человечеству на его пути, — все это не должно нас обескураживать. Скорей напротив: все это должно убеждать нас в том, насколько необходимо держать силы в напряжении, не уклоняться от боя (отдохнуть найдем время потом). Мы не просто колесики движущегося механизма. Немаловажно, что мы вправе считать себя участниками продолжающегося свободного созидания.

Не теряйте доверия! Наша эпоха незаурядна — и в добре, и во зле. Она во всем нарушает меру. Нашей Франции, возможно, будет нелегко опять пойти в ногу с новым миром. Но она все же идет. «E pur si muove!» Перенесенные испытания снова разожгли пламя самопожертвования. И в подпольной литературе, как и в освобожденной прессе, мы уже услышали могучие голоса — по большей части молодые и волнующие. Я чувствую доверие»*.

Это было одно из последних писем, которые написал Ромен Роллан.

Он умер 30 декабря 1944 года.

Именно в этот день в типографии Поля Дюпона в Париже закончилось печатание «Пегги».

В январе 1945 года последний, посмертный труд Роллана поступил в продажу. В то время выходило не так уж много новых книг, и каждая из них обращала на себя внимание.

Посетители книжных магазинов брали с прилавка оба тома, перелистывали их. Те, кто доходил до конца второго тома, обязательно останавливали взгляд на стихах Пегги — о солдатах, которые, выполнив свой воинский долг, возвращаются домой и обрабатывают землю, чтобы был у народа хлеб насущный.

В свое время юноша Роллан, озаренный «молнией Спинозы», навсегда запомнил слова голландского философа: «Что заставляет людей жить согласно, то полезно...»

Немного лет спустя Роллан-студент с волнением вчитывался в слова письма из Ясной Поляны: «Добро и красота для человечества есть то, что соединяет людей».

Через всю свою длинную жизнь Ромен Роллан пронес упрямую мечту о человеческой солидарности, о братстве народов. И последний свой труд он закончил стихотворной строчкой Пегги:

«Пусть бьются заодно у всех людей сердца».

«Que toute l'humanité batte comme un seul coeur».

Д а т ы ж и з н и и т в о р ч е с т в а Р о м е н а Р о л л а н а

1866, 29 января — Рождение в г. Кламси.

1873—1880 — Ученые в коллеже г. Кламси.

1880 — Переезд семьи Ролланов в Париж.

1880—1886 — Ученые в парижских лицеях Людовика Святого и Людовика Великого.

1886 — Роллан принят в Высшую Нормальную Школу.

1889 — Окончание Высшей Нормальной Школы.

1889—1891 — Научная командировка в Рим, поездки по Италии.

1892 — Женитьба на Клотильде Бреаль. Поездка в Рим для подготовки докторской диссертации.

1893 — Возвращение в Париж.

1895 — Защита докторской диссертации, начало преподавательской работы в Высшей Нормальной Школе.

1897 — Драма «Святой Людовик» напечатана в «Ревю де Пари».

1898 — Драма «Аэрт» поставлена в театре «Эвр».
Драма «Волки» написана и поставлена в театре «Эвр».

1899 — Драма «Торжество разума» поставлена в театре «Эвр».

1900, декабрь — Премьера «Дантона».

1901, февраль — Развод.

- 1902 — Драма «Четырнадцатое июля» поставлена в театре «Ренессанс».
- 1903 — Выход «Жизни Бетховена», драмы «Настанет время», книги «Народный театр».
- 1904 — В «Двухнедельных тетрадах» печатаются первые два тома «Жан-Кристофа». Роллан начинает читать в Сорбонне курс истории музыки.
- 1912 — Выход последнего тома «Жан-Кристофа». Роллан прекращает преподавательскую деятельность.
- 1913 — Работа над «Кола Брюньоном».
- 1914 — Первая мировая война. Начало антивоенной деятельности Романа Роллана в Швейцарии (статьи в «Журналь де Женев»).
- 1916 — Сотрудничество в революционном журнале «Демэн». Получение Нобелевской премии по литературе.
- 1917 — Переписка с Горьким. Статья «Привет свободной и несущей свободу России» («Демэн», 1 мая).
- 1917—1918 — Работа над пьесой «Лилюли», над романом «Клерамбо» и повестью «Пьер и Люс».
- 1919 — Смерть матери Роллана. Появление «Декларации независимости духа» («Юманите», 26 июня).
- 1921—1922 — Спор в печати с Анри Барбюсом и группой «Кларте».
- 1922 — Переезд в Вильнев (Швейцария). Выход первых томов «Очарованной души».
- 1924 — Начало выхода журнала «Эроп» в Париже. Появление биографии Махатмы Ганди.
- 1924—1930 — Роллан живет в Вильневе, выезжает на короткое время в Чехословакию (1924) и Австрию (1927), работает над драмами «Игра любви и смерти», «Вербное воскресенье», «Леониды», над книгами о Рамакришне и Вивекананде и исследованием о Бетховене.
- 1931 — Смерть отца Роллана. Появление статьи «Прощание с прошлым».
- 1931, декабрь — Визит Ганди в Вильнев.
- 1932 — Роллан вместе с Барбюсом организует Амстердамский антивоенный конгресс.

- 1933 — Выход последнего тома «Очарованной души». Роллан — почетный председатель Всемирного комитета борьбы против империалистической войны и фашизма.
- 1934 — Женитьба на Марии Павловне Кудашевой.
- 1935, июнь — июль — Поездка в СССР. Выход книг «Пятнадцать лет борьбы» и «Через революцию — к миру».
- 1936 — Франция Народного фронта торжественно празднует семидесятилетие Роллана. Выход книги «Спутники».
- 1938 — Роллан возвращается во Францию, поселяется в Везеле, работает над драмой «Робеспьер».
- 1939—1944 — В годы войны Роллан живет в Везеле, работает над мемуарами, исследованием о Бетховене, биографией Шарля Пегги.
- 1944, октябрь—ноябрь — Пребывание Роллана в Париже, освобожденном от гитлеровских оккупантов.
- 1944, 30 декабря — Смерть Роллана в Везеле.

Библиография

Собрание сочинений, т. I—XX. Л., изд-во «Время». Гослитиздат, 1930—1937.

Собрание сочинений в четырнадцать томах, под общей редакцией И. Анисимова. М., Гослитиздат, 1954—1958.

Воспоминания. М., Гослитиздат, 1966.

Избранное. М., «Молодая гвардия», 1967.

Горький М., О Ромене Роллане (Собр. соч. в 30 томах, т. 24, М., 1953).

Луначарский А., Статьи о Р. Роллане (Собр. соч., тт. 4, 5, М., 1964—1965).

Анисимов И., Новая эпоха всемирной литературы. М., 1966.

Балахонов В., Ромен Роллан в 1914—1924 годы. Л., 1958.

Балахонов В., Ромен Роллан и его время. «Жан-Кристоф». Л., 1968.

Вановская Т., Ромен Роллан. Л., 1957.

Ваксмахер М., Французская литература наших дней. М., 1967.

Гильдина З., Ромен Роллан и мировая культура. Рига, 1966.

Дюшен И., «Жан-Кристоф» Ромена Роллана. М., 1966.

Исбах А., Ромен Роллан. М., 1966.

Мотылева Т., Творчество Ромена Роллана. М., 1959.

Цвейг С., Ромен Роллан. Жизнь и творчество (Собр. соч. Ст. Цвейга, т. 7, М., 1963).

Чичерин А., Возникновение романа-эпопеи. М., 1958.

Яхонтова М., Ромен Роллан (главы в «Истории французской литературы», АН СССР, тт. III и IV, М., 1959, 1963).

Ромен Роллан. Био-библиографический указатель. М., 1959 (составитель А. Паевская, автор вступ. статьи М. Ваксмахер).

Romain Rolland, *Journal des années de guerre*. Paris, 1952.

Cahiers Romain Rolland, № 1-XVIII. Paris, 1948—1958.

Arcos René, Romain Rolland. Paris, 1948.

Barrère Jean-Bertrand, Romain Rolland. *L'âme et l'art*. Paris, 1966.

Barrère Jean-Bertrand, Romain Rolland par lui-même (2 ed). Paris, 1966.

Cheval René, Romain Rolland, *l'Allemagne et la guerre*. Paris, 1964.

Josimović Radoslav, *Književni pogledi Romena Rolana*. Beograd, 1966.

Jouve Pierre-Jean, Romain Rolland vivant. Paris, 1920.

Karczewska-Markiewicz Zofia, Romain Rolland. Warszawa, 1964.

Lerch Eugen, Romain Rolland und die Erneuerung der Gesinnung. München, 1926.

Liber amicorum Romain Rolland. Zürich—Leipzig, 1926.

Robichez Jacques, Romain Rolland. Paris, 1961.

Seippel Paul, Romain Rolland, *l'homme et l'œuvre*. Paris, 1913.

Sénéchal Christian, Romain Rolland. Paris, 1933.

Starr W. T., Romain Rolland and a world at war. Evanston, Illinois, 1956.

О г л а в л е н и е

Предисловие	5
Глава I. Начало	11
Глава II. Подъем	77
Глава III. Схватка	143
Глава IV. Поиски	190
Глава V. Решимость	273
Глава VI. Соппротивление	344
Даты жизни и творчества Ромена Роллана	375
Библиография	378

Мотылева Тамара Лазаревна

РОМЕН РОЛЛАН, М., «Молодая гвардия», 1969.
384 с., с илл. («Жизнь замечательных людей».
Серия биографий. Вып. 8 (468).)
8И(Фр)

Редактор Г. Померанцева

Серийная обл. **Ю. Арндта**, на фронтисписе и обложке рисунки **Ф. Мазереля**.

Худож. редактор **А. Степанова**

Техн. редактор **А. Бугрова**

Сдано в набор 3/ХІІ 1968 г. Подписано к печати 30/Х 1969 г. А01227. Формат 84×108¹/₂. Бумага № 2. Печ. л. 12 (усл. 20,16) + 17 вкл. Уч.-изд. л. 23. Тираж 100 000 экз. Цена 94 коп., Т. П. 1969 г., № 464. Заказ 2160.
Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Суццевская, 21.